

ПЕТР БАЛАКИН

ПЛАНИРОВ-  
ШИКИ



Того же автора:

ПОВЕСТЬ О САН ФРАНЦИСКО  
ВЕСНА НАД ФИЛМОРОМ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОЙ  
ЛЮБВИ

*ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ:*

... отличный рассказ Петра Балакшина «Весна над Филмором». В русской заграничной литературе не так много вещей, которые можно было бы сравнить с этим небольшим рассказом по эмоциональной сгущенности, по свежести, по безошибочному и прекрасному ритму, — такому, которого нельзя объяснить и которому нельзя научиться... Впечатление непосредственной силы восприятия, соединенное с бесспорным и почти безсознательным литературным искусством, явная, не вызывающая сомнения талантливость Балакшина, — такие редкие вещи, что на них нельзя не обратить внимания.

*Гайто Газданов  
Современные Записки  
Париж, 1936.*

\*

Неоторванность русского эмигранта, русского интеллигента от своего природного корня является лейт-мотивом рассказов П. Балакшина... О творчестве автора можно сказать его же словами: «Днями и ночами я пою с горькой страстью единственную песнь, которую знаю, печальную песнь одиночества... в большом, шумном, тесном городе».

*Нина Федорова  
Русская Жизнь  
Сан Франциско, 1952.*

\*

There is an amazing amount of talent among the young Russian emigrants in this country. Peter Balakshin is undoubtedly the most promising among the fiction writers. His story of a

С О В Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й  
П. П. Б А Л А К Ш И Н А

Т о м IV

# ПЛАНИРОВЩИКИ



К Н И Г О И З Д А Т Е Л С Т В О С И Р И У С  
Сан Франциско — Париж — Нью Йорк

THE PLANNERS  
by Peter Balakshin

By the same author

A TALE OF SAN FRANCISCO  
SPRING OVER FILLMORE  
RETURN TO THE FIRST LOVE

В том же издательстве:  
ПОВЕСТЬ О САН ФРАНЦИСКО  
ВЕСНА НАД ФИЛМОРОМ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Все права сохранены за автором

1955

---

Satz und Druck: ABF-Setzmaschinenbetrieb  
München 8, Hofangerstr. 73.

Лица, как и события, выведенные в ПЛАНИРОВЩИКАХ, явно вымыщлены и никакой связи, кроме случайной, ни в именах, ни в характерах не имеют ни с кем и ни с чем в действительности.



## ПЛАНИРОВЩИКИ

«Позвольте мне вас попотчевать тру-  
бочкой».

«Нет, не курю», отвечал Чичиков лас-  
ково и как бы с видом сожаления.

«Отчего?» сказал Манилов, тоже ласко-  
во и с видом сожаления.

«Не сделал привычки, боюсь, говорят  
трубка сущит».

*Похождения Чичикова или Мертвые  
Души, Н. В. Гоголя.*



## О Г Л А В Л Е Н И Е

### Часть Первая

I. ОБЩЕСТВО ЗАРУБЕЖЬЯ . . . . .	11
II. ИСТОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРЕНИЯ	32
III. РОДНЫЕ МОГИЛКИ . . . . .	46
IV. СОН В ВЕСЕННЮЮ НОЧЬ . . . . .	72
V. ДНИ ОТДАЛЕННОЙ ВЕСНЫ . . . . .	95
VI. ЦЕНТР ДАВНО ПРИГЛЯДЫВАЕТСЯ . .	109
VII. ВРЕДЕН ЛИ КУПОРОС? . . . . .	147
VIII. ИМЕНИНЫ ЗАРУБЕЖЬЯ . . . . .	172
IX. НЕОЖИДАННЫЙ ДЕЛЕЖ . . . . .	208

### Часть Вторая

X. ВЕСНА . . . . .	241
XI. БУДУТ ПЧЕЛЫ, БУДЕТ И МЕД . . . .	244
XII. ГОСТЬ ИЗ ЛИОНА . . . . .	265
XIII. ПЛАНИРОВЩИКИ, ВПЕРЕД . . . .	284
XIV. СЕРДОБОЛЬНЫЕ БРАТЬЯ СМИТ . . .	308
XV. ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ . . .	331
XVI. ПОСАДКА ПОД ИКОНАМИ . . . . .	355
XVII. ПЕСКАРЕВИЧ ВЫРУЧИТ . . . . .	382
XVIII. ВСПЫШКА МАГНИИ . . . . .	409



## **Часть Первая**



# I

## ОБЩЕСТВО ЗАРУБЕЖЬЯ

Весна, весна, что только не делает она с душой русского человека, особенно того, кто навсегда оторван от родной почвы, где был рожден, вскормлен, и где познал свои первые огорчения и радости!

В стремительном пробеге лет многое бесследно сошло с его памяти, но попрежнему при раннем приближении весны, при первом намеке на пробуждение земли с щемящим чувством воскресают в нем далекие дни прошлых весен, когда он был молод и счастлив.

Смутные чувства тогда вновь начинают тревожить его так, как никогда в другое время года. Полный неясных жёланий, он озаряется новыми надеждами и несокрушимой верой в себя; он весь в неудержимом влечении к земле, к ее чудесному лону, к наслаждению ее весенними ароматами.

Но суть не в весне и упоминается о ней здесь только как об источнике волнений, через кото-

рые ежегодно в эту пору проходят, не совладев с собой, трезвые и положительные члены Общества Зарубежья. Им, этим впечатлительным людям, их надеждам и вере в себя, веселым увлечениям и связанным с ними последствиям и посвящается настоящее повествование.

— Позвольте спросить вас, Максим Максимович, как это вы без заметного способа передвижения всегда успеваете попасть первым? Куда не придешь, вы уж там, сидите в кресле так удобно, что смотреть приятно... Как это у вас получается?

Следовало бы давно перестать беспокоить сосредоточенного человека праздными вопросами. Но не обижается Корявко, кроткий он человек, терпеливый. Если спрашивают, следовательно интересуются, человек существа любознательное, до всего ему хочется допытаться, до всего дойти своим умом. Как же не отзваться в таком случае? Корявко и отвечает — если не надоело спрашивать, не надоест и слушать — одной и той же фразой:

— Ежели вы насчет ног для передвижения, то они больше нужны велосипедистам и почтальонам. Серьезный человек и без них проживет! А ежели насчет дел, то таковых у меня нет, а что и перепадает ненароком, то на это у меня жена, да свояченица.

Ответит, прикроет сонные веки, чтобы ничто не мелькало в глазах и не мешало думать, и уйдет глубже в себя.

На ответ невольно окинешь его глазом: верно

ли, что можно обойтись без ног, или это только слова проворливого в ином смысле человека? Тяжелая фигура, из тех, что обладатели их называют корпулентной; круглая голова с припухшими, плотно прижатыми ушами; сизый выбритый череп; крутой подбородок с двумя жировиками под ним; круглые плечи и руки с пальцами, сплетенными над животом.

Затем как то само по себе начинается прикрытое просторным сюртуком туловище, не то, чтобы отменно тучное, а такое, что не пройдешь мимо, чтобы, оглянув его, не отметить в неожиданном раздумье: «ну, и разнесло же борова!». Туловище неожиданно кончается ступнями, осторожно положенными одна на другую, в разношенных штиблетах с раслабленными резинками. Все это есть и даже в подчеркнуто-массовом оформлении, но ног как то и нет! Пока раздумываешь, скребя себе затылок, как может не только передвигаться, но и поспевать всюду первым, Максим Максимович уйдет в себя, оставив чуть видимую полоску глаз, сведя тяжелые веки, нисколько не смущаясь тем, что кто то не сводит с него изумленно-вытаращенных глаз.

А переведя пытливый взор с туловища на лицо, особенно на прикрытые глаза Корявко, не сможешь не задуматься над тем, что свел человек веки, затеплил в незрячих очах лампаду, устремив их вверх, и кротко помышляет о спасении своей души. И так приятно станет на душе от умильного наплыва чувств, что сподобился узреть такое назидательное зрелище, что хоть самому устремляй ввысь очи!

Но зоркий глаз опытного человека, заметив ровное, почти детское дыхание Корявко, его

время от времени приоткрытые кроткие глаза, которыми он обводил присутствовавших, и в которых, вместе с рассеянным взором, было выражение благоговейной радости, сразу догадается, что хорошо взял Максим Максимович, обстоятельно, черпнул полным ковшом, ни только ничего не расплескав, а и доброй пользы взяв бах-на-бах, и теперь с теплой радостью во всем существе пересчитывает в уме прибыль.

И тогда каждому, взглянувшему на него, станет самому тепло и радостно: что за золотой человек Максим Максимович, не ходит, не передвигается, а не только всюду успевает, но еще и так полезно трудится! Как бы самому заняться подобным делом, пораспросив Корявко, как приступить к нему, особенно, если есть проворные ноги! Но как потревожить человека в его умильном состоянии, в кроткой радости с возженней лампадой в сведенных очах, как нарушить ход душеспасительных мыслей! Да и сам Корявко на вопрос приоткрыл бы глаза, чтобы скользнуть равнодушно по спрашивающему, и по привычке кроткого человека, а вовсе не для того, чтобы отделяться от назойливого вопроса, подвигал бы жировиками подбородка, все ради того же самого ответа о жене и свояченице.

Но бывает и так, что опытный глаз, заметя, кроме особой неподвижности Корявко, тревожную окраску лица мертвенно-сизого тона, по одним только теням догадается, что дал Максимыч маxу, не донес, просчитался, загубил чужие деньги и с большим трудом в самую последнюю минуту успел спасти свои.

Прежде чем уделить внимание кому бы то ни было, следует сделать несколько кратких отступлений. Начать с одного из них: можно ли назвать подобное произведение романом, избежав при этом назойливо напрашивающейся строчки «из эмигрантской жизни»? Затем — герои. Неужели с такого, как Максим Коряевко следовало бы начинать это произведение! Что он за человек притом, если только лежит и думает?

Ответить на это можно так, что не столь важно определение, как суть произведения. Назвал же Гоголь свое замечательнейшее произведение поэмой чуть ли не из тех же соображений, что сомневался назвать его романом, хотя бы потому, что не считать же помешаницу Коробочку героиней, а Собакевича и Ноздрева героями?

Если это роман, спросят требовательные читатели, то где же в нем романтическая связка и развязка, страсти, любовь, страдания, интриги, злодеяния подлых и великодушные благородных, где герои, и, главное, где героини?

Здесь следует сделать раннее признание, что героинь, в том смысле, в каком это нравится читательницам, нет. И вместе с тем они есть, только в ином воплощении.

Начать хотя бы с того, что ни разу еще не собиралась теплая компания в буфете Коли Усова, чтобы не выпить « первую за дам ». Сказать и дальше правду, пьют за дам вторую, и третью, все с наростающим увлечением, а некоторые, не то, чтобы из молодых — увы,

таких в зарубежном рассеянии почти уже нет! — а возраста, торопливо приближающегося к старшему, делают неопределенный жест ради означения головокружения и женского колдовства. А те, кто значительно старше, спешат поднести рюмки ко рту, чтобы залить внезапную грусть нахлынувших воспоминаний. Нет, есть героини!

Да и Коля Усов, не в пример хорошему буфетчику часто впадающий в мрачные состояния, которые он не без значительности называет «перепутьями» — хотя лучше бы подошло слово «перепитья» — и тот никогда не откроет своей стойки, чтобы не налить водки тем, кто собрался в этот час и не сказать нарочито унылым тоном, поднося свою рюмку к брезгливо оттопыренным губам: «ну, за любимую женщину!» А тем, кто не пьет, как, например, председатель Общества, генерал Пушкарев, то этим же тоном скажет: «пригубьте, ваше превосходительство, за любимую женщину!»

Облагораживающее присутствие дам заметно не только у стойки Усова. Наблюдается оно и на вечерах Общества, на которых не только рядовые, но и почтенные господа члены правления, включая двух вице-председателей и самого председателя, с таким увлечением танцуют вальс с фигурами, что будь это в укладе прежней жизни, а не в эпоху грозных мировых событий, то нет сомнений, что об этом даже было бы пропечатано в губернских газетах.

Нет, не верно, что нет героинь в этом произведении! Если и не совсем в строго-академи-

ческом смысле, то в таком, который заслуживает не менее достойного уважения.

Что же касается самой сути романа, т. е. любовных историй и всего того, что делает роман романом, то следует оговориться, что все эти увлекательные качества были бы на лицо, если участники его не были бы людьми зрелыми и серьезными, солидными не только по возрасту, но и по сроку пребывания в Зарубежье и своему положению в нем. Кроме того, они всецело заняты важным делом общественного служения, посещением и «заслушиванием» заседаний — нет другого слова,ющего точнее определить смысл этого полезного занятия! — поэтому у них совершенно нет времени ни на какие посторонние занятия.

Постепенно зал заседаний начинал заполняться членами правления. Секретарь врывался, как бесноватый, чуть ли ни с пеной у рта, с таким осатанелым видом, от которого стало бы не по себе даже добруму холерику. Он влетал, сверкая лихорадочно глазами, заделанными за жирными стеклами очков, махал руками, вопя, что нужно же так опуститься, чтобы перестать во время собираться на собрания. Он подбегал к столу, разбрасывал по нему бумаги, наваливался на них грудью и горя от нетерпения, хлопал ладонями по ним в поисках карандаша.

Григорий Холодец, представитель объединенного казачества, доходил до порога, останавливался на нем, поднося руку ко рту, и, закинув далеко назад голову, заливаясь

мгновенно краской в лице и слезами в глазах, все для того, чтобы необыкновенно долго и громко откашляться.

Ряшков, один из вице-председателей, входил потный, взъерошенный, тяжело дыша и вздрагивая щеками, в распахнутом верблюжьем пальто, протягивая здесь и там красную ладонь, успевая перекинуться словом с одним, сказать что то другому, прислушаться к тому, что говорит третий, задержаться на секунду у четвертого, чтобы спросить хотя и мимоходом, но с внезапно наросшим интересом: «а это что же будет — бал, вечер или вечеринка?»

Председатель Общества, генерал Пушкирев, плотный, палированный как майский жучок, вкатывается мелкими шажками, шелестя мягкими подошвами и перекладывая голову с плеча на плечо. Войдя, он оглядывал комнату, особенно, если она была незнакома, но не как Ряшков, в поисках партнера для карт или биллиарда, а где бы найти икону, пока рука сама по себе принималась за привычное метущие над тем местом груди, где раньше у него помещались ордена. Не спеша, осматриваясь вокруг с приятной улыбкой, подавая одному всю руку, другому только два пальца, а кому и одно скользящее движение, не задерживаясь нигде, он выбирал себе место в красивом углу, но не в самой середине, а на одно место сбоку, давая этим понять остальным, что почетное место предоставляется, по занимаемой должности и чину, председателю всезарубежного объединения.

Сев на свое место и уперев руки в круглые колени, председатель с той же ласковой улыбкой осматривался по сторонам, кто собрался и

кого можно послушать, как например, Холодца, который рассказывал, как в развале 1918 года, возвращаясь с фронта, он привязал шашку и ножны к ногам, спрятав их в брюки под шинелью, и так весь путь, где нужно было идти пешком, маршировал, нещадно страдая, несгибающимися ногами, но зато сберег от реквизиции родное оружие.

История с шашкой, особенно выражение «родное оружие» пришли по душе Пушкиреву, который тут же отметил самому себе, что у некоторых осталось еще высоко разыгнанное чувство долга и службы, хотя и поправляя себя тем, что история эта относилась к временным, отдаленным больше чем четвертью века, и ничего общего не имела с настоящим.

Пока председатель приглядывался к тем, кто мог бы добавить что либо к истории Холодца, или усомниться в том, можно ли шагать несгибающимися шагами хотя бы расстояние однодневного марша, секретарь успел раза два сбежать вниз, в ресторан Коли Усова, чтобы отогнать от стойки задержавшихся членов правления.

Появлялся старик Молибога, сразу же с порога начиная нагонять на лоб озабоченные морщины и таращить удивленно один глаз, при первом же случае готовый воскликнуть: «да, ну!». Входил Могиленко, тяжело сворачивая шею с прижатой к ней головой, чтобы опасливо поглядеть то на один, то на другой электрический шар под потолком, ожидая встретить там такой же осторожно-нащупывающий глаз. Появлялась председательница Дамского и Литературного Кружка, Елизавета Андреевна Воробей; за ней — согнанные от стойки за-

стенчивый Плющин и фон-Мюллер, у которого проворно двигался розовый нос, словно нащупывая что то в воздухе. Появлялся Головков, представитель купечества, человек с лицом, густо усеянным кровеносными сосудами, словно он, неизвестно ради какой цели, взял и сосредоточил их со всего тела в одно место. Появлялся казначей Общества, слывший за неисправимого пессимиста, давно махнувший рукой на все дела, кроме общественных заседаний. За ним показывался строгий и замкнутый Псицын. Он останавливался у двери, внимал замшевый чехольчик с щеточкой, распушивал внушительно усы от одного уха до другого, скавивая для проверки на них глаза, хлопал строго веками и только тогда шел к своему месту. Появлялся в дверях Ферапонтов, второй вице-председатель, короткорукий и коротконогий, сбитый, энергичный, с неизменными папками под рукой, в которых хранился жертвенный труд его досуга — таблицы генеталогических древ и гербалических знаков. Затем появлялся Райковский в таком костюме, в каком в свое время любили щеголять первые любовники из летнего театра, рассеянно поглядывая вдаль и небрежно поигрывая связкой ключей.

Затем вновь показывались малиновые щеки Ряшкова, успевшего после буфета заглянуть в биллиардную и в еще пустую карточную комнату, известную под названием «малая шуллерская». Он задерживался на минуту около Холодца, не столько послушать его, как самому порассказать о многих известных историях спасения родного оружия, и тут же припомнил случай, бывший в его полку, когда

поручик Голубятников пронес на себе не только шашку и ножны, а целый пулемет системы Максима.

Скажи кто нибудь из членов правления: «а врешь ты все, Ряшков, у тебя в полку даже никакого Голубятникова не было!», и все бы закончилось на этом. Но председателю хотелось послушать, что скажут по этому поводу другие, можно или нет пронести на себе разобранный пулемет.

Голоса по этому живому вопросу сразу разделились поровну. Одни упорно стояли за то, что пронести нельзя, просто потому, что никак не присобачишь максимку на себе таким манером, чтобы можно было шагать свободно, махая руками. Что угодно из легких пулеметов, настаивали они, но никак не максимку! Другие же, наоборот, доказывали, что пронести вполне возможно, только на это надо быть специалистом, и не в том, как пронести, а в том, каким манером присобачить его на себе. Пронести же, настаивали они, может каждый, если у него такое подходящее телосложение, как у Корявко, а вот как именно присобачить... При этом Корявко, открыв глаза, внимательно всматривался в спорящих, но убедившись, что спор носил чисто академический характер, снова сводил свои веки, тепло поглядывая белками на потолок. Спор становился оживленным, так что председатель только успевал поворачивать голову то в одну, то в другую сторону, а секретарь несколько раз срывался с места, тряс вызывающе головой, сверкал стеклами очков и надсаженно кричал: «это что же, пронести вместе с треногой?»

Ряшков давно забыл о том, что подал повод

к такому техническому спору, который можно было бы избежать простой фразой: «а, вреши ты все, Ряшков!» На что Ряшков вначале погорячился бы, стал бы нещадно божиться и называть точно время и место, призывая в свидетели сколько угодно очевидцев, если они не были бы скошены до этого злодейской пулей врага. Выслушав с прискорбием о злодейской пуле, председатель собирался пораспросить Ряшкова, кто эти живые свидетели были до своей рацней кончины, в каких частях служили, и не привелось ли кому нибудь из них служить под его командованием. Спор продолжался бы еще дольше, если бы озабоченный секретарь не стал бы срываться с места, что кворум собрался и пора, наконец, приступить к делу.

Собрание открылось очередным докладом о выходе из города на лоно природы. За окнами уже приближалась ранняя весна, поэтому ничего не было странного в том, что доклад был о земле. Докладчик Плющин (его звали Пьющий за то, что он не выговаривал половину букв и, кстати, за известное пристрастие) раздивил мысль об устройстве дома отдыха, где в сельской обстановке слабые здоровьем и страдающие застарелыми недугами могли бы набраться сил для того, чтобы снова вступить в бой с жизнью.

— Господа, — начал председатель, выслушав внимательно доклад Плющина и отметив понравившееся ему выражение о «вступлении в бой», — вопрос, как было заслушано правлением, выражается в том, что для поправления расшатанного, так сказать, здоровья и прочих недугов, предлагается устроить место отдыха,

или как высказался очередной докладчик, устройство обители. Прошу высказаться по существу доклада и вообще.

План Плющина выражался в следующем: открыть за городом убежище для людей, страдающих такими недугами, как, например, грудная жаба. Через пустынь, она же и обитель, должна протекать река, а само здание должно быть на высоком берегу, откуда бы открывался далекий вид. В обители должны быть тенистый сад с аллеями, большие веранды и крытые портики. В самом здании должны быть просторные комнаты, со стен которых на жильцов смотрели бы портреты выдающихся людей всего мира, помещенных не по странам и эпохам, а для равенства и справедливой оценки их жизни по алфавиту, с кратким указанием их имени, фамилии, года рождения и смерти, чина, если таковой имелся, звания, страны, что требовал от себя и других, чего достиг в жизни и что оставил по смерти. Обитатели пустыни рассматривали бы портреты и вдохновлялись примерами высокой жизни. Кроме условия, чтобы жильцы не говорили громко и не сквернословили, других ограничений он не делал.

Пока высказывался председатель, господа члены правления спешно развивали варианты и дополнения, отмечая этим обильное разнообразие тем и проектов, обычно высказываемых на собраниях. И, действительно, не успевал один предложить свой проект, как другой тотчас же развивал его дальше, и чтобы не отставать от других в огне общественного горения, прибавлял к нему свои, тут же разработанные экспромтом, разветвления. За ним спе-

шил высказаться третий, и развивая мысль второго, так приукрашал первоначальный план, что от него ничего не оставалось, пока он сам успевал дойти до таких деталей творческого полета, как расставление на парадной лестнице проектируемого дома кадок с растениями. Другому и это казалось малым и он, не теряя драгоценного времени, прикидывал карандашом на старом конверте смету, чтобы подкрепить свое собственное предложение, ничуть не стесняясь тем, что от первоначального проекта ничего, кроме автора, не осталось. Да и сам невольный зачинщик общественного рвения и пыла совершенно забывал о нем в полете творческого рвения как бы прикрасить и развить предложения других.

Вопрос принял еще большее оживление, когда один из членов правления, человек, как он сам говорил о себе, с глубокими корнями в золотом прошлом, внес несколько новых идей, основная мысль которых сводилась к устройству не пустыни для слабогрудых (кому она нужна!), а русской деревни с журавлем-колодцем и избами с бревенчатыми срубами.

Задело ли это особые чувства почтенных господ членов правления, захватило ли душу каждого из них, неспокойную, давно оторванную от земли — за окнами в вечернем небе веяло прекрасное дыхание весны! — но только новое предложение было живо подхвачено сразу несколькими людьми, спешившими высказать свои пожелания и дальнейшие разви-тия. Одни требовали занесения в протокол, чтобы гости переодевались в крестьянское платье, как только прибывали в русскую деревню — о плющинской пустыне давно уже

забыли. Другие на это возражали: де, женщинам легко сделать себе подобие сарафана, а вот как с кафтанами для мужчин, не довольно ли им будет просто летних брюк «отдых дачника» и рубах «аля апаш» или мотылек, а еще лучше: русской косоворотки, вышитой болгарским крестом, с поясом, а цвета... Но секретарь вскакивал и начинал вопить, что красный отставить, а то еще такое скажут, что даже того...

Член правления, подавший мысль о колодце-журавле, с воодушевлением ухватился за мысль о сарафанах, прибавив, что необходимо устроить ряд лавок, в которых продавались бы разные вещи. На вопрос председателя, какие же вещи предлагаются для продажи, вице-председатель Ферапонтов, опередив другого, ответил: «как — какие? А русские предметы искусства!» От этого совсем легко было перейти к созданию артелей кустарей, без которых, какельно заметил тот же вице-председатель, не может быть планомерного изготовления «предметов искусства».

Предложение о кустарях настолько понравилось председателю, что он поспешил замечать секретарю, чтобы тот записал имена всех высказавшихся по этому поводу, чтобы кооптировать их для работы по созданию и украшению русской деревни. Но записывать было не к чему, так как на вопрос председателя, «кто у нас кустари?», оказалось, что таковыми были все.

Пока секретарь размахисто записывал предложения и высматривал очередного докладчика, другой развивал мысль, что если пойти на то, чтобы строить настоящую русскую деревню, то надо учесть местные условия, без

чего никак нельзя приступить к делу, а поэтому необходимо прежде всего заняться в избранном районе древонасаждением, чтобы потом завести сбор ягод и хоровое пенье. На это возразил другой, сказав, что если строить деревню с избами-срубами, с колодцем-журавлем, с сарафанами, сбором ягод и прочими «привлекательными украшениями сельского быта», то для полноты впечатления надо понаставить от железнодорожной станции до околицы настоящие верстовые столбы. Предложение было настолько неожиданно, что даже Райковский, неисправимый скептик, и тот воскликнул: «каяя эффектная мысль!» Председатель пошел дальше, найдя, что мысль не только не лишена оригинальности, но еще и высоко-патриотическая, и предложил высказаться больше по этому вопросу. Но никто не мог ничего добавить к нему, кроме подавшего о нем мысль, настолько пораженного ею, что время от времени он просил слова, вставал и снова повторял предложение о верстовых столбах. В конце концов секретарь не вытерпел, чтобы не сорваться и не завопить, правда, весьма добродушно, что если каждый будет повторять свое предложение — даже самое толковое — по тридцати раз, не развивая его дальше, то у него в протоколах такое получится, что никак не распутать, где верстовые столбы, а где другое.

На предложение высказаться дальше вызвался Холодец, предварительно до этого хорошо откашлявшись, что сразу заверilo председателя, что скажет что либо дельное. А сказал он то, что если обитель или как ее иные называют пустынь перекрестить в деревню с

артелью, «прéдметами искусства», хоровым пением и верстовыми столбами и, следовательно, от всего этого надо ждать огромного наплыва людей, то надо найти такое место, которое не отстояло бы далеко от станции, чтобы вопрос закупок провизии, спиртного и тому подобного не был бы затруднителен. Иначе, предостерегал он, вытирая мокрые глаза и прободя рукой по рыжим усам, «получится компот».

Дельное замечание заставило всех призадуматься. Обсуждение вопроса об устройстве деревни шло бы и дальше, совершенно разойдясь с первоначальным планом Плющина, если Холodeц не упомянул бы об обители и пустыне, что заставило высказаться Ферапонтова, любившего во всем ясность и точность.

— В докладе не только я, но и другие слышали, что Плющин упомянул о слабых по здоровью и страдающих чем то. Вот именно я и хотел бы выяснить: страдающие чем? Мне до сих пор это не ясно. Прошу ответить на заданный, так сказать, вопрос.

Наступило длинное молчание, во время которого каждый задумался над тем, что если строить для страдающих — вне различия чем! — то нужны ли им колодцы с журавлем, избы срубами, и что будут ли они интересоваться «прéдметами искусства». Один из них даже заметил глубокомысленно, что если женщины разрядятся в пестрые сарафаны, то не зарябит ли от этого в утомленных глазах страдающих; другой к этому добавил, что как бы во время перевоза больных от станции до деревни не закачало бы их до рвоты от вида верстовых столбов, и что неизвестно еще чем может за-

кончиться эта опасная затея. На это горячо возразил автор проекта, готовый биться об любой заклад, что он не слышал ни у себя на родине, нигде в другом месте, чтобы кого нибудь закачало только от одного вида верстовых столбов.

Так как вопрос относился к Плющину, как к главному докладчику, то все и повернулись выжидающие к нему, и он уже поднялся, конфузясь, чтобы высказаться о больных вообще, упомянув в частности о себе, как о человеке, жестоко страдающем от грудной жабы.

На счет плющинского недуга мнения давно раздвоились, одни считали, что если он так запустил свою болезнь, что его грудная жаба требует ежедневной выпивки, то хотя он страдает и не по своей собственной вине, все же ему можно поставить в укор недосмотр и попустительство.

Плющин все еще стоял, ожидая, когда ему можно будет ответить, но Ряшков, все порывавшийся высказать свои пожелания и полезные замечания, заметил вскользь, что в медицине много таинственного и неразгаданного, а сколько совершиенно еще неизвестного, да и будет ли когда известно!, и тут же упомянул об оригинальном случае, имевшимся в его полку с одним штабс-капитаном, у которого косили глаза, если он не допивал, и он так и ходил до следующего случая, т. е. до завтрашнего вечера, когда мог выправить свой недуг. На это Ряшкову возразили, что допуская много странного и необъяснимого в медицинской науке, не могло ли однако быть так, что у несчастного штабс-капитана косили глаза именно от того, что он хватал через край, а не наоборот. Но

Ряшков упорно отстаивал, что было именно так, как он рассказал, «продав за то, за что купил», и что медицинский мир был настолько заинтересован, что даже были неоднократные запросы начальству, нельзя ли было взять того штабс-капитана на научное исследование в одну из столиц империи.

История со штабс-капитаном обсуждалась бы и дальше, если бы секретарь не запротестовал, что нужно же так опуститься, чтобы не покончив с одним вопросом на повестке, братясь за совершенно постороннее чего даже нет совсем в порядке обсуждения.

Заявление секретаря дало возможность другим высказаться по поводу плющинской болезни. Они считали, что в отношении самого Плющина его недуг только пустой звук, одно наименование, а наиболее авторитетные шли еще дальше и прямо заявляли, что вопрос не в грудной жабе и не в том, что она просит пить, а в том, что Плющин без разбавленного спирта вообще не жилец на этом свете. Это свидетельство знатоков глубоко поразило старика Молибога, который, собрав на лбу сколько мог морщин, воскликнул: «да, ну?», и весь вечер не сводил с Плющина вытаращенных глаз.

Председатель Пушкирев, одинаково склонный считаться сразу с двумя мнениями, ждал, что Плющин выскажется «по существу и вообще» заданного ему вопроса, после чего можно было бы приступить к прениям и поставить вопрос на голосование. Но раздались голоса «к прениям», и председатель начал кратко перечислять высказанные предложения и пожелания, от обители-пустыни до русской деревни с артелью кустарей и древонасадением, и

развивал бы еще дальше, если бы из задних рядов не поднялся неизвестный человек и не сказал бы тоном, который поразил всех своей особенной проникновенностью и едкой горечью.

— Не об обители, журавлях, да сарафанах следовало бы обсуждать...

— А о чём же? — спросил озадаченный председатель. Секретарь-холерик уже сорвался было с места, чтобы хорошо рассмотреть нового человека, неизвестно откуда появившегося, расстроенный тем, что нарушался ход собрания выступлениями вне очереди, но председатель удержал его.

— Так о чём же?

— А вот о чём: о родных могилках!

После таких неожиданных слов притих даже секретарь, а неподвижно лежавший в кресле Корявко быстро открыл глаза и пытливо обвел ими по лицам присутствовавших. Затем наступило молчание, гораздо длительнее того, которое было после вопроса о плющинском недуге. Каждый крепко задумался о неожиданном предложении, которое не могло не озадачить даже опытных и готовых ко всему членов правления. С чего это вдруг о родных могилках? Кончалась ли их жизнь которая, в сущности, еще и не начиналась, или это только относилось к тем, от кого успела отойти беспокойная душа! Как это может быть: только минуту тому назад высказывались, спорили, планировали, строили, ходили мысленно в сарафанах и в брюках «отдых дачника», собирали ягоду, и вдруг — родные могилки! Да еще сказано так проникновенно и въедчиво!

Пока каждый, пугаясь своих дум, ломал себе голову над тем, что можно было бы прибавить

к новому предложению и как подразвить его дальше, отдавая себе отчет что оно само по себе включало все, что можно было бы придумать, председатель Пушкирев, озадаченный больше чем кто либо, пытливо обводил по лицам присутствовавших, ожидая, кто может высказаться. Но все оставались неподвижными, погруженными в свои крепкие думы, и только Ряшков сделал движение подняться со своего места.

— А, ну, господа, послушаем, — сказал председатель, предлагая слово Ряшкову. Но тот поднялся, неторопливо выпрямился, подошел к председателю, наклонился над его ухом, оглядев всех собравшихся, и сказал голосом конфиденциальным, но достаточно громким, чтобы слышали все:

— Пока вы будете обсуждать вопрос о родных могилках, боюсь, что мне нечего будет делать, так как у меня и на живых нет достаточно времени. Тем более, что мне опять надо повидаться с одним важным лицом, которое только что прибыло из Главного Центра.

## II

### ИСТОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРЕНИЯ

Не могло быть никакого сомнения, что этот уже немолодой человек был от природы наделен столь неистощимой энергией, что еехватило бы с излишком на несколько других полнокровных жизней. Действительно, нельзя было не поражаться изумительному накоплению сил и напористости, бившей таким бойким ключом, словно в нем вместо крови кипела живая ртуть. Он успевал быть всюду в одно и то же время так, что никакое даже мало важное событие не обходилось без его участия, будь то именины, крестины или другие семейные праздники его многочисленных друзей.

Устраивалась ли свадьба, он с женихом носился по делам, помогал выбирать кольца, невесту на примерку возил, шаферов натаскивал, а между делом успевал в сарае кур резать. На свадьбе же первым пробирался через толпу, чтобы поздравить молодоженов, при этом, целуя отечески невесту в обе щеки и хлопая поощрительно по спине жениха, прибавлял с укором, сгоняя досадливую слезу, словно на самом деле в эту минуту его жизнь была бес-

поворотно сгублена: «ну, и свинья же ты, такую лялю себе зацепал!»

Не успевал он накричаться «горько», с замотавшейся тещей вальс с фигурами потанцевать, с папой жениха графин водки выпить, смотришь, стоит скорбный, с опущенной головой, на похоронах общественного деятеля, похрустывая сплетенными пальцами и тяжело вздыхая при взгляде на гроб. Слушает и умиляется от надгробных слов, в то же время озабоченно думая, как лучше распорядиться о выносе гроба.

Не успевал он отстоять на панихиде, вынести гроб, на кладбище съездить, подтянуть баском «вечная память», первым бросить горсть родной земли из заветной и при том неиссякаемой склянки, смотришь, он уже на пельменях! И сидит словно с утра, озабоченно засыпая тарелку густо перцем, заправляя ее крепко уксусом, и шевелит возбужденно пальцами в воздухе, что всегда означало, что по давно заведенному обычаю он уже успел выпить первую без закуски, и теперь, озабоченно нацеживая вторую, оглядывает опытным глазом графин, чтобы соразмерить его вместимость с запасом пельменей. Справившись деловито со второй и третьей порцией, он опять шевелит пальцами в воздухе, что на этот раз означало, что все начинается сизнова.

Торжественное собрание, чествование заслуженного общественного деятеля, он уже там, за банкетным столом среди почетных гостей, нетерпеливо поднимает перст, выразительно трясет головой, высматривая, кто записывает очередь речей. Придя позже всех, смотришь, он вне очереди встает, внушительно откашливается.

ется, открывает свой портсигар, заглядывая в него, щелкает крышкой и говорит: «позвольте и мне, так сказать, вплести несколько цветков в пышный венок достопочтимого юбиляра!».

Открывается ли какое либо общество, любителей рыбной ловли, призрения вдов и сирот, народной трезвости, памяти павших — каких, безразлично! — он уже там, голосуется, проходит в правление, за соседним столом размашисто пишет устав, за первый вечер успевает добраться до составления сметы не только на текущий, но и на второй и на третий год, соображает, кого провести в ревизионную комиссию, кого забаллотировать, а кого переизбрать, на будущий год.

Поминки ли по ком, он уж непременно за столом, да еще в самой середине, под траурным портретом покойного, сам ленты муаровые расправляет, сбившуюся с ног вдову утешает, что все там будем и никому неизвестно, что день грядущий нам готовит, пока проворной рукой обволакивает горячим блином добрый кусок сельди, заправленной поверх немалой пирамидой икры и сметаны. Обмакнув этот пышный букет в расплавленное масло и увлажнив горло полустаканом водки, он заносит его над широко разинутой пастью, успев при этом сказать вдове для ее утешения, что он с покойным «на ты» еще с 1916 года.

Не успевает он справиться с двумя-тремя стопами блинов и дожевать последний кусок сельди, как уже сорвался — и не поверишь! — на благотворительном балу в первой паре гримит в мазурке, да как еще! То сыплет дробью по паркету, слегка, почти не касаясь его, то бежит неуклюже на дряблых ногах, пофырки-

вая, как медведь, а то вдруг понесется на твердых, негнущихся ногах, падая вперед всем телом и только еще больше хлопая бровями, словно только таким образом мог удержаться от падения. А то выпрямится весь, развернет грудь, щеки надует, глаза сделает круглыми, повернется боком, левую руку выгнет крендельком, и пальцы, сведенные в узкую лодочку, спинкой ладони положит на поясницу, а правую руку выкинет вперед, как дышло. И тогда опять то посыпает дробью по паркету, то начнет ломать, сотрясать не только стены, но и самый фундамент здания, делая при этом такие невероятные по сложности и непостижимые по замыслу антраша и коленца, что даже добруму ляху из под Krakova, самому ясновельможному пану пулковнику, проевшему старые зубы на мазуречке, и в жизнь не догадаться, что он тут такое выкинул.

А он несется дальше, каблуками пол бороздит, виляет попеременно то плечами, то задом, головой крутит, малиновыми щеками сотрясает, словно отфыркивая пену с удилов, бровями живо играет, ушами водит, вот только огня еще не пускает из ноздрей, но обязательно сделает и это, как только вымотавшийся оркестр развалится в изнеможении и надо будет выкинуть заключительное коленце!

А он все несется дальше! То ведет свою даму небрежно, словно ее и нет с ним, вывернувшись весь на бок, наизнанку, выкинув костьльком правое плечо, откинув крендельком, как чужую, левую руку, уместив ее с растопыренными пальцами на круглом заду, левой ногой с вывернутым носком гребет по паркету, а правой и пришлепывает, и притоптывает, и

припечатывает! То вспомнит вдруг о даме, гля-  
за сделает испуганными, а то и совсем устра-  
шающими, и поведет ее так бережно, словно  
она создана из тончайшего фарфора, а то крот-  
кая сиротка, стебелинка малая, которую надо  
уберечь от злых соблазнов, защитить от неми-  
нуемой гибели.

Глядишь на него, только руками всплески-  
ваешь от восхищения: «да ведь это сам Петуш-  
ков на ларинском балу! Только куда тому до  
этого! Сто очков вперед даст и на первом же  
кругу обскочит!»

Не успеет он припасть на колено и поцело-  
вать своей даме ручку, откидывая далеко дру-  
гой пот с разгоряченного чела, не успеет еще  
утихнуть грохот оркестра и паркет остыть от  
его раскаленных подошв, а он уже в буфете у  
Коли Усова, стоит словно прикованный цепью  
с прошлого года к медному обручу, и даже  
успел вrostи в пол на полтора вершка. Шеве-  
лит нетерпеливо пальцами в воздухе, через  
рюмку на свет пристально смотрит, как будто  
видит ее впервые и никак не может догадаться,  
что за диковина могла бы это быть! А сам шу-  
мит, спорит, врет с три короба, что на днях  
рыбу в сто двадцать фунтов на самодельный  
крючок без наживы подцепил, а вчера, сразу  
же после вечерни, в девятке как стал бить с  
первой руки, так и бил, умножая каждый раз  
банк, подряд семь раз, и загреб со стола не ма-  
ло, что целую тысячу.

Любительский спектакль устраивают, он  
уже там с тетрадочкой в руках, но все спешит,  
передвигает декорациями, нетерпеливо отма-  
хивается от режиссера, выпучивает глаза, бо-  
жится, дрожит щеками, брызжет от волнения

слюной, все чтобы только доказать, что его заученной ролью можно не только сковать, но и на веки испортить, что ему ролей учить не к чему, что он актер-нутряк, играет исключительно одаренным нутром, и что главная пропасть на самом спектакле. И верно! Такое там накрутит, столько отсебятины отпустит, собьет всех с толку, с режиссером за кулисами разругается, супфлера при открытом занавесе свиньей обзовет, а смотришь, все сошло неплохо, а за здоровый смех даже унылый Коля Усов сам преподнесет ему лишнюю рюмку «за любимую женщину».

Не успеет закончиться собрание или доклад, на котором он не преминет задать подобающий слушаю вопрос или поделиться с присутствующими собственным мнением или опытом из своей практики, как он уже сидит в «малой шуллерской» за зеленым сукном и тасует карты так, словно ничем иным не занимался с детства! Всматриваешься в него, как он слегка пригнув колоду, отчего сама по себе рвалась бандероль, журчащим водопадом тасует карты, невольно восклицаешь: «да ведь это, право, сам Ноздрев! Ой, поглядывайте ка поострее за его игрой, пересчитывайте его взятки!»

А он несется дальше. Если в церкви, то обойдет и молитвенно облобызает все иконы, а перед своим защитником, Михаилом Архистратигом даже утреет растроганно набежавшую слезу; по пути пригасит свечи, поправит другие, строгим взглядом посмотрит на разговаривающих, сам при этом остановится поговорить. Заглянет в алтарь, постоит то на женской, то на мужской половине; заберется и на хоры, где в зависимости от настроения и от

того, чем занимался накануне, подтянет то славным тенорком, то сиплой октавой.

Не успеет он выйти покурить, смотриши, уже пробирается через толпу, обходя молящихся тарелочным сбором той походкой, какой сто с лишним лет тому назад на губернаторских балах прогуливались мышиные жеребчики: мелкой, дробной, подрагивая щеками и ляшками и виляя только задом.

После службы он под архиерейское благословение подойдет и к руке приложится, облизывает еще раз иконы, в алтаре, опередив дьякона, теплоту допьет, просфорку вынет, все это с разной степенью поспешности и степенства.

Не успеет народ протиснуться за двери, он уже на улице, разговаривает сразу с несколкими, здоровается, переходит от одной группы к другой, чтобы говориться то насчет именин, то свадьбы, то просто об обеде и семейной вечеринке, и уже успевает наметить себе, где провести вечер за девяткой или покером. Не успеет он досказать слово, смотришь, уже за полторы версты в Русском Уголке, навалившись всем корпусом над грудой дымящихся пирожков и пробегая в газете отдел происшествий, жадно глотает кофе по-варшавски.

Поздно ночью, когда для всех заканчивается трудовой день, он тянет случайноговстречного в клубный биллиард, клянясь всеми святыми, включая своего запрестольного защитника, что лет восемь как не держал в руке кий, пока в темной комнате, не зажигая света, привычной рукой нащупывает на стене ящики с гнездами шаров. И опять божится, чтобы не дать вперед, что если и «ложит когда шара», то только оттого, что иной раз в руки попадается

кий-самоклад, пока такой мастерской спиралью проходит по кию мелком, что только от одного зрелища его партнера бросает в жар. А он спешит, скользит, слегка касаясь, шаром по пирамидке, водит своим шаром так, словно он прибит к борту, успевая в это время условиться, что проигравший лезет под биллиард не ногами, а головой вперед.

На утро он опять в делах и заботах. Если нужно кого устроить на службу, он берется и за это. Ездит с ним по присутственным и не-присутственным местам, устраивает непременные свидания, тут же отменяет их, уставливается, чтобы тот позвонил ему в такой то час туда, а в такой то — по такому номеру, требует от него полных сведений и бумаг, чуть ли не от метрического свидетельства до послужного списка. Успевает даже уговориться, как они будут спрыскивать новое место у Коли Усова. Повозившись со своей доверчивой жертвой недели две, он с досадой заявляет тому: «ну, не свинья же ты на самом деле! Даже не сказал мне, что ты не монтер-механик! Я с ног сбился, подыскивая тебе место по специальности, а ты оказывается совершенно не то! Ну, не свинья ли, право!»

Если он слышит, что кто то просит денег, он сделает так, что тот непременно обратится к нему, да еще при других, чтобы слышали и знали все. Попросит тот сто, а он ему на это: «зачем сто? Дай лучше я тебе за одно двести достану!» И пойдет писать губерния! Опять неотложные вызовы, отмененные встречи, обещания окончательно порешить завтра и самому привезти деньги, встретившись у стойки Коли Усова, а если нужно до зарезу, то хоть

сейчас, через несколько минут, вот только нужно еще одного важного человека повидать, без которого ничего нельзя сделать! Заварит такую кашу, что даже и расхлебать трудно. легче сразу же бросить все и забыть о деньгах.

О чем бы ни зашел разговор, он обо всем знает хорошо и может обстоятельно поговорить в любую минуту. О современном техническом открытии — он знает и о нем и даже задолго до опубликования сам совершенно приватным образом делал испытания, и будь они опубликованы своевременно, все дело изменилось бы в корне. На вопрос, отчего же не опубликовал, он пожимал плечами, открывал крышку портсигара, заглядывал туда, словно там был готовый ответ, но по каким то веским причинам не хотел вдаваться в детали, и отвечал: «а, так, взял и не опубликовал!» Он смотрел ясными глазами, словно стараясь сам вдуматься в суть своего ответа, в замечательную формулу «а, так», которой можно ответить на любой юрский вопрос.

Медицина? Он очень хорошо знает и о ней, и может поговорить с кем угодно, обругав при этом врачей, и тут же, прилгнув изрядно, перейдет к своей особенной болезни и операции, на которую съехались чуть ли не все светила медицинского мира Старого и Нового Света. Будучи уже на операционном столе, он навел их на правильный диагноз, отчего в самую последнюю минуту им пришлось изменить весь ход операции и начать резать его с другого конца, иначе — по признанию самих врачей — они преспокойно зарезали бы его за милую душу по незнанию его сложной болезни. Об этом случае, как заканчивал он свое повество-

вание с приятным чувством отрадного воспоминания, писали много в заграничной прессе, и даже теперь, время от времени, упоминается о нем в медицинских журналах, а врачи, оперировавшие его, с которыми он в тесной переписке, до сих пор не нахвалятся его знаниями в медицине.

Если называют чье либо имя, он тотчас же припоминает, что как же, хорошо и даже очень хорошо знает его, вместе учились, вместе выходили в бодрую жизнь, одно время жили на одной квартире, а в разное время одолживал ему деньги и устраивал на работу. Тут же прибавит такие детали, что жена у него рыжеватая, в веснушках, смешно шепелявила, это его вторая, а первая, покойница, царство ей небесное!, была такой редкой красоты, что он исключительно ради святого преклонения носил ее фотографию на груди, и никогда бы не разлучился с ней, если сам не забросил бы от огорчения цепочку, крест и медальон в море, отплывая в изгнание от родного берега. На вопрос, отчего же забросил, если так свято преклонялся, он смотрел ясными глазами, словно пытаясь вдуматься в суть вопроса, и отвечал: «а, так, взял и забросил!»

В памяти издавна знавших его сохранился характерный случай из его жизни. Был как то еще в старое время полковой праздник в гарнизонном собрании, бал в полном разгаре грохота каблуков и рева полкового оркестра. И вот в эту шумную, но мирную сцену ворвался он из биллиардной, тогда еще молодым поручиком, с таким озадаченным видом на пьяном лице,

что невольно можно было ожидать всего. И, действительно, он замахал нетерпеливо руками и командным голосом зычно проревел над паркетным грохотом: «Музыка, стой!» И когда все внезапно остановилось и публика в изумлении оглянулась на него, он поднял вверх палец и в дыму пьяного угара требовательным голосом спросил: «Кто сказал...», и тут ввернул два таких словца, от которых шарагнулись бы не только полковые дамы, но и деликатные штабные писаря.

Все это еще ничего бы! Каждый мог представить, что произошло в биллиардной, когда игра была в партионном шаре, свой у борта, а тут кто то возьми и скажи под самую руку: «ну, Мишка, твоему шару крышка!» Есть с чего расстроиться и выскочить в расстегнутом мундире, перемазанном мелом, в танцевальный зал! Каждый бы понял, и все сошло бы на нет, если бы в наступившей гробовой тишине он, все еще с предостерегающе поднятым над головой перстом, не добавил бы с подмывающей искренностью пьяного укора: «Я это явно слышал!»

Вспоминая об этом случае, живые свидетели спрашивали его: «Как же ты мог слышать за две комнаты, в грохоте музыки, в треске биллиардных шаров, что было сказано в зале?» На что он всегда смотрел на спрашивающего ясными глазами, свинчивал трубочкой верхнюю губу и неизменно отвечал: «А вот представь себе, явно слышал!»

Кто же это за человек и откуда он взялся?  
Действительно, откуда на Руси, старой ли,

новой ли, в своих ли местах или чужих, раскинутых зарубежом по всем материкам, за всеми морями, по чужим долинам, на чужих реках, по чужим городам брется у русского человека такая неугомонность, такая напористость, не удержанная стремительность, не прибита ни долгими годами, ни тяжелым бытом, ни Бог знает какими суровыми испытаниями!

Но и здесь люди старшего поколения, ревностно относящиеся ко всему тому, что они называют золотым прошлым, скажут, что в доброе старое время не такие еще были, но теперь все повывелись в силу проверенной в Зарубежье истины: «дольше едешь, тише будешь».

Но, нет, не отнести это к Михаилу Ряшкову, никак не отнести! Был он за эти годы и на коне и под конем, в беде и в несчастье, а не утратил ни бодрости, ни жизнерадостности, а о житейской напористости и говорить нечего, казалось, ее становилось у него все больше и больше. И баки ему судьба рвала, и какие только мерзости не устраивала, а, нет, встряхнется человек, и все напасти, беды, лихолетья, злосчастья сходили как с гуся вода. Сам еще и посмеется над собой, позубоскалит с другими, подобными ему самому!

Дрянной человек, скажут читатели! Нет, не дрянной. Совсем нет! Жаждя быть впереди всех привела его в разные времена его жизни на Москву-реку, Волхов, Волгу, Дон, Енисей, Амур, к воротам Индии и ко льдам Ледовитого Океана. И рвался он вперед, расталкивая других, подминая под себя препятствия, глотая жадной грудью воздух чужих мест. Шел, ба-

лагуря и смеясь, скаля зубы, то с песней, то с пляской; и умирал, как жил, азартно и цепко. под Царьградом, на Альпах, под Шипкой, на Лядуне, на Мазурских болотах, легко, просто, с таким же вкусом, как и жил.

Если не дрянной, то пустой человек, скажут тогда читатели, несерьезный, без всякой солидности! А вот и не так! Наоборот, солидности хоть отбавляй. И не только тогда, когда обходит молящихся с тарелочным сбором или встает на чествовании с пространной речью, но даже в простом обиходе, как, например, когда спускается по лестнице Общества в шубе «на больших верблюдах» и идет к своему автомобилю, солидному, как и он сам, о котором он важно отзыается — «мой кобеляк».

А насчет серьезности, так еще лучше! Уж куда больше, когда Ряшков поднимается на собрании, надувает малиновые щеки, открывает заветный портсигар, чтобы кинуть туда взор, словно там все сказано, что делать или говорить. Или когда председатель и секретарь так запутаются в вопросе, что кажется и выхода нет, а решение нужно вынести, тут Ряшков встанет, обведет всех ясными до прозрачности глазами, свернет верхнюю губу, и на все возражения, на которые казалось было нечего возразить, только скажет: «а вот представьте себе!» Но скажет это так вдумчиво так проникновенно-въедчиво, что если и были какие либо возражения или споры, то все невольно прекращались.

А если иным делом и прилгнет Ряшков, то кто же не брал подобного греха на душу! Да и Ряшков сам, когда его загонят в угол и все его подробности, которыми он попытается под-

переть шаткость своего рассказа, станут явной несуразностью, только рассмеется, ослепит белизной зубов, сверкнет блеском малиновых щек и прибавит обезоруживающее: «а и свинья же ты, на самом деле! Ведь это ты соврал, а на меня сваливаешь! А если я и хватанул маленько, так что же из этого! Ты ведь сам говоришь, как нещадно Ноздрев врал, а попал таки в большую литературу!»

### III

## РОДНЫЕ МОГИЛКИ

Неожиданные слова о родных могилках оставили глубокое впечатление на правление, и тщетно председатель Пушкарев обводил вопросящими глазами по лицам собравшихся в надежде вызвать скорый отклик. Собрание продолжало долгое время пребывать в молчании, даже после того, как вышел Ряшков и закрыл за собой двери.

Затем как то все сразу пришло в движение. кто же это сказал, да еще так, что неизвестно, что больше поразило их, слова его или въедчивая проникновенность тона? Они приподнялись и огляделись, и тогда из задних рядов вышел щуплый человек типа комика из украинской труппы. Он пробрался вперед, обвел всех глазами, коснувшись до них красным платком, выдернутым из заднего кармана брюк, и на этот раз сказал низким голосом, так не идущим всему его облику:

— Гроза, Ерофей Исачич, тридцать лет тютерька в тютерьку весовщиком на Кавежеде на прямом и транзитном грузе. Жмыхи и бобы, опять же скоропортящийся груз. Какую угод-

но справку хоть сейчас за любой год. Едучи сюда, прихватил сводки тарифов за все годы. Завсегда можете проверить.

— Х-м! — заметил в раздумья председатель.

— Интересно как, а! Главное, тарифы есть!

— Могут пригодиться, — живо отозвался Ферапонтов. — Никто не знает, как все может еще повернуться. Иной раз кажется, что старое никому не нужно, а вдруг кто нибудь выкопает его на свет и так еще использует, за милую душу.

— Вопрос не в том... — начал председатель, но его перебил Гроза, опять взявшись за плащок и касаясь им глаз.

— А здесь, — произнес он прежним тоном, который так поразил всех своей проницаемостью, — как попал сюда, на другое полунашарие, чем только не переболел, от чего только не перестрадал, а сколько по госпиталям належался, так, небось, высаживаясь по существу!

— Вот об этом и есть! — воскликнул председатель, — о родных могилках. Кто пожелает высказаться по существу и вообще, за и, так сказать, против?

— Это что же, — сорвался секретарь, — рассматривать все вместе? На одном собрании обсуждать два различных вопроса? Живых и, так сказать, усопших, на одной повестке? Ну, это вы что то того, если так сводить все вместе, то можно до того, знаете, дойти, что...

— Для меня это тоже как то неясно, — поднялся Ферапонтов, всегда требовавший ясности в общественных делах. — Обсуждать эти два вопроса скопом? Два несвязующих элемента?

— Хм! — заметил в тяжелом раздумье председатель, осматриваясь по сторонам в поисках желающего высказаться. Сперва все задумались над тем, в какой форме обсуждать вопрос, затем стали высказываться, и председатель, подал корпус вперед, чтобы лучше выслушать каждого.

Одни высказывались, развив еще дальнейшую мысль секретаря, что рассматривать два этих вопроса — об обители, русской деревне и о родных могилках на одном собрании, поместив или не поместив их на одну повестку, это что то такое, что даже нельзя и назвать, поскольку эти два кардинальных вопроса не только не совмещаются, а даже один вытесняет другой. В особенности вопрос об ушедших из этого мира. Для усиления эффекта приводилось много доводов, почему именно нельзя ставить эти два вопросы вместе, хотя бы потому, как указывали некоторые, вроде скептика Райковского, что после смерти никто не знает, существует либо или нет, на что отец Павел, оказавшийся на собрании, поднимал предостерегающее перст, осуждая неверующих.

Другие, наоборот, высказывались, что не только можно, но и должно свести эти два вопроса вместе, и именно в их последовательности, т. е., поговорить обстоятельно о живых, даже о страдающих недугами, как грудной жабой, но пока еще живых, а затем сразу же перейти к дебатам об умерших. Часть сторонников этого мнения упоминала об этом как то вскользь, почти с пренебрежением, что особенно слышалось в словах «в их последовательности». Другие из этой группы шли еще дальше, решительно настаивая, чтобы эти два

вопроса были поставлены вместе, и что второй части отвести больше времени, при чем один из голосов прибавлял — не без зловещности — что «сроки приближаются».

Упоминание о сроках сразу прервало прения, а некоторые при этом глубоко задумались, особенно Псицин, председатель похоронной кассы, отчасти по соображениям личного характера, отчасти по служебным, опасаясь, как бы такое приближение не сорвало кассы. Неподвижно лежавший Корявко быстро открыл глаза и посмотрел сперва на отца Павла, затем на председателя, и затем уже на всех остальных. Могиленко тревожно пошевелился на стуле и медленно, как бы нехотя, а то и с тяжелой неволей, повернул голову на плохо двигавшейся шее и осторожно оглянулся, кинув тревожный взгляд на электрический шар.

Другие так же посмотрели на отца Павла, вспомнив невольно о недавно умершем председателе ревизионной комиссии, который сам любил поговорить о смерти, твердо веря, что если не при жизни, так обязательно после нея будет полностью отмечен его долгий и полезный жизненный путь. Еспомнили и о том, что в день похорон, когда оставался последний случай отдать должное покойнику за его жизнь и общественную службу, отец Павел зачитавшись накануне популярной статьей о Ломоносове, добросовестно и по своему красноречиво рассказал о рыбаке и поэте.

Затем все очнулись и вспомнили, что за окнами ранняя весна, что следует ли в эту пору думать о чем то, что далеко и что так чуждо прекрасному дыханию возрождающейся земли.

— Для меня все стало ясно, — поднялся Ферапонтов, проводя энергичным движением по короткому ежику головы. — Настолько ясно, что даже нечего и ставить вопрос на обсуждение, а решить его вот так.

— А, ну-те? — наклонился вперед председатель.

— Прежде всего я предлагаю кооптировать нового члена, высказавшегося о родных могилках для той, так сказать, будущей работы, которую мы намечаем для проведения в жизнь. Кроме этого, одну минуту, — остановился он, видя, что председатель был готов поставить вопрос на голосование, — я предлагаю кооптированного члена, Ерофея Исаича Грозу, сразу же провести в ревизионную комиссию, на освободившийся пост председателя.

— Я также полагаю, — сказал председатель, перекладывая голову с плеча на плечо, — что Ерофея Исаича Грозу следует кооптировать насчет родных могилок и провести в председатели ревизионной комиссии.

— Тридцать лет, день в день, весовщиком на сквозном грузе — это тоже надо принять к сведению! Да и тарифы за все годы, и прочее. Хоть сейчас можно проверить.

— Так что же, — задумчиво сказала председательница Дамского Кружка, — проголосовать единогласно и принять. Ой, как у нас мало культурных работников, как мало!

— Мало, — засверкал лихорадочно стеклами очков секретарь. — Мало! Это вы, знаете, истинную правду сказали. У нас не только культурных, у нас даже полукультурных уже больше нет на учете.

— Что нет, то нет, ничего не скажешь! —

заметил Псицин, строго оглядев всех, — до чего ведь дошло — иной вечер секретарь выскакивает на крыльце, посмотреть на небо, авось какой парашютист свалится!

— Хм! — отозвался Пушкирев, по положению председателя поощряя в других общественное рвение, — похвально, похвально, такая заботоченность...

— Слава Богу, что Грозу проводят в ревизионную комиссию. На месте будет. Вообще то как у нас получается, мне, как скептику, это особенно заметно: бывшего сцепщика вагонов проводят единогласно в музыкальную секцию, а церковного регента в хозяйственную. И что же получается? — первым делом по привычке сейчас же пробу голосов устраивает!

— Это еще что! — отозвался другой член правления, — если только пробу голосов. Иной доберется до хозяйства, до кладовой, так такую пробу устроит, что бутылок не напасешься!

— Да, ну! — ужаснулся Молибога.

Пока шли разговоры, председатель Пушкирев все припоминал о родных могилках, и вместе с тем слова Ряшкова, что ему нужно повидаться с только что прибывшим важным лицом. Это не могло не встревожить его. Не могло ли быть, думал он, что это важное лицо прибыло из Главного Центра с какой то определенной целью и прежде чем официально встретиться с ним, с председателем, устраивает почему то тайную встречу с Ряшковым?

Об этом, казалось, думал и второй вице-председатель, Ферапонтов. Он обратился к Пушкиреву так, чтобы не слышали другие.

— Провести то мы провели Грозу, но боюсь, что кто то сорвет нам это дело.

— А, ну-те, что сорвет? — оживился председатель.

— Родные могилки.

— А кто же сорвёт?

— Кто, как не Ряшков. Больше ведь некому.

— Господь с вами! Для чего же ему срывать?

— Найдется, для чего. Почему он ушел с собрания встречать кого то?

— А, верно, почему?

— Вот то то и есть — почему? Хочет значительность свою показать, а со временем и в председатели пройти.

— Х-м, — заметил расстроенно Пушкирев. — Вы уверены?

— Как еще уверен! Если не был бы уверен, не говорил бы.

Председатель Пушкирев встревожился не на шутку от слов Ферапонтова. Ему хотелось побольше поговорить об этом и задержаться на вопросе о родных могилках, но заседание закончилось, и все разошлись, кто куда: кто домой, кто на ночную работу, кто в биллиардную, а наиболее степенные скрылись за дверями карточной комнаты, где сразу же наступило сосредоточенное молчание серьезных людей. Кто спустился вниз, где в углу ресторана собралась компания завсегдатаев. Но председатель Пушкирев все не мог найти себе места, тревожась то от мысли о неожиданном приезде важного лица, то от того, что неужели Ряшков собирается не только сорвать работу, но и пройти в председатели.

Но одно обстоятельство совершенно выправило положение и вывело его на тот путь, который председатель считал самым верным для себя и для правления.

Случилось так, что одно, незначительное с виду явление заставило эту небольшую, но хорошо сплоченную группу пережить в одну неделю столько, сколько они никогда не переживали раньше.

На другой день после заседания, посвященного обители — русской деревне, сперва в буфете Коли Усова, затем наверху, в гостиной Общества, затеялся живой спор: поймет ли пехотинец моряка или не поймет. Споривший, человек никому неизвестный, доказывал, сперва спокойно, а затем все горячее, что понять невозможно, потому что жизнь пехотинца и жизнь моряка совершенно разны и не имеют никаких точек соприкосновения. В подтверждение своего довода он приводил такое множество примеров, что даже председатель начинал соглашаться, что никогда пехотинцу не понять моряка. Чем больше он соглашался с доводами моряка, тем тяжелее становилось у него на душе. А тот отгибал палец за пальцем и приводил пример за примером — один лучше другого. Из наиболее ярких, спорящий — ни у кого не оставалось сомнения в том, что он моряк — приводил, что пехотинец живет в казарме, моряк на корабле; первый спит на кровати, второй в гамаке; один весь в защитном, в сапогах, шинели; у этого брюки-клеш, матроска, бушлат, бескозырка с лентами; у пехотинца шаровары с ширинкой по середине на четыре пуговицы, у моряка на брюках фланец с пуговицами по бокам. Этот марширует поднимает пыль и сам глотает ее; тот — «все наверх»

и там дышет соленым воздухом моря; у этого на все ответ «слушаюсь» и «так точно», у того «есть».

Моряк продолжал отгибать палец за пальцем, что совсем расстраивало раздраженного секретаря. Он несколько раз срывался с места с таким страдальческим выражением лица, словно его охватывал жестокий недуг, и выбегал в переднюю, чтобы там завопить, что нужно же так опуститься, чтобы в Общество, составленное почти целиком из пехотинцев, пускать какого то неизвестного, который расселялся, загибает пальцы и нахально высмеивает пехотинцев, что они не поймут моряка.

Чем больше слушали того остальные, тем меньше оставалось у них доводов противопоставить в перевес моряку. Хуже было то, что даже председатель, сперва отнесшийся к спору добродушно, не на шутку заволновался, почувствовав, что нельзя было не согласиться с доводами моряка, так как не было никого, кто мог бы разбить его. Все правда, ничего не скажешь, разное обмундирование, разный быт и разговор, обхождение, служба, начальство, как же можно спорить о том, что пехотинец может приблизиться к моряку и понять его!

Председатель Пушкирев обводил тревожными глазами присутствующих, ища, кто бы мог ответить моряку. Но никого такого не было, кроме Ряшкова, который, не в пример своей кипучей деятельности, не только ничего не возражал, но даже сидел без всякого движения. Но когда казалось, что все было проиграно, и моряк торжествующе повторял, «не может понять, не может!», Ряшков поднял голо-

ву, посмотрел на того как то особенно вдумчиво и даже не заглядывая в портсигар, скрутил трубочкой верхнюю губу и сказал: «а представь себе, может!», таким подкупающе-убедительным тоном, что не оставалось никакого сомнения, что поймет пехотинец моряка. Председатель Пушкарев даже перекрестился от внезапного облегчения — такую тяжесть снял с плеч Ряшков! Он не подошел, а подкатился на коротких ножках к нему, наклонился, положив руки на его колени и, заглядывая в ясные ряшковские глаза, поспешно повторял: «поймет, поймет, да еще как поймет!»

Этот случай сразу успокоил Пушкарева. Нет, не может такой человек, как Ряшков, срывать полезную работу правления, а еще меньше — подкапываться под своего председателя. Кто угодно, только не Ряшков, человек, столь преданный общественному делу и защищает общих интересов.

— Ты не спешишь, Ряшков? — спросил он, заглядывая ласково ему в глаза и перекладывая голову с плеча на плечо. — Я хотел бы поговорить, обсудить кое что.

— Сейчас? — поднял бровь Ряшков и надувая щеки. — Боюсь, времени нет в данную минуту. Есть несколько неотложных дел.

— Подожди, подожди, — продолжал Пушкарев с ласковым укором. — Ты вот так хорошо разбил моряка, поддержал славно честь пехотинца. На кого другого могу я положиться, как не на тебя, когда выходят такие случаи, как с моряком, а то и еще лучше вот с этим...

— С этим? — еще выше поднял бровь Ряшков.

— Ну это еще погодя, о нем разговор впереди. Ты скажи мне прямо: ведь не собираешься ничего такого предпринять вроде срыва общественной работы, а?

— Я? Срыва? Общественной работы? — отступил Ряшков назад, поднимая руки к сердцу. — Лично я? Ряшковы никогда такими вещами не занимались, не занимался и не занимаюсь этим и я.

— Ну, вот, видишь! — с облегчением сказал Пушкирев. — И я сам так думаю, что если никто из предков не занимался подобными некрасивыми вещами, почему же славный потомок начнет заниматься этим! И скажи, — продолжал вкрадчиво он, — и на пост председателя не метиши?

— Да зачем мне на пост председателя? — искренно удивился Ряшков. — Для чего мне это дело, когда у меня работы по горло и на вице-председательском посту? Это что же, кто то наговаривает на меня?

— Никто не наговаривает, — уклончиво ответил председатель, — а только ты сам поступаешь так, что Бог знает, что можно подумать!

— Как же это я поступаю? — всполошился Ряшков, — кажется все, как следует, несу себе скромно общественную нагрузку, пожалуй, даже не меньше другого, и вот тебе на — как то поступаю по особенному!

— Не в этом дело, ты прости меня! — Пушкирев опять присел и заглянул испытующе-ласковым взглядом в его глаза. — Ты, ведь, мне ничего не сказал. Хорошо! Не сказал, как другу, не сказал, как бывшему начальнику,

все это ничего, и я не взыщу, другие времена, другое положение. — Пушкирев вздохнул и отвернулся в сторону, словно желая скрыть внезапное волнение в глазах. — Но не сказал как своему председателю, вот это, извини меня, я уж никак не могу понять. Никак!

— Да что же я не сказал? — искренно удивился и даже встревожился Ряшков, позабыв о том, что еще недавно, на прошлом заседании, заставил призадуматься председателя.

— А то, что встречаешься с важным лицом и скрываешь это от меня.

— Зачем же мне скрывать что либо от своего председателя? Не такой человек Ряшков, повторяю, чтобы скрывать что либо от своего начальства или своего председателя. Не такой он и человек, чтобы болтать зря и трепаться. Ни того, ни другого ему кажется нельзя поставить в упрек!

— Мне то следовало бы если не доложить, то просто сказать, — с ласковым упреком заметил Пушкирев, — хотя бы в кратких словах, так и так, если это касается общественного дела, службы или просто меня, как председателя. Ты знаешь сам, как я пекусь об общественном служении, не поминая о том, что провел тебя в первые вице-председатели. Кому я могу больше довериться, как не тебе! Как, например, с этим моряком! Кто бы ему ответил, если не было бы тебя? Ты думаешь, я, как твой председатель, не ценю этого!

Пушкирев перёложил голову с плеча на плечо, пытливо поглядывая на Ряшкова, чтобы проверить, какое впечатление произвели на него его слова, но тот сидел с низко опущенной

головой, как делал всегда, когда считал, что о нем говорили не по заслугам хорошо

— Ты сам знаешь, Ряшков, — продолжал Пушкарев, но уже в другом тоне, — что давно не было никакого письменного сношения с Главным Центром, что заставляет меня призадуматься, в чем тут дело, почему начальство набрало воды в рот! Служим мы и ведем свое общественное дело с той же горячностью и рвением, что и прежде, и как то — неловко даже говорить об этом! — до сих пор еще ничего не отмечено. Не может ли быть так, что вместо переписи они возьми, да и того... Ты, Ряшков, что то знаешь, а таишь от своего председателя!

Ряшков продолжал сидеть с опущенной головой, ожидая, что дальше скажет Пушкарев, но тот замолчал, задумавшись на свои мыслями. Он встягнул головой, сделал движение перекреститься, и опять повернулся к Ряшкову.

— Я только тебе одному говорю об этом. — Пушкарев остановился, обвел глазами по сторонам, хотя знал и так, что в комнате никого кроме них не было. — Сколько же времени я председателем, а считаются ли с этим? Я ничего не хочу сказать относительно Главного Центра, но все же полагаю — и даже в праве полагать — что начальство должно как то озабочиться. Ты посуди сам, Ряшков: по царскому времени я штабс-капитан, по гражданской войне полковник. По эмигрантски же генерал, все честь честью, выслуга лет, старшинство, личные, так сказать, качества, пятое-десятое... Но ведь утверждение то должно прийти свер-

ху, а Главный Центр утвердил? Есть у нас на этот счет что либо? Нет, ведь! А, казалось бы, пора озабочиться...

Ряшков слушал с проникновенной внимательностью, которая располагала на доверчивость, то опустив голову, то поднимая ее и заглядывая прозрачно-ясными глазами в глаза Пушкирева. При упоминании о посыпании Ряшков утвердительно закивал головой в знак того, что нет никаких сомнений, что по годам службы, старшинству и личным качествам, пятому-десятому, должно давно прийти утверждение Главного Центра.

— Ты на прошлом собрании как то обронил, что тебе опять надо повидаться с кем то? Ты, как это, того, не закручиваешь, а?

— Зачем же я буду закручивать, да еще своему председателю?

— Я тоже так думаю — зачем. А вот скажи, что: и важное это лицо?

— Важней пока никого здесь нет

— И что же он, из Центра? — Пушкирев затаил дыхание и пытливо заглянул в глаза Ряшкова.

— Откуда же ему быть, как не из Главного Центра, — живо откликнулся Ряшков. — Конечно, оттуда! Я и не стал бы разговаривать, если бы не оттуда. Но только, — Ряшков остановился и огляделся вокруг, нет ли кого, что мог бы услышать его, — я связан клятвой, а раз так, то у меня, как у мертвого!

— Вот видишь! — заволновался Пушкирев.  
— Ты говоришь, оттуда. Так, так. Повтори еще раз. Нет, лучше давай, голубчик, садем под иконы. Сядем там поближе и ты мне, своему

председателю, расскажи всю правду: кого приехал, откуда, зачем, с какими заданиями и тому подобное.

Пока Пушкарев пересаживался с места на место, в комнату ворвался холерик-секретарь в поисках членов правления, загоняя их на собрание.

— Господа, — обратился председатель с приятностью в голосе и ласковостью в глазах к своему правлению. — Сегодня мы рассмотрим вопрос, поставленный еще на прошлом заседании, а именно, о родных могилках. Прошу выскажаться, кто желает, за и против.

— Для меня лично все стало ясно, — поднялся Ферапонтов, проводя короткой рукой по ежику головы. — Настолько ясно, что я считаю не нужным ставить вопрос на обсуждение, а решить его вот так.

— А, ну-те? — наклонился вперед Пушкарев, чтобы не пропустить ни одного слова Ферапонтова.

— Взять временную заботу о могилках. Это в первом, так сказать, этапе. Во втором... — но ему не дали договорить, так как несколько голосов заговорило сразу.

— Я сам давно хотел предложить правлению, — заговорил один из них, — взять какнибудь да и собраться теплой компанией, всем скопом или, как бы еще лучше сказать, всем клиром, и съездить на кладбище, почистить, что надо, сухие листья, паутину, вообще всякую мерзость и запустение...

— А потом устроить на лужайке детский

крик, чтобы тем не было одиноко, — добавил поспешно Плющин, краснея и конфузливо улыбаясь.

На это живо отозвалось несколько голосов, громче всех голоса Григория Холодца и фон Мюллера с готовой поддержкой предложения Плющина. Пока шли горячие обсуждения относительно поездки на кладбище и пикника и пока председатель Пушкирев прислушивался то к одним, то к другим голосам, соглашаясь с одними и не расходясь с другими, Ряшков уже солидно откашливался и тянулся рукой, чтобы привлечь внимание председателя.

— Господа, внимание, выслушаем мнение Ряшкова. Прошу.

Ряшков поднялся, надул щеки, обвел важно всех глазами и полез в карман за портсигаром. Движение это было хорошо известно всем, что когда он щелкнул крышкой, чтобы бросить быстрый взгляд в портсигар, Молибога, успевший к этому времени набрать на лбу лишние морщины, сказал: «а, ну, Ряшков, скажи что нибудь дельное!».

— Для поддержания родных могилок и приведения их, так сказать, в христианский вид и порядок, — начал внушительно Ряшков, пряча в карман брюк уже ненужный портсигар, — в подобающий их положению вид, я предлагаю устроить бал или, — он остановился, чтобы прикинуть в голове, не здорово ли махнул и не будет ли многовато для них, — вечер или вечеринку.

— До чего же надо опуститься, — яростно сорвался с места секретарь, — чтобы на поддержание, так сказать, христианского вида

наших родных могилок устраивать вечеринку! Ты, Ряшков, так махнул, что дальше некуда идти. Ты бы еще предложил пельмени устроить...

— А, знаете, неплохая мысль, совсем неплохая, — отозвался Ферапонтов, успевший забыть, что он хотел сказать о втором этапе, — но только не как обычно, а связать эдак с поминальным днем. А то как то суховато выйдет, ясности не будет, если не связать.

— Это еще ниже надо пасть, — совсем вопил секретарь, махая руками, пригибаясь и заглядывая то снизу, то сбоку, — связать пельмени с поминальным днем! Просто насмешка. Если так начать, то до чего можно докатиться!

— Позвольте по такому трудному вопросу просить высказаться председательнице Дамского Кружка, мадам Воробей. Как вы представляете себе, Елизавета Андреевна, интересно прослушать ваше просвещенное мнение вообще и, так сказать, в частности. Прошу.

— Устроить, понятно, все можно! Но только я никогда, никогда не слышала, чтобы пельмени — и поминальный день! А что засмеют нас в столице и других крупных мировых центрах, как только узнают, то я ничуть не сомневаюсь — и по делом будет! Блины — другое дело, Можно из простой муки, а то из гречневой. К ним идут сметана, икра, семга, можно сказать все, что полагается на масленицу...

— А как насчет многоэтажного нагромождения из стекла и прочего? — спросил, краснея, Плюшин.

— Это мужчины сами распоряжатся!

— У нас на поминальный день почему то

всегда первую четверть настаивали на черемуховом цвету, — заметил грустно Ряшков, не обращаясь ни к кому, вздохнув задумчиво, но сразу же вызвав реакцию у других: не прильнул ли Ряшков, что именно на поминальный день, или то, что первую четверть на черемуховом цвету.

— Это все не о том, — волновался секретарь, — так если мы будем настаивать на разных настоях, то кто будет проводить общественную нагрузку.

— Можно устроить пельмени как специальный день но...

— Но связав их косвенно с поминальным днем, — прервал его Ферапонтов. — Тогда будет все ясно и толково. Прошу внести в протокол существенную поправку: связав косвенно с поминальным днем.

Председатель Пушкирев с удовольствием слушал пожелания своего правления и все думал о своих словах: «поддержим дряхлеющей рукой наши родные могилы», сказанные им в начале дебатов.

— Но это что же, — не унимался Ряшков, — просто вечер с пельменями или одни пельмени с поминальным днем?

— Не упомню, для чего устраивали последний вечер, — сказал Молибога, напряженно мигая глазами и собирая на лбу морщины, — не помню, говорю, для чего устраивали. А только зал был на половину полупуст.

— Но не на этот раз! — воскликнул живо секретарь, посверкав яростно очками, — не на этот! Не так еще у нас опустились, чтобы на такой день не собраться!

Стали думать, собирается ли публика или нет, а Ферапонтов, исключительно ради ясности, прикинул в уме, сколько же это будет, если «на половину полупуст».

— Что бы я предложил еще, — начал опять Ряшков, поднимаясь и прося взглядом слово у председателя. — Что я предложил бы, — тянулся он, только еще собираясь с мыслями, еще только нащупывая в тайных заповедниках своей плодовитой на предложения головы, чтобы сказать такое, что произвело бы эффект. И, верно, то, что он сказал, и затем то, что развилось из его слов во время горячих прений, превзошло даже самые невероятные ожидания.

— А ну-те, — живо повернулся к нему председатель, заранее радуясь тому, что скажет Ряшков.

— Поездка на кладбище, пельмени, вечер, все это хорошо, ничего нельзя сказать против. Но все это полумеры, или меры, так сказать, временного характера. Что я предложил бы теперь, это, это... составить, приготовить списки.

— Х-м! — заметил неопределенно председатель, еще не зная, что ждать от Ряшкова.

— На какой же предмет эти списки? Для меня это не ясно.

— Переписать всех отбывших, так сказать, в тот мир, иными словами, всех усопших, царство им небесное!

Председатель Пушкирев наклонил голову, приняв умильное выражение, и торопливо перекрестился.

— Да, но на какой предмет, позвольте спро-

сить, эти самые списки! Я не вижу никакой необходимости, да и нет никакой цели!

Ряшков посмотрел задумчиво на Ферапонтова, посмотрел на председателя, перевел глаза, ставшие вдруг ясно-прозрачными, на остальных членов правления и задержался на секретаре, который был уже готов сорваться с места. Казалось, что он ничего не отважил бы, если бы Ферапонтов не спросил о цели. Ряшков еще раз внимательно посмотрел на него, свернулся, как обычно верхнюю губу, и сказал с глубокой проникновенностью: «а вот представь себе, что есть цель!» Затем совершенно неожиданно даже для самого себя, совсем не заглядывая в портсигар, выпалил:

— Заготовить списки всех, так сказать, отбывших к праотцам для своевременного отправления их на родину на предмет вечного их там успокоения!

— Ну, как же это замечательно! — воскликнул восторженно председатель, осеняя себя крестом и с любовью глядя на Ряшкова. — Какая мысль, какой размах!

— Настолько оригинальная и эффектная мысль, что захватит любого скептика!

После невольных восклицаний наступила сосредоточенная тишина, пока каждый собирался с мыслями, что сказать и как отозваться на ряшковское предложение. Пока они думали, поглядывая то на председателя, то друг на друга, а то просто глубокомысленно на потолок, не в состоянии собраться с мыслями от неожиданности, Ряшков, почувствовав, что у него вдруг пересохло горло, уже стоял у стойки Коли Усова, и с глазами полными слез

от густо намазанного горчицей пыжика, говорил о войне, о 1916 году, «был у нас в полку герой, голубой глаз...»

— С Ряшковым постоянно так, — волновался секретарь, — сделает толковое предложение и сейчас же исчезнет. Кто же будет разбирать его предложение дальше!

— Вопрос, как я понял, — поднялся Ферапонтов, — сводится к тому, чтобы всех отошедших и преданных, так сказать, земле, с течением времени собрать и переотправить на родину. Так кажется, а?

— Именно так! — заволновался председатель, приподнимаясь и с еще большей любовью и умилением оглядывая всех, — этого я и ждал, не зная еще как выяснится вопрос. Именно так, а не иначе, точно, как высказался Ряшков только что: переотправить останки на вечное, так сказать, пребывание на одно из крепостных кладбищ!

— И чтобы там давали им вечный салют...

— Именно — вечный!

— А позвольте спросить, это что же, всем давать вечный салют? Всех везти на одно крепостное кладбище, военные чины, гражданские чины, особ обоего пола, малолетних и просто по сословному положению чинов не имеющих? Их что же, везти всех на одно место? Военных и штатских званьем неизвестных и вообще всякое кобло?

Все замолчали, вопросительно поглядывая то друг на друга, то на председателя, у которого лицо приняло виноватое и даже испуганное выражение. Вопрос неожиданно принял острую форму.

— Во-во! — воскликнул злорадно Молибога.  
— Вот так не подумавши, и повезли бы всех скопом.

— Компот получится, — подтвердил и Холодец, поднося руку ко рту. — Ежели военных и кобло все вместе.

— А в общем то какая разница, кого куда везти. Там все безразлично!

— Ну, нет, просгите, где это там вы мне скажите! Это вашему брату, скептикам да пессимистам безразлично, а тём кто смотрит иначе, тем, извините, совсем не безразлично!

Заговорили все сразу, в один голос, каждый стараясь перекричать другого. Могиленко несколько раз поворачивал голову вместе с шеей, оглядываясь опасливо, словно боясь, что кто то невидимый, воспользовавшись всеобщим замешательством, расправится с ним. Псицин строго хлопал веками и несколько раз брался за чекольчик щеточки, но каждый раз прятал его спать в карман. Председатель то поднимал предостерегающе руку, чтобы остановить шум, то начинал пытаться внимательно прислушиваться к кому нибудь, моментально соглашаясь с ним и тотчас же забывая о поднятой руке.

Но сколько он не прислушивался, ничего стоящего не мог услышать. Одни голоса заявляли, что везти всех вместе нельзя, но не входили в подробности, почему нельзя и что можно было бы сделать для разрешения сложного вопроса. На том, что нельзя, сходились многие, но дальше таких доводов, что «не было еще такого случая», «просмеют в столице», а то просто «компот получится» не

шли. Другие же, как, например, Райковский, указывал только на то, что он скептик по рождению, поэтому не видит никакой разницы постольку это — останки, и есть ли смысл волноваться из за них. Как это ни было странно, секретарь не спорил этого мнения, не срывался, не вопил, так как его целиком занимала одна мысль, что кто то обязательно сорвет вопрос о родных могилках. Наконец он не выдержал, чтобы не поделиться с председателем своими опасениями. На вопрос, кто же сорвег при таком единодушном интересе, секретарь поглядывал на Грозу и кивал выразительно в его сторону головой.

В это время наверх поднялся Ряшков, спешно дожевывая и хрустя на крепких челюстях хрящем. Он провел рукой по мокрым губам, прислушиваясь то к одним, то к другим.

— Вот, Ряшков, что ты тут нам закрутил своим предложением! В такой тупик поставил, что не выбраться. Согласны то все, но расходятся во мнениях. Такое впечатление, что нет выхода.

— А вот представьте себе, что есть! — ответил Ряшков, сразу оживившись. Казалось, что он был в курсе дела, хотя только что вошел в зал собрания.

— А, ну-те! Господа, внимание. Позвольте мне напомнить о предложении: было предложено Ряшковым всех, так сказать, усопших, царство им небесное, собрать своевременно и перевезти на одно кладбище. А некоторые возражают, что везти всем скопом нельзя. Как же быть?

— А вот как, — спокойно ответил Ряшков,—

взять и поделить, — словно разговор шел о том, как поделить графин водки среди собутыльников.

— То есть, как это поделить?

— А вот как, — повторил Ряшков, время от времени похрустывая зубами, словно на них еще был хрящ, крепко приправленный горчицей. — Распределить по разным кладбищам по признакам их, так сказать, сословного и служебного положения. Иными словами, военных на одно, гражданских на другое. Проще пареной репы!

— Проще то проще, — заволновался секретарь, — но сдается мне, что прежде чем проголосуем, кто нибудь возьмет и сорвет это дело!

— Х-м! — протянул нерешительно председатель не зная, сразу ли согласиться или подождать, что скажут другие. — Везти на разные кладбища! А, ведь, действительно...

Все опять замолчали и задумались, сперва о том, что Ряшков всегда готов с ответом, заглядывает он в портсигар или нет; а затем о том, что и на том свете не оставят бедную душу человека в покое, а будут решать ее судьбу по сословному и служебному положению; что душе этой опять придется упираться в рогатки, иметь при себе паспорта и визы, и что прежде чем двинуть бренные останки человека, ему или его душе придется долгое время быть на очереди и терпеливо ждать, пока кто то будет проверять его прошлое. Думали они и о том, что будут неизбежные случаи путаницы, и что в дороге одного направят по одному адресу, а другого по другому, и так все окажется запутанным, что лучше бы и не

браться за такое сложное предприятие. Думали они об этом на самом деле или нет, трудно сказать, не заглянешь в тайные глубины мысли русского человека, особенно, когда он глубокомысленно заседает на общественном собрании в безграничных пределах российского рассеяния по всем материкам!

Пока они думали на подвижном лице Молибоги набралось столько складок, что можно было ждать, что он заговорит.

— А куда же решили везти то гражданское население?

— Да, действительно, — забеспокоился председатель. — Военно-служащих на крепостное. А куда же гражданских чинов и прочих? А, ну-те, отец Павел, может быть вы посоветуете нам в таком трудном вопросе?

Отец Павел, волосатый как британский лев, провел задумчиво рукой по бороде, пожевал губами, посмотрел скорбно на председателя.

— Гражданских чинов, особ женского пола юношей допризывного возраста, детей и невинных младенцев везти на знакомое мне Успенское кладбище на вечное их там упокойение. И храм кладбищенский благолепный, и дьякон знакомый читает велеречиво, благодать и растворение воздухов, а местность что рай земной!

Опять все замолчали от слов ли отца Павла или от своих мыслей, что будет ли тем, кого повезут по званию и чину на крепостное кладбище, так же хорошо, как на Успенском. Человек всегда недоволен, ничем ему не угодишь, с этим чувством рождается он, с ним живет, с ним и умирает. Везти — одно дело, а разбирать

претензии — другое! Неизвестно, что на том свете, но известно, что в таком трудном деле от живых родственников натерпишься столько, что даже невольно задумаешься, а стоит ли на самом деле браться за такое неблагодарное занятие! С другой же стороны простые слова отца Павла о храме и велеречивом дьяконе звучали тепло и невольно настраивали на умилльный лад.

— Господа, — заговорил после глубокого раздумья председатель, — мы только что заслушали прекрасное предложение, хорошо продуманное и вполне законченное о родных, так сказать, могилках. Мы также выслушали добрый совет отца Павла насчет Успенского кладбища. Предлагаю закрыть прения и приступить к голосованию по существу поставленного вопроса.

— Ой, боюсь, сорвут нам это дело, — забеспокоился опять секретарь, но ему так и не удалось доказать своей мысли, так как неожиданно поднялся Ерофей Исаич Гроза, махнул платком, прежде чем поднести его к глазам. Секретарь неспроста беспокоился за выход дела.

— Везти, которые усопшие, одних по одному месту назначения, других по другому, — Гроза остановился, набрал воздуха, и голосом, о котором говорили, что он был на две октавы ниже его роста, закончил: — тариф не позволяет!

## СОН В ВЕСЕННЮЮ НОЧЬ

Секретарю всегда снились те же самые сны: шло одно, непрекращающееся собрание, которое он спешно записывал в протокол, успевая время от времени срываться с места, чтобы высказаться самому.

Но на этот раз снился ему необыкновенный сон, оставивший на нем надолго неизгладимое впечатление. Снилась невероятная мешаница из всего того, что произошло за последние дни. Нужно было внести в протокол новые постановления и пожелания, кто то громко настаивал, чтобы были вписаны поправки, на что другой голос возражал, что если они уже были вписаны, их нельзя изменить. «Это вы о том, что закон не имеет обратной силы», заметил внушительно один, «но совсем не о протоколах». От этих слов секретарь готов был сорваться с места и завопить, «что нужно же так опуститься», но в это время вошел неизвестный человек с выкаченными голубыми глазами и поразительно-подкупающим голосом сказал: «вы еще не знаете, что ждет вас!»

Потом через мгновение все очутились в другом месте, где приторговывали большой четырехэтажный дом, но как то все не kleились, то ли Корявко не успел прийти во время, то ли его жена, а то и своячница запоздали, но все никак не могли сговориться, да и быстрый на истории фон Мюллер не к месту упомянул о мошеннической продаже индусского дворца одним из международных аферистов. Затем кто то другой вспомнил о другом случае и глубокомысленно заметил: «похоже на то, что и здесь перезаложено в пяти местах под те же самые бревна!» После этого все исчезло и осталось только два человека, отец Павел и Холодец, оба озабоченные и расстроенные. Была ранняя Пасха и они обезжали с визитами, но у каждого дома повторялось одно и то же.

Подъезжая к дому, Холодец зорко приглядывался, чтобы не пропустить ни одного подозрительного движения, и каждый раз срывался: «смотрите, отец Павел, вон бежит прохвост, пригибается за забором, вон упал за грядками!» «Где бежит?» — спрашивал отец Павел, пытаясь разглядеть получше, — где бежит?» «Вон там, только макушка головы видна, да сейчас уйдет в кусты, а там не поймать! Забежать бы вперед, да с того забора понужнуть!» «Почему же никого нет?» — слышит секретарь свой исступленный голос, — «неужели никого не осталось, чтобы понужнуть с того забора? Где Ряшков, где Могиленко?» Пока он кричал, Холодец, сам пригибаясь, бежал вперед. «Забегайте сбоку, отец Павел!» — вопил он, — «там еще двое бегут! Ах,

Господи ты Боже мой, сейчас уйдет! Вот понужнуть бы бекасинником с двухстволки!»

К этому времени собралась толпа, люди вытягивали шеи, поднимались на носки, чтобы видеть, что происходит. Те же, кто пришел позже, или не могли видеть, стоя в задних рядах, требовали, чтобы передние рассказали, что происходит. «Охота за зайцами?» «Какое» — отвечал покойно Ряшков; странно было то, что он один из всех не принимал в этом никакого участия, — «какое», повторял он, — «просто отец Павел объезжает с пасхальными визитами». «А почему же он кричит, перебегайте наперерез?» «А надо перехватить убегающих», продолжал пояснять Ряшков, не волнуясь, не переживая сцены, что было настолько странно, что секретарь подумал, «еге, тут что то того, Ряшков что то закручивает, надо за ним присмотреть!» А Ряшков пояснял дальше: «Надо перехватить, а то уйдут! Видите, бегут вдоль забора? Теперь такая мода, как завидят отца духовного с крестом, сейчас же в кусты! Только и можно кого захлопать, как сонного зайца, ежели он на ноги slab или с отышкой, а то глаза не зорки, чтобы разглядеть издалека, что подъезжают». «А подъезжают?» «Каждый год об эту пору», — твердо ответил Ряшков. «Да, ну?» — отзывался голос из задних рядов, похожий на голос Молибога. «Интересно, очень интересно», — заметил другой медленно и задумчиво. «Каждый раз так, словно охота за зайцами?» «Какое», — ответил Ряшков, — «это только начало, бывает и похуже!» «Теперь для меня все ясно», — сказал, расталкивая толпу и пробираясь вперед, Ферапонтов.

«Все ясно. Надо принять немедленно меры. У меня уже готов план. Самые радикальные перемены. Сменить немедленно состав правления, Пушкия долой, казначея долой, секретаря просто по шапке. Новые списки уже намечены: я, Ерофей Исаич Гроза, Елизавета Воробей...»

Секретарь хотел сорваться с места и завопить, но в это время Райковский наклонил голову и театральным шепотом провозгласил: «По моему Ферапонтов подкапывается под всех. Мне это, как скептику, сразу видно!» И опять секретарь заметил про себя: «еге, тут на самом деле что то того, кажется и за Ферапонтовым придется приглядывать!» А Ферапонтов нес дальше: «Перво-на-перво, в новое правление избрать меня, Исаича, Воробья... Второе, пересмотр всего: митину обитель — по шапке, русскую деревню с кустарнями — тоже по шапке, родные могилки — туда же. Полное переустройство на новых началах небывалого еще размера...» «Главное, чтобы поставки были», — прохрипел Корявко, делая ударение на «по». «Устройство своего угла, это поважнее поставок, чтобы не страдать народу каждую весну, и чтобы все было ясно, как на ладони... Никаких кустов и грядок!» «Ах, вот он к чему клонит --- интересно, и очень даже интересно!» — думал секретарь, и ему в тон другой голос сказал, еще более раздельно и медленно: «интересно»; в это время вновь показался тот же незнакомый человек с голубыми глазами и рыжими ресницами, который добавил: «вы не знаете, что еще ждет вас! Поверьте слову опытного человека!»

«Значит отцу Павлу будет сподручнее, если не будет кустов и грядок! Это надо приветствовать!» — думал секретарь, пока Ферапонтов продолжал: «Третье — подчинить все остальное этим плачам, решительно все...» Секретарь заметил, что Райковский, приседая и пригибаясь, опять приблизил к нему голову, но он сам сорвался с места и стал пристально смотреть на Ферапонтова, пока у него накипало в груди. Когда накипело достаточно, он засверкал яростно очками: «Ну, это вы того, так хватили через край, чтобы все остальное подчинить вашим планам! Вы еще сказали недавно, что родные могилки — по шапке, туда, дескать...» «Я сказал?» — изумился Ферапонтов. «Надо же так опуститься, чтобы такие слова о родных могилах...» «Нет, я сказал?» — настаивал Ферапонтов, — «я ничего подобного не говорил!» «А представь себе, что говорил, я это явно слышал!» — сказал веско Ряшков, свернув выразительно губу. «Разве сказал? Ну, если так, то...» начал примирительно Ферапонтов. «Да, но как же с могилками?» — добивался секретарь. «А никак!» — ответил Ферапонтов, приходя в обычный тон и проводя энергично рукой по голове. «Никак, и никаких гвоздей!» «Никак?» — переспросил секретарь, — «ну, это вы опять так махнули, что даже сказать трудно!» «А никак!», — повторил Ферапонтов, — «просто никак!» — никогда он не глядел еще такими ясными глазами, что даже Ряшков мог позавидовать. «Никак, а?» — злорадствовал секретарь, — «vas даже постановление в протоколе не перед чем не остановит!» «Извините, нет, вы уж меня

извините, и очень даже остановит, я и говорю, . никак, именно потому, что так в протоколе внесено! Вы же сами писали своей собственной рукой: поделить. Писали, да?» «Ну, писал». «Значит, никак!» «Ничего не понимаю, решительно ничего», — потряс головой секретарь. — «Надоумьте кто нибудь, в чем здесь дело». «А вот в чем», — заметил ровным голосом Ряшков, не волнуясь, не забегая вперед, но его перебил Ферапонтов: «А между прочим, что протокол?» «Ну, вы это бросьте», — не на шутку рассердился секретарь, «такие слова — а что протокол!» А другой голос веско сказал: «Не скажите, не скажите! Некоторые протоколы у нас еще почище будут протоколов сионских мудрецов!» «Подождите», — опять вступил Ряшков, не заглядывая в портсигар и говоря таким тоном, что словно это был не он, а кто то совершенно другой. — «Это к тому речь, что ежели взять несуществующую вещь и поделить ее пополам, все равно останется несуществующая вещь, даже пусть их две, а какая им цена — нуль, извините меня велико-душно за выражение!».

«Но как же дальше?» — продолжал допытываться взъявленный секретарь, — «ведь постановили везти на два кладбища, еще отец Павел, спасибо ему сердечное, указал, научил, куда везти!» — Он повернулся, чтобы найти отца Павла, но ни его, ни Холодца уже не было. «Можно и без свидетелей...» «А их и не надо, у вас же самого в протоколе вписано, об этом и спорить нечего, повезут за милую душу на два кладбища».

«Ой, настрадаетесь вы от этого, ой, как на-

страдаетесь!» — вздохнул надсаженно чей то голос в толпе, и по красному платку, поднесенному к глазам, секретарь решил, что это был Гроза, но оказался стоящий за ним, как всегда пессимистически настроенный, казначей. Он сказал это так глубоко и проникновенно, что даже Ферапонтов потерял свой самоуверенный тон и заметно изменился в лице. Два человека, притаившись за грядками, встали с сконфуженными лицами, считая, что эти слова относились к ним. «Почему же настрадаемся?» — участливо спросил секретарь, поддаваясь невольно трагическому тону его голоса.

И опять заговорил Ряшков тоном, от которого не только секретарь, но и все другие пришли в изумление, так он не шел к нему. «Это он к тому ведет, что при двух кладбищах неизменно разлучение крепко-любящих сердец. К примеру, отца семейства, старого полка — на военно-крепостное, супругу его единоутробную — на Успенское; старшего сына чинодрала — на Успенское, младшего вольнопера, на военно-крепостное, студента Бову — на Успенское, двоюродную сестру Клеопатру из Багалльона Смерти — на военно-крепостное, и так до седьмого колена!» «И не в этом еще дело», — твердым голосом сказал Гроза, — «а в том, что тариф не позволяет!»

Как ни был расстроен председатель Пушкирев из за провала ряшковского предложения о родных могилках, все же он не мог попуститься делами Общества. При первом же

удобном случае он собрал несколько наиболее близких себе из правления, в том числе и Ряшкова.

— Вот в чем дело, господа, — обратился он к ним с понятным волнением, — надо пересмотреть, что у нас делается, о чем мы знаем и, еще важнее, о чем мы не знаем. Предлагаю без всяких обиняков, а на прямик, по военному, пораспросить Ряшкова, может быть у него найдется кое что, чем он мог бы поделиться с нами.

— Чем же я могу поделиться с вами? — удивился Ряшков, хотя удивляться надо было бы другим, а не ему, что у него ничего не было, о чем порассказать.

— А об этом приезжем из Главного Центра, — сказал Пушкирев, касаясь колена Ряшкова и заглядывая выжидательно и хитро ему в глаза.  
— Ты мне о нем кое что успел порассказать. Порасскажешь своему председателю и избранным членам правления и сейчас. Вот о нем самом.

— О, о нем? — спросил Ряшков, словно его только что осенила мысль, о ком нужно было порассказать. — Приехал человек, случайно встретились, сразу вспомнили друг друга, обрадовались, как родные, раньше жили вместе на одной квартире, вместе воевали, чего только не делили вместе... И вот, после многих лет, встретились опять... Ряшков, да Ряшков — сразу узнал меня! Если бы не он, я сам никогда бы...

— Подожди, подожди, оставь пока прошлое в покое, где жили и что, а скажи ка лучше нам, кто он, откуда, зачем прибыл сюда, с какими

заданиями и целями и т. д. Я тебя уже спрашивал кое о чем и ты сказал мне, а теперь я хочу, чтобы ты повторил сказанное при нашем, так сказать, внутреннем кабинете.

— Приехал, как я уже сказал председателю, из мировой столицы, из Главного Центра. Но об этом я только догадываюсь и вам говорю доверительно. Сам он мне ничего об этом не говорил, да поди и не скажет даже как близкому другу. Не говорил и чем занимается, а я, понятно, не расспрашивал. Это частное дело каждого, а Ряшков не такой человек, чтобы совать нос в чужие дела и трепать зря языком. Все, что могу сказать, то скажу: он в объезде по Зарубежью с какой то важной миссией.

— Миссией? — насторожился Пушкирев.

— С какой миссией, не знаю. Но намекнул, что такая важная, что от нее зависит столько, что и сказать нельзя.

Невольно задумались над словами Ряшкова: почему так много, что даже сказать нельзя! Неужели стал терять свою живительную силу ряшковский изобретательный мозг? Если ему нечего сказать, отчего же не вытащить волшебный портсигар и не заглянуть в него — до сих пор еще не было случая, чтобы в нем не имелось ответа на самый невероятный вопрос.

— Если научное исследование, то хорошо бы такого нам в литературно-научную секцию. Как вы полагаете, Елизавета Андреевна? — спросил глубокомысленно Ферапонтов

— Пойдет он в вашу секцию, держите картман шире! Он сам такую секцию откроет, что многим туда показаться будет неловко.

— Почему же это неловко? — обиделась председательница Воробей, — у нас ведь не все биллиардщики и картежники, есть кое кто, интересующиеся научной работой и всегда готовые провернуть культурное дело. Почему же нам неловко с нашей научно-литературной секцией, это я никак не пойму.

— Я не об этом хотел сказать, — поправился Ряшков, — а о том, что если он хотел бы остаться, наверное устроил бы какое нибудь общество. Но ему, как я понял из его слов, не до этого, тем более, что проездом...

— Х-м! — заметил задумчиво Пушкирев.  
— Проездом, а? А ты вот что скажи мне, Ряшков: проездом по делам Главного Центра, так? И нами интересуется?

— Да еще как интересуется! — живо отозвался Ряшков, перемещаясь на стуле, довольный тем впечатлением, которое было создано его словами.

— И обо мне спрашивал? Какой, мол, у вас председатель, толково ли ведет заседания, какого чина и положения, сколько лет выслушали. Вот об этом, скажи, спрашивал?

— Да еще как спрашивал!

— Да что ты, Ряшков, на самом деле, — заволновался председатель, тоже перемещаясь на стуле, — словно рыба, набрал в рот воды и бьешься об лед. Тебя даже трудно узнать, ты это, или тебя успели подменить! Так это важно, а от тебя ни слова.

— А не может ли быть так, что он захочет войти в наше Общество, покрутиться маленько, а потом взять и выставить свою кандидатуру в председатели? Тогда что?

— А ничего, — повернулся в сторону Ферапонтова Ряшков, — не какая нибудь он дрянь, чтобы покрутиться маленько, а потом взять и выставить кандидатуру. Что, что, а этим он менее всего интересуется.

— А чем же он интересуется? --- спросил, весь поддавшись вперед, председатель, — кроме того, что расспрашивал обо мне?

— О чине спрашивал, а? — глубокомысленно заметил Псицин, проводя щеточкой по усам и скавивая на них глаза. — Что то кроется позади этого, но что — никак не пойму!

— Как же председателю без чина? -- заволновался секретарь, вскакивая и опять садясь. -- Не так еще мы опустились, чтобы выбирать председателя без чина!

— А ты, Ряшков, поди рассказал, что у меня производство местное, до сих пор еще без утверждения высших инстанций! Поди рассказал, а? Солиднее было бы, если бы ты не упоминал об этом, а просто отрекомендовал: председатель Общества, генерал Пушкирев. И точка. А ты, поди, эх. . . !

— Такому и упоминать нечего, он сам, поди, обо всем знает не хуже других, если не лучше! Я лично нисколько не удивлюсь, если все производства и утверждения таковых проходят в Главном Управлении через его стол, через его, так сказать, руки!

— Да? — заволновался председатель, но теперь по совершенно другой причине. — Через его стол? И ты говоришь, что он помнит о моем случае?

— Даже очень хорошо помнит! Как же, говорит, как же, отлично знаком с его бумагами! Я и не напоминал ему, сам начал об этом гово-

рить, даже еще сказал, что, к сожалению, бывают такие случаи, что задерживают...

— Х-м, — недоверчиво протянул Пушкарев, не зная, на какое плечо положить голову и как посмотреть на Ряшкова, чтобы распознать, говорит ли он правду или нет. — Конечно, жалко, что задерживают... Так важно, а где то канцелярская волокита! — Он вздохнул и покачал головой, печально посмотрев на других. — А не спроста это, господа! Приезжает такой человек из Центра, держится в стороне, что то там исследует, ко всему приглядывается... Мало того, еще интересуется: «а кто у вас председатель?» И не только спрашивает, но оказывается уже знает о нем. Это что же, для отвода глаз?

— Для меня это тоже как то неясно! — заметил задумчиво и Ферапонтов. — А не может ли быть так, что прошел слух о наших планах, вот и заинтересовались в Центре, спешино выслали человека для ознакомления!

— Это что же — о митиной обители или деревне с журавлем, да с верстовыми столбами? Или о родных могилках? Мне, как скептику, сомнительно, чтобы там могли серьезно заинтересоваться такими планами... Тем более, что последний то план Гроза провалил.

— Да, странно, показался неожиданно, сам навел собрание на него, а когда стали разрабатывать, взял и провалил по тарифу. А кому не знать, как ни ему, тридцать лет весовщиком на сквозном грузе!

— А до других планов доберется кто нибудь другой, чтобы провалить, — продолжал Райковский. — Не знаю, как вам, но мне, с моим скептическим подходом ко всему, видно, что

все это мелко! Поверьте моему слову, столичный Центр пройдет мимо, даже не заметит ничего. Мелко, другим словом не определишь.

— Мелко? — забеспокоился Ферапонтов. — Это о деревне, отечественном искусстве, кустарях и предметах искусства — это, вы скажете, мелко! Не знаю, хоть отказывайся работать на общественном поприще! Это, господа, мелко! Что же после этого крупно или достойно! Если так срывать общественную работу, так лучше совсем не начинать ее!

— Боже сохрани! — заспешил председатель, — что вы говорите! Да как можно — перестать работать на общественном поприще!

— А может быть так, — начал нерешительно казначей, — что в центре есть свой крупный план и они просто хотят включить нас в него.

— А вполне возможно, даже совершенно возможно, — сразу же согласился председатель, упокоившись и опять принимая вид ласкового и внимательного человека. — Совершенно верно, иными словами, не они могут быть заинтересованными нашими планами, а хотят нас, как испытанных работников, втянуть в свой. А разве это плохо? Значит, знают о нас. Тогда мне понятно, почему этот приезжий интересовался председателем. Какой правитель, такой и народ, какой председатель, такое и общество!

Все задумались над словами председателя. Много справедливости в его словах, а с другой стороны, вдруг выбрали бы в председатели Грозу или Могиленко, а то Молибогу, как тогда? — так же какой председатель, такое и общество!?

— У нас в казачестве, — начал Холодец, поднося руку ко рту, чтобы сперва хорошо откашляться, — у нас в казачестве, говорю, слушок есть, что всех хотят распределить по станицам. Может быть уже сговорились с Центром... Распределить, значит, по станицам, а которые не казаки, то приписать насильно.

— И женщин? — спросила председательница Воробей.

— А что же наши казачки без их брата будут делать? — осклабился Холодец, проводя рукой по рыжим усам. — Понятно, и женщин!

— Если отнестись к этому скептически, — сказал глубокомысленно Райковский, — сколько же казачества осталось в Зарубежье? Сказывают, что только всего и осталось, что казак донской, казак морской, да портрет Тараса Бульбы! С таким количеством не очень то распишешься по станицам!

— Не в станицах дело, — сказал озадаченно председатель, — а в другом! А в чем — хоть убейте, не могу догадаться! Не знаю, положительно ничего не знаю, потому ничего и не скажу... Можно было бы ожидать от вашего председателя более точной формулировки вопроса, но откровенно говорю, — он остановился, задумавшись, развести ли ему руками или только переложить голову с плеча на плечо, — не знаю, о чем думать, не знаю и что сказать. — Он обвел всех глазами, ставшими вдруг растерянными и печальными, и крепко задумался, качая головой. Затем оправился и даже повеселел: — одно могу сказать, но не о приезжем, а о Ряшкове! Вот говорят часто, чего он там треплется! А я так скажу: и слава

Богу, что Ряшкова нелегкая гоняет повсюду, по крайней мере, людей встречает. Да еще каких — ведь подумать, из столицы, из самого Главного Центра! Вот когда нам Бог даст свидеться с ним, мы, благодаря Ряшкову, будем знать, как встретить его, как обойтись, чтобы не ударить лицом в грязь!

Ряшков опустил голову и потупил глаза, что он делал всегда, когда в разговоре касались его с выгодной стороны.

Внизу, в ресторане Коли Усова, к особом углу, прозванном «детской» или «заповедной пущей», где не только по смыслу, а по заведенному обычаю паслись зарубежные зубры, сидела своя компания. Потом пришел Ряшков, занятый и озабоченный как всегда, на ходу стаскивая верблюжье пальто и бросая его в угол; не успел он присесть за стол, как тотчас же встал и кинулся в кухню проведать, не осталось ли суповой кости с мозгом, если до нее еще не успел добраться Корявко. По пути в « детскую» он прихватил со стойки графин и на ходу так оживленно шевелил пальцами в воздухе, словно только что открыл, что ими можно делать такие проворные движения. За столом выпивали, закусывали, говорили обо всем, что приходило в головы. Ряшков рассказал, где он успел побывать за день и кого видел; поговорили о Ерофее Исаиче Грозе, что хорошо устроился человек, можно было бы и не кооптировать, сам добрался бы до всего даже скорее. А и верно так, не успел показаться, как попал в правление, стал своим человеком

в хозяйственной части, сразу сделался гладким и глаза перестали слезиться. Все это хорошо, и гладкость и сухие глаза, но когда нужно что нибудь сделать, то Гроза выслушивал, жевал губами и твердо отвечал, что он еще не пал так низко, чтобы работать в русский Великий Пост. Поговорили о Коле Усове, поговорили исключительно ради контраста, что все кругом хорошо, светло, тепло, за окнами весна, бала-лаечники бренчат бойко «Что мне горе», Зося и Катя каблучками стучат, отбивают кассой, деньги приносят, а у него все оттопыренные губы и обиженный вид. Нашли, что у него не только оттопырены губы, но и уши, что значительно помогало ему прислушиваться ко всему, что говорилось не только у его стойки, но даже и в «детской». Ряшков при этом вспомнил аналогичный случай, не удержавшись, чтобы не прилгнуть, что один знаменитый хирург хотел ради опыта выпрямить такие же губы и сделал операцию. Губы то он выпрямил, но так изменил их форму, что хозяин от одного их вида зачах положительно на глазах у всех, а вскоре и совсем отдал Богу душу. Поэтому, нравоучительно заключил Ряшков, пусть у Коли Усова будут такие обиженные губы, да и уши — Бог с ними, чтобы только не потерять хорошего буфетчика. Кто то добавил, что если Коли Усова будут такие обиженные губы, да и то это совсем не от любопытства, а исключительно от того, что у него такие уши. Ряшкову хотелось еще поговорить о многих странных явлениях, с которыми ему пришлось столкнуться в своей большой жизни, но все перешли наверх, чтобы в удобных креслах гостиной передохнуть после обеда перед будущим заня-

тием: кому заседать, кому играть на биллиарде, кому уединиться в «малой шуллерской».

В приятном отдыхе продолжали беседовать о необыкновенных явлениях в жизни, при чем у каждого оказался большой запас из собственного опыта и из опыта других. Одни говорили, что в жизни все зависит от предчувствий, что если бы их не было, то нельзя было бы жить покойно. Другие, наоборот, считали, что от предчувствий только одно беспокойство и лучше жить, не сталкиваясь с ними. Один из этой группы привел пример, заставивший призадуматься даже некоторых из другой группы, что лучше идти на неприятельскую проволоку с твердым убеждением, что никаких предчувствий нет, и тогда совершенно покойно пасть сраженным вражеской пулей. Над этим не могли не призадуматься, особенно над выводом, что все равно, предчувствие или не предчувствие, а в конце концов теряешь, с каких бы козырей в жизни не ходил. Председатель Пушкирев, вначале считавший, что без предчувствий не прожить, в особенности русскому, просто хотя бы потому, что у него вся жизнь одно предчувствие относительно того, что еще должно прийти, не мог после этого примера не согласиться, что гораздо лучше и покойнее пасть от пули без всяких предчувствий. Другие соглашались, что гибнуть на неприятельской проволоке легче без предчувствий, но крепко стояли на том, что без них не проживешь, особенно в торговом деле. Кто то добавил, что не проживешь без них и в любом рискованном предприятии, даже при крупной игре в карты. Упоминание о торговых делах навело Головкова, представителя старинного

купечества, на воспоминание об отце и деде, которые, по предчувствию, в важных моментах жизни искали советов у блаженных и юродивых, и он рассказал о случае, который запомнился не только ему, но и другим на всю жизнь. Когда у его отца покачнулись торговые дела, он обратился за советом к известной в их городе юродивой Глаше-скороговорице, кото-рая, не выслушав до конца, сразу же заверещала: «гори, гори ясно, чтобы не погасло», после чего сам по себе сгорел до тла солидно застрахованный дом. Слушатели нашли, что подобный деловой подход не лишен оригинальности и что как часто бывает нужен во-время добрый совет. Дальше оказалось, что подобный случай произошел и с дедом Головкова, с той только разницей, что вместо Глаши-скорогово-рицы была известная во всем уезде юродивая Мятелица. На вопрос Корявко, сказала ли она «гори, гори ясно», Головков, довольный эф-фектом рассказа, ответил, что не помнит, что именно было сказано, но по всем вероятиям то же самое, так как и дедовский дом сгорел до тла. Выслушав рассказ Головкова и задумавшись над ним, все враз заговорили, что по-добные случаи бывают в роду, переходя на-следственным образом от деда к отцу, от отца к сыну, и что о многих подобных случаях много известно современной науке. С этим живо согласился и сам рассказчик, упомянув, что и с ним должен был бы произойти такой же случай, когда пошатнулись его дела, но, к несчастью, его до этого не допустили.

— Кто же не допустил? — спросил сердо-бельно председатель, кладя голову то на одно плечо, то на другое.

— Шансонетки, — ответил расстроенно Головков. — Еще до пожара успели забрать все, что можно было.

— Почему во время не перевели имущество на жену или свояченицу? — спросил Корявко, внимательно прислушивавшийся к рассказу.

— Говорю, шансонетки не допустили.

Рассказ незадачливого Головкова произвел на всех глубокое впечатление, и тотчас же образовалась особая группа, занявшаяся воспоминаниями о том, что иногда такие случайные явления, как приезд шантана в родной город, могли в корне изменить жизнь солидных, положительных людей. Председатель Пушкирев прислушивался к ним внимательно и соглашался с тем, что на свете все возможно и что никак не угадаешь, на чем можно если не сгубить, то надломить жизнь. Он послушал бы еще, но в это время в другой группе перешли к разговорам о снах, и он направился туда, сразу же соглашаясь, что сны у русского человека не похожи на сны других народов, так как у него особенные мысли, которые занимают его днем. Кто знает, что происходит в голове человека во сне, в особенности русского в Зарубежье, с его впечатлительностью, сбостренной двумя, такими противоположными жизнями: одна днем, на работе, на службе, в непривычной, несмотря на десятки лет, обстановке, в чужом иностранном быту, с языком, часто неусвоенным; другая вечером, в родном, теплом быту, в привычной обстановке общественного собрания, в твердом сознании нужной, полезной работы.

О том, какова сила русской впечатлительности

сти, хотела рассказать председательница Воробей, припомнив, что ей снилось накануне. Но в самом начале оказалось, что она никак не могла припомнить, в чем была суть сна, зная только, что он был необычен. К ней пришли на помощь все, давая советы, как удержать ускользающий из памяти сон, с чего начать припоминать, а то и восстановить в памяти все, что произошло накануне. Но и это не помогло, и тогда кто-то спросил ее, на каком случае был основан сон. Об этом она помнила, он истекал из прочитанной в календарном листке истории о ребенке в Южной Америке, которого, свернувшись в кольцо, сторожил большой змей, не сводя с него глаз, чтобы тот не заполз куда нибудь. — А змей большой, — сказала председательница Воробей, страшась своих слов, — не змей, а гад-конструктор.

— Не гад, а бова-конструктор, — поправил Псицин, — не делайте ошибок в родной речи!

— В общем то странно...

— А что здесь странного? — спросил Ферапонтов.

— А то, что этот конструктор не трогает ребенка, должен бы, как хороший удав, сглотнуть его, а он его ни пальцем. Вот и во сне...

— А ребенок какой, позвольте спросить, большой или малый?

— Ну, какой, если только ползает!

— Месяцев шести, самое большое годовалый. Какой же смысл этому бове-конструктору глотать маленького, когда можно подождать. Подрастет, увидите, что получится!

— Да, ну? — ужаснулся Молибога.

Пушкарев оглянулся, нет ли вблизи Ряпико-

ва, который мог бы порассказать о других подобных случаях, но его не было в комнате. Он собирался спросить, где Ряшков, но в эту минуту в гостиную ворвался необычайно озабоченный секретарь, сам в поисках Ряшкова, чтобы убедиться, такой ли он на яву, каким был в его сне. Но того не было в биллиардной, ни в карточной, ни в гостиной. Тогда секретарь, не в состоянии сдерживать себя дальше, побежал к Пушкиреву и торопясь, перебивая сам себя и скака с места на место, сказал, что хотя он сам и вписал в протокол, а председатель подписал, перекрестившись трижды при этом, а если рассмотреть по настоящему, то получается такое, что даже выговорить нельзя. И отец Павел подтвердит, что не доглядили, а теперь из за этого придется настрадаться всем, что только ой-ой-ой.

— Постойте, постойте, — остановил его озабоченный председатель, — о чём это вы так горячо? Какая муха цепе вас так ужалила, что вы не можете себе места найти?

— Потому, что так настрадаемся все...

— Так отчего же настрадаемся? — спросила Елизавета Воробей.

— Мне это также неясно, отчего?

— И, верно, в чём дело, отчего настрадаемся?

— спросил Пушкирев, подсаживаясь ближе к секретарю, чтобы лучше слышать.

— Оттого, что разделять дорогие сердцу существа... Вот и Ряшков сказывал обстоятельно, прямо не нарадуешься послушать, разлучение семейных уз в том мире и прочее...

— Каких семейных уз, кого разделять?

— А вот каких: военных везти на крепост-

ное, гражданских на частное. Это просто сказать, а вдуматься, так ужас охватывает! Не так еще мы опустились, чтобы отца семейства на одно, супругу верную на другое; сына-вольнопера на одно, сестру курсистку на другое...

— Семейные узы, — повторил нерешительно Пушкарев, не зная еще, как отнестись к словам секретаря, — разлучение любящих сердец, а?

— Именно — любящих сердец — воскликнул с жаром секретарь. — Ряшков во сне так ладно об этом говорил, так толково, просто заслушаешься! Не могу найти его, чтобы лучше допросить — как это он ладно пояснял.

— Но ведь решено было отложить вопрос из за тарифа, — заметил в нерешительности председатель.

— Вот об этом то я и надрываюсь, — завопил яростно секретарь, — что отложили вопрос, а еще больше сказать, провалили, не из за этого, хотя я и сам, своей собственной рукой вписал в протокол, что из за тарифа. А теперь раскаиваюсь, Ряшков надоумил, научил, не из за тарифа, а от разлучений настрадаемся. Как же в теперь в протоколе изменю?

— Х-м! — воскликнул председатель, поглядывая то на одного, то на другого.

— Позвольте мне в таком случае в двух словах описать положение, — начал мягко, но настойчиво Ферапонтов. — Вопрос, конечно, не в тарифе, хотя это было сказано дельно, и человеком, знающим свое дело. Не в тарифе и не в том, как говорит секретарь, разлучении любящих сердец. А в том, что в порядке обсуждения мы затронули такой вопрос, как родные, так сказать, могилки...

— Родные могилки, — проговорил председатель, быстро описывая крест над грудью, — гложет меня предчувствие, что мы еще вернемся к ним!

Он сказал это таким тоном, вздохнув глубоко, что все, включая Корявко, открывшего быстро глаза, посмотрели внимательно на председателя и так же вздохнули.

— А мы и не отходим, — проговорил мягко, но по прежнему настойчиво Ферапонтов, — Боже сохрани, нет! То, что дебатировали, обсуждали в общих и, так сказать, конкретных формах, то, что занесено в протокол, останется ярким следом нашей общественной работы.

Ферапонтов продолжал дальше, что планы Общества находятся в хороших, верных руках, и нет нужды беспокоиться, если они и проходят через кое какие перемены и изменения. Конечно, упомянул он вскользь, есть шероховатости, не все еще достаточно ясно, не совсем тот подбор людей, и закончил, что пока «нам не до родных могилок». Замечание Ферапонтова о подборе людей сразу же привело в ярость секретаря и он вспомнил в своем сне то место, где Ферапонтов говорил о новом правлении: «я, Исаич, Воробъиха, секретаря мётелкой по шапке, других — туда же», и готов был сорваться с места, чтобы высказать все, что у него накипело от слов Ферапонтова. Но в это время сами по себе широко распахнулись двери, и перед внезапно затихшим обществом показалось два человека, и один из них, Ряшков, не в меру важный и торжественный, громко произгласил:

— Господа, гость из столицы, Аполлон Александрович Чижиков!

## V

### ДНИ ОТДАЛЕННОЙ ВЕСНЫ

Ему не было еще двадцати лет, когда он принялся за устройство мировой революции. Он взбегал на платформы, взбирался на кузова автомобилей, чтобы оттуда, в опьянении весенних дней, говорить о справедливости, свободе, братстве и мире. Он говорил обо всем, что легко и непринужденно брело в его молодую голову и только время от времени упоминал об Адаме Смите, Монтескье, Энгельсе, Марксе, тяжело наваливаясь на их усталые плечи. Он поднимал руки, потрясая ими над своей вскруженней головой, и влажным голосом, еще не успевшим за первую весну революции приобрести ораторскую хрипоту, пророчески возглашал над морем задранных голов: «товарищи, вы еще не знаете, что вас ждет!».

Влага разливалась от его голоса, она захватывала его слушателей, а самого уносила Бог знает куда! Магические слова о чем то, что должно прийти и о чем еще никто не знал и не мог даже предвидеть, наполнили через край чашу опьянения и самообольщения.

В тот год, в те несколько головокружительных месяцев, его жизнь была ясна и безоблачна. Он только и делал, что поднимался и сходил с одной платформы на другую, повторяя свою магическую фразу, которая так действовала на его слушателей и на него самого. Сознание, что он делал революцию, настолько заполняло его деятельность жизнь, что даже в крепком сне двадцатилетнего юноши он бредил об обломках прошлого, о повергнутых царских орлах, о перерожденном человеке, о завтрашнем утре, о том неопределенно отдаленном времени, когда все наконец узнают, что их ждет. На утро вновь с этими мыслями он взбегал на платформы, чтобы поверх тысяч задранных голов, жадных до каждого слова, повторять свою головокружительную игру.

Он так привык к влажной гибкости своего голоса, так поверили в него, что на самом деле несет какую то весть, какое то обещание, что если не слышал себя некоторое время, он не на шутку начинал опасаться за судьбу революции.

Он взбегал на платформы упругим юношеским движением, в котором было так много уверенности в исходе своего исторического дела, простирая руки над морем тупо-задранных голов, над разинутыми ртами и развешенными ушами, и выждав несколько секунд молчания в наслаждении своей магической силы, закидывая назад голову и широко открывал свой рот — ах, разве есть что либо на свете, что можно сравнить даже отдаленно с этим головокружительным моментом!

Это блаженное состояние началось в марте,

в месяце, обычно опьяняющем людей любовью. Была большая семья, похожая на миллионы других русских семей, с братьями, сестрами, кузинами, тетками. Была смуглая узколикая Ася, шестнадцатилетний эстет, бредившая Белым, Блоком, Брюсовым, тревожившая мать своими частыми вздрагиваниями, что было «в роду» и с чем легко справлялась сама мать, будучи всегда окруженной молодыми людьми.

Двадцатилетнего юношу только частью, между платформами, заполняла та жизнь, которая шла в квартире, на атласных креслах, на которых разбирались в шумных спорах все, о чем можно было спорить от праздной жизни: о христианстве и спиритических сеансах, о проблемах Ирландии и процессе Бейлиса, об «Облаке в штанах» и Заратустре, о марксизме и радении, а позже, о мировой и планетарной революции. С этих кресел «сходили в народ», ожидая тайного знака, который должен появиться сам по себе для полного слияния с ним; «сходили» все вместе, с мигренью, болонками, отличным одеколоном и кружевными воротничками, и так долго оставались в нем до поздних петухов, что вымотавшаяся за день горничная Маша валилась с ног от изнеможения.

На креслах предсказывали, предрешали, заклинали, чревовещали, крутили блюдечко, возносили и повергали в прах имена. Ася декламировала:

О, закрой свои бледные ноги

и вздрагивала так, что не на шутку встревоженная мать собиралась, тайно поговорив с нервной дочерью, завтра же вести ее к про-

фескору-специалисту, хотя и знала по своему опыту, что лучшими специалистами были бы юнкер Макс или студент Вова из ее собственного окружения.

В тот опьяняющий любовью март он нашел призвание, которому решил отдать не только самого себя, но и жизнь всей страны — все ради головокружительных взлетов на митинговые платформы. Его успех был отмечен другими и, прежде всего, его патроном, который сам усиленно упражнялся в этом же занятии, но у которого не было подкупающей влаги голоса, магических слов для самоопьянения, что гармонировало с весной, с задранными головами, с самообманом, что на этих исщарканных сапогами платформах выковывается судьба нового человека.

События тем временем шли своим чередом, вне зависимости от числа платформ и надрывавших свои революционные силы оратиров. Отошел в ранней зелени апрель, отцвел липами май, отыграл жаркими закатами июнь — одинаковые утра, дни, вечера, как задраиные кверху бессмысленные головы.

Пришел июль, ничем не отличившийся от других месяцев, кроме того, что в один из поздних вечеров была принесена жертва. Они приносились и раньше, и принимались легко и бездумно, почти на ходу, на пути от одной платформы к другой. На этот раз было иначе. Вернувшись после ряда летучих митингов, он нашел в своей комнате Асю. В жертвенном подвиге, учитывая исторический момент, тяжесть и его значение, подталкиваемая к тому же участвовавшимися вздрагиваниями, Ася при-

шла не только продекламировать о бледных ногах.

Жертва была принята, революция требовала всего в различных формах и приношениях. Завтра она может потребовать еще большего, чем юношеские взлеты на платформы. Она может позвать на баррикады, где будет ни до обещаний, ни до асиных вздрагиваний.

Но утра еще были покорны и бескровны. Окруженный тенями выношенных как почтовые лошади Монтескье, Энгельса, Маркса, он продолжал свою увлекательную игру, поднимал как для исцеления руки, следя со сладким замиранием сердца, как затихали голоса над морем шапок и открытых голов, чтобы в эту ожидающую откровения тишину бросить первое слово: «товарищи», и потом, после напряженной паузы, с величайшей силой сладострастности, добавить пророчески: «вы не знаете, что ждет вас!»

Внезапная волна страстного чувства бросала его в необычайный жар, он вслушивался в отдаленные отголоски своих слов, вскрытенный влажной певучестью своего голоса.

Я социалистка, вкупе гимназистка,  
Я люблю простор, волю и террор.  
Брошу предрассудки, скину с себя юбки,  
Дайте бронированный мотор.

Я встану на коленки,  
дайте мне Дыбенко,  
Ему я молюсь, ему поклонюсь,  
Не надо мне Дыбенко,  
дайте мне Крыленко...

События шли. Историческая воронка втягивала в себя все больше событий, дат, людей роковой неотвратимостью своего центростремительного бега.

Можно было бы попытаться проследить за развитием асиних вздрагиваний, если бы еще шли безоблачные времена, но, увы, стало не до них, когда в октябре с грохотом, потрясшим весь мир, вздрогнула вся Россия. Но его не слышал наш двадцатилетний герой. Пока революция требовала подвигов на баррикадах, пока лилась кровь неповинных ни в чем жертв и по всей стране катилось гулкое эхо грозных событий, наш герой нашел себя в поезде, уносившем его заграницу. Это было так внезапно, что он даже не успел оглянуться на цепь ровных митинговых дней позади, хотя его не переставала досадовать мысль, что его оборвали на самом интересном месте.

Слепая судьба бросила в одну сумасшедшевращавшуюся воронку необыкновенную по составу смесь из событий, людей, изречений, слов — полных и пустых, посолов, обещаний, пророчеств, чтобы вскинуть наверх, высоко над ними уличные куплеты о гимназистке. Казалось, что в этих куплетах погибло все, что еще так недавно говорилось устами Белого, Блока, Брюсова, так как первая попытка Аси продекламировать о «бледных ногах» не вызвала ничего, кроме некоторого недоумения, что неужели не было ничего другого, что можно было бы вывезти с собой заграницу.

Париж. Бульвары. Поздняя осень. Ровная деловая жизнь. Полутемные днем, шумные,

залитые светом по вечерам кафе наполнились новыми людьми. Одним из них оказался наш молодой герой, Аполлон Чижиков, еще не совсем приспособленный к жизни, даже слегка растерянный, но уже подающий знаки, что скоро оправится совершенно. Растеряться же вначале было легко среди такого множества праздных голосов, над которыми никак нельзя было поднять свой голос, несмотря на все его подкупающие качества. Он еще пытался продолжить старую игру на новый лад и перекричать других, но кроме надорванных голосов не получалось ничего. Невозможно было себе представить — в огромном Париже не было ни слушателей, ни платформ, ни задраных голов! Молодой Чижиков сознавал вдруг надвинувшуюся пустоту: платформы были выбиты из под ног, митинги были слишком малолюдны, на которых говорили, не слушая друг друга, все, что сводилось или к повторному высказыванию недоумения, почему они очутились так быстро заграницей, или к самообольщенным надеждам на быстрое возвращение на родину, если не на белом коне, то хотя бы на слегка подержанном автомобиле. До писания мемуаров многим еще было далеко, за исключением двух-трех престарелых сенаторов. Молодой Чижиков хорошо понимал, что нужно заполнить пустоту, образовавшуюся после внезапного пресечения привычных гимнастических упражнений в легких прыжках с платформы на платформу, а с них — в историю, правда, не в такую, которой со временем займутся отечественные Пимены! Но, тем не менее, в историю!

В то время, когда сотни тысяч невольных эмигрантов остро решали вопрос о существовании, когда создавались новые кадры грузчиков, декораторов, солдат Иностранного Легиона, колонистов, фабрикантов портсигаров и коробочек, вышивальщиц, Аполлон Чижиков, успев оправиться от первых дней растерянности, не унывал и не стремился ни к каким бросаниям подобного рода. Его чемоданы не были еще распакованы — в этом отношении он поступал как все остальные; не были они полностью распакованы и десять лет позже по причинам, отлично понятным всем. Важные совещания продолжали заполнять вечера, зачастую переваливая далеко за полночь и дававшие неплохой заработок парижским кафе. Было бы несправедливо и даже жестоко лишать десятки тысяч людей их привычного занятия! Эти совещания и заседания нужны были как кислород, пока еще в зародышах намечалась та двойственная жизнь, которая со временем стала характерной чертой Зарубежья: днем — в неволе труда, в чужом неосвоенном быту, вечером — в родственной атмосфере бесконечных заседаний.

Воронка еще продолжала вращаться, хотя ее ход значительно замедлился, что дало возможность Аполлону Чижикову разобраться полностью в новой обстановке. Пока увеличивался хвост у наборного пункта Иностранного Легиона и росло число артелей декораторов и кустарей, на дверях популярного кафе появился загадочный плакат: «Ожидайте появления на эстраде первого и единственного национального оркестра». Ожидать пришлось недолго,

так как через несколько дней на эстраду гуськом вышел десяток людей в цветных рубашках и шароварах, щедро выпущенных за голенища сафьяновых сапог, с балалайками различной величины в руках.

Балалаечники уселись полукругом и судорожно впились в грифы инструментов, занеся кисти правых рук с полусогнутыми перстами; сми подали вперед станы, крепче уперевшись цветными каблуками в пол, и притаившей дыхание публике показалось, что с первыми же звуками они сделают необыкновенно легкий и виртуозный полет в стратосферу. Но полет состоялся не сразу, так как на эстраду вышел Аполлон Чижиков в таком же костюме, но поверх него в кафтане с нашитыми царскими орлами. Он поднял руку, ожидая тишины, и торжественно провозгласил об основании первого в мире заграничного императорского балалаечного оркестра.

Он вновь обрел свой голос, чутко прислушавшись к нему, к его ласкающей вибрации, и ему вдруг показалось, что недавние события еще витали перед ним, хотя не было ни платформ, ни высоко задраных голов, а вместо голосов о планетарной революции над столиками поднимался приглушенный звон посуды, вилок и ножей. Не было ни выбившихся из сил Энгельса и Маркса, а позади полукругом сидели балалаечники, держась крепко за свои инструменты и нетерпеливо ожидая, когда закончится вступление о роли и историческом значении настоящих отечественных оркестров, пересаженных с родной почвы на заграничную, чтобы наконец сделать свой виртуоз-

ный полет в плавном потоке неторопливой балалаечной речи.

Чижиков закончил свое вступление и сделал приглашающее движение рукой в сторону оркестра, и последовавший момент нужно считать началом балалаечной эры заграницей.

Новая деятельность целиком заполнила его молодую жизнь. Теперь совершенно были забыты весенние слова о революции, как потерявшие всякое значение и будившие в памяти только досаду. Он принял за новое дело с таким же рвением, с каким взлетал на революционные платформы, опьяняясь успехом и опьяняя других. Теперь перед ним была новая, не менее высокая миссия, за выполнение которой он принял с достойным рвением.

Через неделю он нашел на рубахи балалаечников серебряные двуглавые орлы, а еще через неделю заказал им цветные кафтаны с такими же орлами, оставив себе для отличия золотые. Для полного уточнения отечественного искусства он заставил их стричься под скобку, что долгое время выгодно отличало их от других балалаечных оркестров, загремевших с легкой чижиковской руки по столицам и большим городам Старого и Нового Света.

Так двадцатые годы двадцатого столетия вошли в историю, как годы феерического роста балалаечных оркестров заграницей.

Годы шли и как «дождем отшумевшие листья» падали в Лету, но вода этой злосчастной реки не мутилась и не меняла вкуса, хотя что только не плавало в ней.

За эти годы много замечательного произошло на родине. Особенно следует упомянуть о появлении предприимчивых детей славного черноморского героя, лейтенанта Шмидта, среди которых наиболее ярко выделился некий Остап Бендер. В течение ряда лет эти люди вели весьма завидное существование благодаря имени своего знаменитого предка. Ничего подобного не было в Зарубежье, несмотря на то, что этот своеобразный и не менее предприимчивый мир успел быстро охватить все материки и страны. Это можно объяснить тем, что не успела назреть история и связанное с нею прошлое для проявления таких крупных фигур, которых, хотя бы частично, можно было приравнять к тому же Остапу Бендеру. Но возможность отнюдь не была исключена. Новый зарубежный мир по составу и своеобразному закалу напоминал тот, который остался позади, в одной шестой части суши, и сам, как было указано, быстро растекся по остальным пяти шестым частям земли. Между этими мирами не только не было существенной разницы, но по наследственной преемлемости в Зарубежье в равной пропорции оказались обширные потомства, внуки и правнуки Коробочки, Манилова, Собакевича, Держиморды, Добчинских и Бобчинских, Ноздрева, лакея Петрушки, Хлестакова и Чичикова и многих других. Следует отметить, что от перемещения с родной почвы на чужую это славное потомство не только не потеряло своих особых черт, прославленных гениальным пером в летописи о их предках, но даже как то уточнило и обострило их. Не осталось никако-

то сомнения в том, что эти жизнеспособные люди пустили прочные корни на новой почве и зажили так, словно и в помине не было этих разделяющих ста с лишним лет. Унаследовав полностью черты своих славных предков, не все, надо заметить, преуспели так, как те. Иные даже заметно снизились на общественной и служебной лестнице: сами по себе повыселись губернаторы и попечители, а ни о каких угодьях, деревеньках и душах не могло быть, и речи, разве только на зарубежных собраниях многочисленных обществ и кружков! Жизненные линии некоторых из них, как, например, потомков Ноздрева, были неровны и шли попеременно то вверх, то вниз, помещая их таким образом то «на коня, то под конем». Ничего не было особенного в том, что унаследовав неровные черты такого непостоянного человека, они остались верными его пристрастью к картам и к весьма произвольному обращению с истиной. Некоторые из этих потомков так переродились друг с другом за это столетие, что иногда трудно даже определить в их унаследованных чертах, где кончается маниловская патока и начинается плюшкинская сквердность. Некоторые из них, наоборот, так заметно продвинулись, что могут служить примером жизненного успеха. Одним из наиболее ярких примеров такого преуспевания является Елизавета Воробей, попавшая с легкой руки Собакевича в реестрик мертвых душ как мужик, а оттуда — и в литературу. Невозможно полностью проследить это примерное развитие от дворовой девки до председательницы Дамского и Литературного Кружка, ведь это взяло сто

с лишним лет. Но как уже заметил читатель, в настоящем повествовании Елизавета Воробей достигла как раз этого высокого положения.

При всем этом становится совершенно понятным, что предприимчивым людям — а таким бесспорно был Аполлон Александрович Чижиков — нашлось отличное поле деятельности среди просторов Зарубежья. Справившись со своей первой миссией, молодой Чижиков быстро охладел к дальнейшему развитию балалаечного дела, тем более, что оно уже оказалось заполненным другими предпримчивыми людьми. Ему нужно было еще учиться многому и, главным образом, науке жизни. Но он вскоре преодолел в совершенстве и эту трудную область и познал ее настолько, что никогда не позволял себе ошибки говорить с аптекарем не о чем другом, как о примочках, а с лавочником — об икре и затоваренности. Познал он и уменье слушать, не вслушиваясь в сказанное, но внимательно повернув голову к рассказчику розовой раковиной уха, время от времени поддакивая или делая изумленные восклицания. При собеседнике-шутнике он начинал сразу же добродушно смеяться, делая это по двум причинам: «смешно так, что, право, нельзя удержаться от смеха даже в начале»; а вторая — отмечая только для себя: «коряво, братец, коряво!»

С годами Чижиков возмужал, потерял юношескую стремительность, но приобрел отличную житейскую сноровку, а познанную науку

жизни применил с таким отменным успехом, что его похождения войдут не только в память доверчивых людей, но и читателей, главным образом тех, которые — как это водится зачастую — найдутся для этой книги через сто лет.

## VI

### ЦЕНТР ДАВНО ПРИГЛЯДЫВАЕТСЯ

Когда Ряшков широко растворил двери гостиной и торжественно возгласил о прибытии столичного гостя, опешил не только готовый ко всему председатель. Разговор мгновенно затих в группе, где обсуждались сны, предчувствия и странные происшествия, с которыми сталкивается русский человек. Прервали на самом интересном месте разговор и там, где живо обсуждалось о том, что такое случайное явление, как встреча с шансонеткой может не только нарушить ход жизни русского человека, но и сорвать его с ее узкой стяжи. Председатель Пушкин, прислушивавшийся с одинаковым интересом к разговору обеих групп, вздрогнул при возгласе Ряшкова, опешил, не зная, что сделать, осенить ли себя крестом или сразу броситься навстречу гостю.

— Аполлон Александрович Чижиков, — повторил веско Ряшков, надувая малиновые щеки. — Прямо из столицы, от высших, так сказать, сфер.

— Из столицы и сфер!? — полу вопросом отозвался несколько нерешительно Чижиков.

— Дорогой гость! — воскликнул Пушкарев, жмуря глаза и тая от радости. — Мы уже знаем все и даже больше! Какая радость души!

— Помилуйте, это мне...

— Нет, уж позвольте выразиться так: для нас такая исключительная радость! Не каждый день нас посещают лица из высших, так сказать, сфер, ведь это впервые, что кто то оттуда осчастливили нас своим посещением.

— Помилуйте, наоборот, мне честь...

— Разрешите мне представить вам наше Общество, господа, прошу сюда, наш столичный гость, Аполлон Александрович Чижиков.

— Очень рад, господа, очень рад! Так приятно встретиться с вами. Давно счел своим наиприятнейшим долгом побывать в ваших прекрасных краях! — воскликнул Чижиков, оправляясь от некоторого замешательства вначале.

— Как жаль, что только теперь смогли прибыть к нам!

— Не все приятное удается нам! — вздохнул Чижиков. — Как было бы тогда чудесно! — и он выкатил от удовольствия из под рыжеватых ресниц голубой глаз.

— Так значит прямо к нам из Главного Центра? — спросил сладким голосом председатель, жмурясь от удовольствия и перекладывая голову с плеча на плечо.

— То есть, э-э-э, х-м! — протянул нерешительно Чижиков.

— Аполлон Александрович с высокой миссией, — пояснил Ряшков, — из Главного Центра. — И опять Чижиков повторил: «с миссией, из Центра», но впрочем тотчас же оправился

и уже больше не восклицал ни в форме вопроса, ни в форме утверждения относительно столицы и Центра.

Пока они обменивались любезностями и знакомились друг с другом, приезжий гость внимательно и ласково оглядел всех, и нашел, что они отменно прекрасны и замечательные люди. То же самое нашли и члены правления, начиная от председателя и кончая стариком Молибога, что столичный гость отменно прекрасный и замечательный человек. Это взаимное открытие порадовало всех и сразу же способствовало установлению самых сердечных отношений. Чижиков осмотрел гостиную и нашел, что и она замечательная комната, какая только может быть в духе и вкусе этих людей. Он тщательно оглядел групповые фотографии, словно выискивая старых сослуживцев, остановившихся особенно внимательно на сидевших в первом ряду, сделав при этом не мало соответствующих слушая замечаний, что порадовало председателя и всех членов правления. На вопросительный взгляд относительно пустого кресла в середине первого ряда, председатель пояснил, что по давно заведенной традиции, первое и главное место на всех почетных заседаниях и событиях Общества, включая групповые фотографии, всегда и неизменно уделяется председателю все-зарубежного правления. Чижиков склонил голову в знак своего почтения перед традицией Общества и перед главным председателем, заметив глубоко мысленно, что подобное внимание и почет никогда не проходят незамеченными, и что понятно, что в Главном Центре — здесь Чижи-

ков уже не запинался при упоминании о чём — об этом хорошо известно, на что Пушкирев твердо заметил, что «начальство все знает и даже больше».

После гостиной гостю показали остальной дом, при чём было замечено, что ко всему он отнесся с самым живым интересом. В биллиардной он внимательно осмотрел биллиард, гнезда с шарами, потрогал лузы — все с таким видом, словно попал впервые в такое место. Заглянув в карточную комнату, он потрогал сукно круглого стола, вздохнул задумчиво, оглянулся, прикинув количество стульев, все с тем же видом поразительного интереса к никогда невиданным вещам.

— И что же, играют у вас во что либо? Поди молодежь забавляется, а?

— Какое, молодежь! — отмахнулся рукой Ряшков.

— Главное которые постарше в годах, — пояснил Молибога. — Молодых они не подпускают, сразу рвут им руки по локоть.

— Почему же это так?

— Мелкотравчатые они у нас, не похожи на старших. Слабодушны настолько, что к четверке не прикупают.

— Вот как! — удивился Чижиков, проникаясь уважением к немолодым и, следовательно, к немелкотравчательным. — А это что же у вас, оркестр? — спросил он, повернув настороженно ухо в сторону лестницы, ведущей вниз, в ресторан Коли Усова, и прислушиваясь к приглушенным балалаечным звукам.

— А это у нас, видите ли, в некотором роде балалаечники, — сладко пояснил председа-

тель. — Отечественное, так сказать, искусство, считаем долгом любить и поддерживать.

— Я этих балалаечников со дна морского достал, — похвастался Ряшков.

— Это и видно, что со дна! — крякнул насмешливо Молибога.

— А вы, вижу, интересуетесь музыкой! — вскинулся Пушкарев, забегая вперед и показывая дорогу. Чижиков продолжал оставаться несколько моментов в молчании, прислушиваясь к балалаечным звукам.

— Ах, простите, — спохватился он, повернувшись живо к председателю и опять выкатывая голубым шаром глаз. — Да, музыка, искусство! Ну, как же! Ведь я, пожалуй, был первый, кто ввел заграницей балалаечные оркестры. Раньше только иногда гастролировали, но никому не приходила в голову мысль укрепить наше отечественное искусство на прочном базисе.

Чижиков опять задумался, прислушиваясь настороженным ухом, и тень печали залегла на его лице, но вскоре сошла под теплотой восторженных глаз Пушкарева. — Я часто задумываюсь над таким положением вещей: одни трудятся, созидают, мучаются, ночи не спят, ломая себе головы — все над своим замыслом, созданием, а когда, наконец, достигают результатов, появляются другие, совершенно со стороны, пожинать плоды... Так и со мной... Я мог бы о многом порассказать, но стоит ли утруждать внимание других личными пустяками...

— Помилуйте, вы это называете личными пустяками! Как можно так сказать о себе, да

еще в смысле утруждения других! Наоборот, не утруждать кого либо, а в поучение многих!

— Из примеров других, более достойных жизней? — живо подхватил Чижиков. — Ах, если бы так! — отчасти с сожалением, отчасти с удовольствием добавил он.

Над словами Чижикова все невольно задумались, и каждому показалось, что это целиком можно отнести к любому из них, так как мир полон несправедливости, и как часто бывает, что один начинает, а заканчивает обязательно другой, пожиная плоды подготовительной работы первого. Балалаечники играли чуть слышно, словно чувствуя, что важный гость был расстроен от своих слов.

Но Чижиков поднял голову и улыбнулся всем приятной, доверчивой улыбкой. Словно по заданию, балалаечники сменили темп, и лихо ударили по струнам коронную Коли Усова «Что мне горе».

Чижиков прислушался к игре и заговорил о музыкальном развитии, насколько оно облагораживает души, наполняя их сознанием и целью, и что по своему скромному опыту может судить, как много удовольствия и даже счастья дает музыка. Но с балалаечными оркестрами, подчеркнул он, впечатление еще ярче, значительнее, и не только для русского человека! — так как кроме самой музыки, построенной на отечественных мотивах, они дают много и своим внешним видом. Он внимательным взглядом опытного человека обвел по балалаечникам, по их бархатным штанам и цветным рубашкам, оставшись вполне довольным их видом, и добавил, что именно этим они

и связывают нас с родной нам культурой и стариной.

Пушкареву настолько понравилось упоминание об отечественной музыке и родной старине, что он весь изогнулся от удовольствия, насколько могло ему позволить тело майского жука, чтобы заглянуть самой приятнейшей улыбкой в глаза Чижикова.

— Культурная старина это все, что у нас осталось, — произнес Пушкарев, зажмурившись от необыкновенного удовольствия. — И кому мы обязаны этим?

— Вот именно — кому!? — подхватил живо Чижиков, так же жмурясь от удовольствия. — Вам, господа, вам, и ни кому другим! Это вы так бережно и, я сказал бы, любовно придерживаетесь нашей родной старины, славных заветов нашего прошлого.

После того, как Чижикова провели по всему помещению и познакомили со всеми членами правления, невольно создалось пожелание, чтобы важный гость поделился с ними словом. Чижиков охотно согласился, упомянув, что кроме приятности ничего не может быть от общения с такими исключительно прекрасными и сердечными людьми, но он хотел сделать это самым простым образом. «Нет, нет», раздались голоса, а секретарь к этому добавил, что Общество еще не так низко опустилось, чтобы слушать важного гостя простым образом, и что нельзя иначе как только со сцены. «Со сцены, со сцены», прозвучало несколько голосов а председатель взялся любовно за локоть Чижикова, подталкивая его к сцене. Проворный Коля Усов сдвинул в сторону сто-

лы и расставил стулья. Наступила полная тишина.

Поднявшись на эстраду, Чижиков сделал приятный жест в сторону балалаечников, дав тем понять, что и я с вами, и что не в первый раз стою перед такими искусными артистами. Еще изящный, несмотря на некоторую полноту, он стоял, положив одну руку на бедро, чуть откинувшись назад корпусом, держа другую руку за спиной, ожидая, пока пройдет церемония представления. Вид Чижикова произвел на всех самое выгодное впечатление, но особенно понравился кельнерше Зосе, которая призналась подруге, что «обожает мужчин в белых пикейных жилетах».

— Господа, — начал торжественно Пушкирев, тая от сладкой улыбки, — мне, как вашему председателю, выпала неожиданная честь представить вам нашего дорогого гостя, только что прибывшего к нам из столицы от Главного Центра.

Пушкирев спустился осторожно по ступенькам и уселся в первом ряду, подняв выжидательно голову и повернув ухо. В публике затихлиapplодисменты, возгласы и возбужденный шепот, а Чижиков все выжидал, медленно обводя ласково-внимательными глазами всех, начиная с первого ряда, вплоть до стоявших позади последнего, словно желая впитать в себя и укрепить навсегда в своей памяти их лица, чтобы потом, время от времени, воскрешая их приятные образы, переживать вновь редкостное удовольствие.

— Нет ничего более отрадного, — так начал он, оторвавшись, наконец, от приятного созер-

цания, — более радостного и светлого, как видеть большую работу, которая делается так легко и незаметно, словно сама по себе, без всяких заметных усилий, хотя всякому, кто знаком по многолетнему опыту с тяжестью и, зачастую, с неблагодарностью общественной работы, известно, сколько нужно вынести на своих часто усталых плечах! И это так целебно, так, я сказал бы, усладительно, как легкий ветерок летом, пробегающий по... — он замялся, как бы подыскивая слово или, обводя с интересом глазами по лицам в первом ряду, присматривая, подойдет ли оно к ним по возрасту, — по дубам, т. е., по дубраве, как легкий ветерок, поднимающий такую рябь...

Он опять остановился, улыбаясь вдаль так мечтательно, что впечатлительный секретарь заерзal на стуле и оглянулся назад, чтобы посмотреть, нет ли там усладительной дубравы и легкой ряби, от которой Чижиков делал волненообразное движение не только рукой, но и всем станом.

Но Чижиков несся дальше; свободно и простиранно он коснулся одного и второго, упомянув об этом, не забыв и того. Тут была и славная история прошлого, незыблемые заветы и традиции, радостное будущее, светлая идея такой безукоризненной белизны, что ее и сравнить не с чем и от которой от непривычки можно даже ослепнуть, и что историки будущих столетий будут изучать эмиграцию с исключительной бережностью и тщательностью, в особенности ее руководителей и вождей, всех тех, которые не только сидят, но и стоят в ее первых рядах.

Говоря об историках будущего, Чижиков внимательно, задерживаясь на отдельных лицах, провел взором по сидевшим в первом ряду, словно с них и начнется бережное изучение славной истории. Председатель Пушкарев сразу же отметил те места, где говорилось о славном прошлом и о незыблимых традициях; он слушал внимательно, умудряясь не только класть голову то на одно, то на другое плечо, но при этом и задирать подбородок кверху. Каждый раз, когда Чижиков упоминал о славном прошлом, о национально-мыслящих людях и вервах Зарубежья, председатель делал движение привстать и раскланяться, а в наиболее сильных местах часто семенил рукой над той частью груди, где у него раньше помещались ордена.'

Слова Чижикова понравились не только тем, кто сидел в первом ряду. Недаром еще с памятных февральских и мартовских дней была у него слава влажного, убедительного голоса, который, как приятнейший нектар, вливался в душу слушателя, тревожа ее и оставляя в ней смешанное чувство грусти и радости.

Ряшков оценил то, что, развивая мысль о неотложной необходимости действия — любого, но только действия, как в противовес бездействия, Чижиков подолгу задерживался взглядом на нем, как на человеке, которому не нужно говорить, что такое действие. Ту часть речи, где Чижиков говорил об энергичных людях, Ряшков прослушал с опущенной головой.

Председательнице Литературного Кружка, dame образованной, понравились те места, где

говорилось о науке, литературе и прогрессе. Особенно сильное впечатление произвели на нее слова Чижикова о том, что невозможно даже на самый краткий миг предположить, что время безжалостно сотрет Зарубежье, эту ценную сокровищницу и неутомимую носительницу отечественной культуры. Если на родине изучают язык чукчей, создают для них письменность, то как же можно думать, что в свое время не будут приняты с горячим жаром благодарности те огромные духовные ценности, созданные за рубежом.

О некоторых местах его речи слушатели позже признавались, что не могли охватить всей сути, так как они таили глубокий смысл, который можно будет разгадать только в будущем. По этим обмолвкам и недоговоренностям можно было судить, что Ряшков — как это ни было странно! — не отходил далеко от истины, и что Чижиков на самом деле прибыл с высокой миссией, и что там, в высших сферах, был далеко не последней спицей в колеснице. Об этом были разговоры и даже споры на собраниях, в биллиардной, в гостиной, даже в «малой шуллерской» между сдачей карт и подсчитыванием взяток, в которых принимали участие все, и председатель Пушкирев, председательница Воробей, Ферапонтов, настаивавший на абсолютной ясности, и Ряшков, успевавший при этом припомнить дни, когда они жили с Чижиковым вместе ни то в Луге, ни то в Торжке; Могиленко, даже Молибога и, конечно, бесноватый секретарь. В этих разговорах все сходились на одном, что Чижиков «не спица», но значительно расходились в вопросе

об его точном положении, одни беря довольно высоко прицел на верхушку служебной лестницы, другие же придерживаясь более скромного мнения, но отнюдь не отрицая того, что Чижиков — высокий гость.

Эти полунеясные, неоговоренные места в его речи были настолько случайны, чтобы судить, что центр интереса Чижикова был не на них, а на тех местах, которые непосредственно касались самого Общества Зарубежья и всех присутствовавших. Оглядев их еще раз своим пытливо-ласковым взглядом, от которого всем вдруг становилось тепло и уютно, он заметил, что ничто не произвело на него большего впечатления, чем то, что следовало бы отнести вдохновляющим девизом к такой хорошо сплоченной и сплоченней группе, которую он имеет редкое удовольствие видеть перед собой, и что было сказано как то вскользь, без придания этим словам того глубокого смысла, который они таили в себе. А слова эти он напомнит им, он их слышал в первые же минуты своего знакомства с ними, и они были сказаны наверху, в той очаровательной гостиной, где он встретился с ними: «если правление вынесет решение, даже такого, например, планетарного характера, как сведение пятен на солнце, то обязательно выполнит его!» Здесь он им может сказать, кроме дани своего личного восхищения, что высшие круги давно, правда безрезультатно до сих пор!, подыскивают такую образцовую группу для назидательного примера другим.

Наука жизни, в совершенстве познанная им еще в раннем периоде своей жизни, дала ему

возможность сразу же примениться к обстановке, и за короткие два с лишним часа, проведенных им в Обществе, он вполне свыкся с той ролью, которая вышла как то сама по себе, чуть ли не из ряшковского портсигара. Если у Чижикова и было вначале некоторое недоумение на этот счет, то оно прошло бесследно в самое короткое время.

Заканчивая свое слово, Чижиков вдруг почувствовал, что не все осталось высказанным. Он еще раз обвел взглядом по поднятым головам, и вдруг с неудержимым порывом прорвалось в нем далекое прошлое. Он вскинул голову и втянул в себя столько воздуха, что беспокойный секретарь закрутился на месте, словно порываясь спросить, нужно ли его так много одному человеку.

— Господа, вы не знаете, что ждет вас...

Чижиков остановился, повернув ухо и чутко прислушавшись — почти с недоверием — к своему голосу, к его отдаленному эху, словно отразившемуся с противоположных стен далеких февральских и мартовских площадей. Он повернул ухо, напряженно прислушиваясь и прицеливаясь прищуренным глазом, как человек, который хочет охватить сразу все подробности. Там, на стене, в далекий ответ на его слова, как на старом, часто мелькавшем экране показались фигуры Монтескье, Смита, Энгельса, Маркса на взмыленных лошадях, пока невидимый тапер живо играл бравурную часть из увертюры Вильгельма Телля, которую обычно играли в немых кинематографах в местах, где изображалась погоня.

— Господа, вы не знаете, что ждет вас, —

повторил он свои пророческие слова, упиваясь ими и словно от изнеможенья прикрывая выкаченные глаза голубоватыми веками, вновь зачарованный гибкой выразительностью своего голоса, даже не замечая, что вымотавшиеся всадники на загнанных лошадях повернули недоуменно свои головы, чтобы в один голос заметить: «ну, братец, ты кажется опять за старое принимаешься!»

После экспромтного обращения столичный гость сошел с эстрады и среди публики оказался совсем простым и обаятельным. Он всем интересовался, обо всем спрашивал и на многие вопросы отвечал с полной готовностью, отведя тонко другие, на которые не хотел отвечать, никак не обижая этим спрашивавшего. О некоторых вещах он говорил бодро, с задором, почти с юношеским дерзновением, скалил зубы, что придавало ему отважно-воинственный вид, и председатель Пушкарев кивал многозначительно Ряшкову, как бы говоря, что с таким можно пойти в любую минуту на колючую проволоку. Ряшков так же многозначительно кивал головой, но с видом человека, не только теперь открывшего такие замечательные качества в своем госте, но знавшего о них давно, к тому же полностью разделявшего их.

О некоторых вещах Чижиков говорил с болезненным, страдающим видом, прикладывая руку ко лбу, словно в нем горели невысказанные страдания, накатывал на глаза прозрачные веки и тряс головой так, как трясут перед тяжелой безысходностью или над гробом догоного существа. О других же вещах он говорил с оживлением, делая плавные движения руками

ми, кивал усиленно головой и смеялся заразительным смехом. Он закладывал пальцы за подтяжки, открывал еще шире свой пикейный жилет, покачивался на каблуках и, смеясь, закидывал назад голову таким движением, что нагруженная посудой Зоя задерживалась около него, чтобы лучше рассмотреть столичного гостя и самой не удержаться от счастливого смеха.

В частной же беседе с председателем Чижиков взял его под локоть и осторожно, как даму в танце, провел в угол, где никого не было, где и поведал ему краем, намеком, что не все в его жизни было таким, над чем можно было скалить зубы и смеяться, а, наоборот, от многого он натерпелся, много перенес от человеческой несправедливости и неблагодарности, и что если обо всем порассказать, то можно написать книгу о человеческой скорби, в которой, если бы еще припустить кое какой материал, досталось бы на орехи многим. Но человек он незлобивый, легко забывающий обиду и несправедливость, и теперь признающий только служение в общественной работе и в заботах о других, поэтому со всем тем, что было большого и несправедливого, он примирился во имя общественного блага.

Тронутый доверием гостя, председатель Пушкирев не мог не согласиться, что в мире много несправедливости, от чего доверчивому человеку приходится страдать, и сказав, что за доверие он платит доверием, пожаловался, что и сам много в жизни перенес, что хотя у него и незапятнанная служба и в некотором роде контузии и старые раны, но его всегда

обходили в угоду высокочкам и штабным карьеристам, и вот только этой зимой, на каком же это году эмиграции, даже трудно подсчитать<sup>1</sup>, местные круги единодушно и при полном кворуме отметили его заслуги производством в генералы, но до сих пор нет утверждения высших сфер, Главного Центра. Сказав это, председатель сделал глубокий вздох, в котором была и озабоченность по поводу задержки утверждения, и мнение настоящего, человеческого счастья.

Чижиков внимательно слушал его, перекладывая, как и Пушкирев, голову с одного плеча на другое, то прищуривая глаза, то широко выкатывая их из рыжеватых ресниц, что придавало им выражение негодования по поводу несправедливости судьбы.

— За это вам, дорогой Апполон Александрович, я просто не наблагодарился бы, если того, приединить бы...

— Об этом мне несколько известно, — заметил Чижиков, оглянув других, слышат они его или нет. — Как же, отлично помню, в главном управлении обсуждался этот вопрос, даже не обсуждался, так как не было необходимости обсуждать то, что очевидно само по себе. — Чижиков наклонился и заглянул в глаза Пушкирева. — Давно провели и утвердили. Если до сих пор нет еще извещения, досадно, конечно, то только из за канцелярской волокиты.

— Уж так обязали, так уважили, что и сказать нельзя! Как изволите помнить, списки были поданы, — заговорил быстро Пушкирев, стараясь сказать все и заглядывая ласково-сияющими точками черных глаз в затуманен-

ные глаза Чижикова, — а некоторых то из этих списков ножичком, хе-хе, чик-чик и долой, не вышли еще ни по времени, ни по заслугам, а уцелевших, значит, благословили... Уж так рад, просто не нарадуюсь! Позвольте мне тайно думать, при чьем участии это вышло!

Сказав это и смеясь мокрыми от счастья глазами, Пушкирев взял любовно Чижикова под локоть и еще ближе придинулся к нему. Чижиков снял очки, прищуренно посмотрел через них на свет, снова одел, осторожно оправив дужки за ушами, скромно откашлялся.

— Какое же мое участие! Правда, я там был и, понятно, по своим силам... Но, главное, инстанция, — пояснил он загадочно. Он сделал паузу, словно думая о многих таинственных вещах на свете, потом наклонил голову и выразительно заглянул в счастливые глаза Пушкирева. — В некоторых случаях нашли необходимым сделать это. Просто необходимым!

После этих слов Пушкирев весь вечер не сводил с Чижикова благодарно-влюбленных глаз. А столичный гость тем временем передвигался от одной группы людей к другой. Он подошел к Ферапонтову и сразу же навел того на разговор об изучении древних российских родов и сбор гербалического материала, и слушал его так, словно ничего подобного ему не приходилось слышать в своей жизни.

Выслушав, сколько мог, Чижиков вздохнул и посмотрел увлажненным взглядом вдаль, как недавно смотрел со сцены, прибавив при этом задумчиво: как интересно и значительно, что кто-то за рубежом тщательно подбирает такой важный материал, укрепляя этим славу

прошлого и готовя ее для будущего, оказывая в это же самое время неоценимую услугу человечеству.

Поощренный словами Чижикова, Ферапонтов заговорил увереннее, коснувшись насущной необходимости пополнения дворянского класса, добавив скромно, что «у нас, у личных дворян, давно крепнет надежда, что за службу и верность переведут в потомственное сословие».

— Переведут, переведут, еще как переведут! — закивал утвердительно головой Чижиков, и тут же поведал ему, что эту же мысль он давал несколько лет тому назад на всезарубежном монархическом съезде, и что она была широко поддержана другими.

Чижиков уже собирался отойти от Ферапонтова, но задержался еще на минуту. Он взял его за пуговицу и доверчиво заглянул в глаза.

— У нас, если вам интересно, такой в роду девиз. Конечно, как водится, по латыни, а в переводе так: «стремись слиться с народом».

— Как интересно! — восхищенно сказал Ферапонтов, чувствуя, что у него появилась к Чижикову такая вера, какая могла быть только к самому себе.

В самое короткое время пребывания Чижикова в Обществе, первое впечатление, произведенное им, укрепилось раз и навсегда: это был чрезвычайно любезный и обходительный человек! Он остановился около Молибоги, неизвестно чем заинтересованный, вытаращенным ли глазом или тем невероятным запасом кожи, который он успел собрать на лбу

— Небось там, в столице то, духовенство

пышное? — спросил, осклабившись, Молибога, подплывая боком к Чижикову.

— Духовенство? — переспросил слегка озадаченный Чижиков, словно впервые произнося это слово. — Как же! Выходят пышно, в лиловых рясах!

— В лиловых? Да ну? Ишь, как! — крякнул от удовольствия Молибога. Он так и ходил, осклабившись, весь вечер, время от времени подергивая изумленно головой, довольный своим вопросом и ответом Чижикова.

Так шло время, пока Чижиков медленно двигался, окруженный толпой согретых им людей, смотревших на него почти с преклонением. Он отвечал им тем же, наклонял голову в их сторону, улыбался мгновенно, словно очарованный внезапно нахлынувшим счастьем, так что у дам невольно щемило в сердце, и каждая начинала чувствовать себя необъяснимо счастливой.

Чижиков подошел и к Мите Плющину, хотя тому махали предостерегающе руками, чтобы не приставал к высокому гостю. Но было уже поздно и только оставалось наблюдать, как тот застенчиво хлопал себя по груди, а Чижиков сочувственно поглядывал то на него, то на его грудь, словно желая убедиться, на самом ли деле у него жаба или нет. Выслушав его, Чижиков не преминул заметить, что при гигантском прогрессе медицины ничего не стоит справиться со многими болезнями, на что председатель Пушкирев добавил, что не надо забывать старой медицины и веками проверенных народных средств, тут же упомянув об одном лекаре, который не только брался за

болезни, бывшие не под силу и современной медицине, а чудодейственным образом положительно снимал их рукой, особенно такие, как застарелый геморрой.

— Вот видите! — воскликнул Чижиков. — Я тоже слышал о нем, вот только не упомню его фамилии. Если бы только разыскать!

Чижиков и с Головковым постоял, выслушав внимательно и даже с заметным интересом о том, что у них, в головковском роду, все краснощекие. Чижиков посмотрел внимательно на его щеки и нашел, что они и впрямь туги и налиты до мельчайших вен густой кровью. Так он все рассматривал, обо всем спрашивал, как будто даже сравнивая про себя с кем то. Кто то упомянул, что у члена ревизионной комиссии глаза живые. Он и это проверил, и нашел, что они на самом деле живые, заметив при этом что живые глаза были и у председателя, и у Ферапонтова, а у Ряшкова порой еще и ясные.

Прислушавшись к жалобе Холодца, что в Зарубежье по незнанию и невежеству относятся к казачеству как «к казаку донскому, казаку морскому, да портрету Тараса Бульбы», Чижиков энергично потряс головой в знак того, что его осведомленность о зарубежном казачестве в полной мере опровергает подобное легкомысленное заблуждение.

— На родину то небось тянет? — спросил он Холодца с участием и его чуть прикрытый глаз покрылся пленкой влаги.

— Как еще тянет! Не оставляю надежды, все помышляю, вот-вот дождусь и тронусь на родину. Я, как попал в Зарубежье, с первого

же года стал копить деньги на собственную лошадь и седло. Не ездить же опять на казенной, когда вернешься!

— Понятно, нет! — охотно согласился Чижиков. — Я бы тоже не ездил на казенной. Ну и что, небось, накопили изрядно?

Холодец закинул голову, залился краской в лице, поднес руку ко рту, чтобы громко и продолжительно откашляться.

— Накопить то накопил, но получился компот, — признался он, утирая мокрые глаза и проводя рукой по рыжим усам. — Не упомню, что сперва пропили, коня или седло.

Чижиков и к отцу Павлу подошел, заговорив об отцах церкви и влиянии религии на неопытные и заблудшие души, и о той болезни неверия и скептицизма, заразившей наш век. Видно было, что Чижиков остро переживал этот вопрос и глубоко скорбел от этого. Он нашел глазами в толпе Плющина и внимательно посмотрел на него, словно сравнивая различные болезни, но вернулся снова к болезни неверия, выявляя свой взгляд отцу Павлу, что в этом серьезном вопросе каждый, даже не захваченный вредным и губительным недугом, должен бороться с ним всеми доступными ему силами.

— Ведь есть же эта болезнь? Кому не знать о ней, как не вам? Не так ли?

Отец Павел слушал ни то с недоверием, ни то с осторожностью, медленно жевал губами и отводил глаза в сторону, только время от времени поглядывая на Чижикова. При слове же болезнь он оживился и перестал жевать губами.

— Как же не знать, великолепно знаю! —  
сказал он скорбно. — Меня, например, самого  
сухие мозоли мучают.

Чижиков остановился и с удовольствием по-  
беседовал с фон Мюллером, изучавшим заочно  
курс Генерального Штаба, о том, что являлось  
лелеянной мечтой зарубежного стратега: о со-  
здании седых легионов, при чем сразу же вы-  
яснилось, что столичный гость не только раз-  
деляет и поддерживает идею о создании таких  
зарубежных кадров, но и считает непоправи-  
мо-вредным их распыление т. к. прежде всего  
они важны для сохранения славных заветов  
прошлого. И опять председатель Пушкирев за-  
глянулся преданно в чижиковские глаза, жму-  
рясь от наслаждения. Но через минуту, повер-  
нувшись к Ферапонтову, которому удалось  
прервать фон Мюллера и опять упомянуть об  
устройстве нового зарубежного общества, ос-  
нованного на возрождении классов и значи-  
тельном изменении в их рядах, Чижиков жи-  
во согласился, что нельзя же все время ездить  
«в золотой карете прошлого», и что совсем не-  
вредно иной раз, хотя бы ради разнообразия,  
проехаться и в городском трамвае, при чем  
так энергично закивал головой, как при упо-  
минании Холодцем о своем решении не ездить  
на казенной лошади.

Чижиков поговорил бы и больше с фон  
Мюллером о седых легионах, но тот так увлек-  
ся историческими примерами, чуть ли ни с  
времен Ганнибала, и уже обращался не толь-  
ко к столичному гостю, но и каждому, кто слу-  
чайно оказывался около него, рассыпая во-  
круг себя фонтан мелкой слюны, так что пред-

седатель и секретарь поспешили отвести гостя подальше в безопасное место от увлекшегося стратега.

После обмена мнений о военной науке, Чижиков перешел к науке вообще, побеседовав живо и увлекательно с председательницей Литературного Кружка об облагораживающем влиянии науки на душу человека. На ее вопрос, насколько хорошо пополняются научные библиотеки Парижа и других мировых столиц, Чижиков заверил ее твердо, что пополняются они регулярно всеми новинками, оговорившись, что не может сказать о всех, а судит по двум-трем, которые он посещал постоянно, упомянув даже их названия, успев при этом подумать, а не спутал ли он их с двумя забегаловками-бистро, куда заглядывал по дороге на обед в Русский Уголок.

На вопрос председательницы, куда, по его мнению, идет современная наука, Чижиков ответил, что его знания не достаточно обширны, чтобы не только ответить на такой глубокий вопрос, но и обмениваться научными темами с такой передовой и образованной дамой.

— Позвольте мне этому не поверить, — заспешила ответить она с самой очаровательной улыбкой, на которую только могла быть способна председательница Литературного Кружка. — Вы все знаете, и еще как! Вы даже о чукчах знаете!

— Полноте, какие же это знания! — отозвался скромно Чижиков, прикрыв голубоватым веком выпуклый глаз, что всегда было признаком того, что он остался премного довolen.

Чижиков поговорил бы еще с приятной дамой, но к нему подошел боком Могиленко с опасливо втянутой в шею головой и как то не-заметно заманил его в угол, где загадочно спросил, сильны ли в высших сферах лионские братья. Чижиков внимательно вслушался в вопрос, но не спешил с ответом, соображая, о ком могла итти речь.

— Как вам сказать, — протянул он наконец, — не то, чтобы так, но с другой стороны, учитывая и прочее... Меры предосторожности на всякий пожарный случай приняты.

— Как бы не было поздно! Вероятно, совсем, как у нас, за кого они взялись крепко, а под кого только еще подкапываются...

— А под кого они не подкапываются? — пристально всматриваясь в Могиленко, живо спросил Чижиков. — Вы мне на это ответьте!

— У нас они моду ввели оперировать через электрические лампочки. Наводят оттуда мелкой сеткой частые удары. А потом показываются и сами.

— Лично? — опасливо спросил Чижиков. — Однако! У нас до этого еще не дошли.

— Дойдут, дайте время. У них есть один, главный из них, гладкий такой, с сизыми щеками, под ксендза. Поди бреется два раза в день, ходит в лаковых полуботинках... Не встречались еще?

— С сизыми щеками, в лаковых полуботинках? — Чижиков еще острее взгляделся в Могиленко, успев бросить взгляд назад, чтобы спешно отступить, если понадобиться.

— Он и есть, — продолжал Могиленко в тоне заговорщика. — Он все под меня, как вид-

ного деятеля, подкапывается. Сам не может, так последнее время стал деваху подсыпать.

Могиленко повернул тяжело шею и посмотрел на показавшуюся вдали кельнершу Зосю. Чижиков последовал движению Могиленко и так же внимательно посмотрел на нее.

— Дошли даже до этого! Что делают, а!, — заметил попрежнему осторожно Чижиков, подумав, не подошлют ли таинственные лионские братья ее и ему, и не поговорить ли по этому поводу с Могиленко, или будет лучше выбраться во время из угла. Но в это время показался стыдливо улыбающийся Митя Плющин, чтобы узнать, не вспомнил ли Чижиков имя известного лекаря, который народными средствами снимает рукой болезни. Пока Чижиков вспоминал, думая в это время о Зосе, присоединился к ним Ряшков, который, узнав в чем дело, тотчас же припомнил о знаменитом лекаре по фамилии Козодоев, прошумевшем так, что о нем писали не только в газетах обеих столиц, но даже заграницей.

— Совершенно верно, Козодоев! — воскликнул Чижиков. — Я, признаться, забыл, да вы напомнили! В Орле это было, а?

— В Бобруйске, — не мигнув глазом ответил Ряшков.

Ряшков разошелся и хотел поговорить побольше о Бобруйске, вспомнив кой о чем из старины, но через толпу пробирался Псицын, напряженно мигая глазами и поигрывая ма-клаками скул. Несколько раз за вечер, видя, что Чижиков направлялся в его сторону, он вытаскивал из жилетного кармана щеточку для усов, но все как то выходило, что высокий

гость то сворачивал в сторону, то заговаривал с другими. Когда же не было сомнения в том, что с Чижиковым он мог поговорить, Псицын скосил глаза на концы усов, распушил их, и после этого приготовления несколько раз похлопал веками.

— Какие, позвольте спросить, непосредственные цели руководящих верхов в том смысле, что они остаются по прежнему в своей сущности или же, наоборот, в том смысле, что подвергаются изменениям и вообще намечается ли, так сказать...

Чижиков выслушал внимательно и крепко подумал, то опустив голову, то вскинув ее вверх и посмотрев пытливо на потолок, словно там был готовый ответ.

— Нет, зачем же, — ответил он, оскалив при этом зубы, — как вы верно отметили, — в том смысле...

— Значит, так можно сказать, — медленно произнес Псицын, для твердости похлопав еще веками, — всецело совпадает с моим взглядом. — И он сделал рукой сложное движение, что должно было оформить его мысль.

— Абсолютно, — ответил Чижиков, подумав, не похлопать ли и ему для твердости веками.

— А какие, осмелюсь спросить, непосредственные цели вашей, так сказать, личной миссии?

Видя, что вопрос принял ясную форму, Чижиков снял очки, протер переносицу, сложил дужки, упрятав их в футляр, хлопнул крышкой, все это время обводя даль глазами с тем выражением рассеянности и отдаленности, словно сам был совсем близко от «руководя-

щих верхов». Потом, как бы опомнившись, он посмотрел на Псицына, на его строгие глаза и хорошо распущенные усы.

— Э-э-мэ-э, — промычал он, отклоняя этим несложным ответом такой сложный вопрос. Но через секунду он повернулся к Птицыну и так выразительно, в таком немом красноречии посмотрел на него, что не только тому, но и всем остальным стало ясно, что высокий гость не может в данное время говорить о предмете столь большого значения.

Чижиков сразу пришелся ко двору в Обществе и покорил всех с первой же минуты знакомства. Все согласились на одном, что столичный гость — никто не знал, каким образом это выражение укрепилось за ним! — был человек чрезвычайно широкого образования, прекрасного воспитания и самого тончайшего обращения. Он был настолько чуток, любезен и обходителен что никого не оставил без внимания. Возвращаясь из мужской комнаты, он задержался ненадолго около кухни, чтобы успеть заметить проходившей с посудой Зосе, что ее южным украинским типом должны были заинтересоваться крупные мировые художники, а кстати и записать в свою книжку номер ее домашнего телефона.

— У вас здесь положительно хорошо! — воскликнул он, вернувшись в гостиную, с особой теплотой Пушкиреву. — Какие интересные, прекрасные люди, осмыслиенные, передовые! Сколько интереса, при том самого разнообразного, а пытливости! Нет, положительно хорошо!

— Вот и остались бы здесь на веки вечные!

— отозвался Пушкирев, млея от своих слов.

— Ничего иного не хотел бы, — ответил ласково Чижиков, но вздохнув при этом. — Обстоятельства не позволяют.

— А вы их того, по боку!

— Ничего больше не хотел бы! — повторил Чижиков с еще большим вздохом.

— Право, остались бы, — умоляющим голосом сказал Пушкирев, складывая руки как на молитве. — Это было бы вечным праздником для нас всех, именами нашего Общества...

— А вот и наоборот! — живо отзывался Чижиков, — это был бы праздник для меня! Быть постоянно среди таких прекрасных, сердечных людей, помилуй Бог, кто мог бы желать лучшего! Но, — его лицо изменило выражение, а выкаченный глаз опять зашел за ресницы, — я ведь в служебной поездке. Такова моя судьба бедного, как говорится, еврея, только найду прекрасное общество, замечательных людей, приятных по сердцу, с которым делается так тепло с первого же момента, и сейчас же приходиться покидать их!

— Служебная поездка по делам Зарубежья?

— невинно спросил Пушкирев.

— А что же иное могло бы быть? — ответил ему таким же невинным вопросом Чижиков.

— Я, видите ли, — он замялся на мгновение, словно прикидывая, стоит ли говорить об этом, или еще только придумывая, что сказать, — с обзором, изучаю некоторые вопросы на местах Нащупываю, так сказать, слабые места и тогда действую в соответствии с обстановкой. — Он остановился и невольно задумался над своими словами. — По каким моим данным мне это

поручено, не знаю! — скромно закончил он и его глаз опять прикрылся нависшим веком.

— Ну, как по каким! Пожалуй во всем Зарубежье нет человека более достойного по чинам и по знаниям.

— И вовсе нет! — воскликнул Чижиков, выкатив голубоватое глазное яблоко и задрав в улыбке край рта так, что показался ряд крепких зубов, ведущих к хорошо развитому зубу мудрости. — И ни чинов, и ни знаний! Это вы по доброте своей.

— Позвольте мне не поверить относительно чинов и знаний, у вас то их достаточно на несколько человек.

— Что вы, полноте, повторяю, это вы так по доброте своей, — повторил Чижиков, став вдруг серьезным и печальным, как при разговоре о балалаечных оркестрах и о славе, пожинаяемой другими. Он оставался задумчивым некоторое время, отведя в сторону глаза. Когда он посмотрел на Пушкирева, тот заметил, что взгляд Чижикова был не в меру грустен и задет влажной пленкой.

Чижиков заговорил о многих превратностях жизни, о том, что частенько был на коне и под конем, но все житейские трудности никогда не удручили его, он их принимал стойко и терпеливо, как полагалось порядочному человеку и гражданину. Не тревожило его и то, что его обходили по службе. Будучи скромным, он всегда уступал тем, когоставил более достойным. Все это он считал в порядке вещей, но его глубоко задевала человеческая несправедливость, неблагодарность и безучастие, и не только в отношении себя самого, как в отноше-

нии других. Отчасти это касалось и его самого, так как именно из за этого ему и пришлось много перестрадать в одиночестве, что и побудило оставить выгодные дела и прекрасную службу, чтобы посвятить себя бескорыстно и целиком служению людям: молодым и неопытным — в качестве старшего собрата; старшим — слугой и помощником. Все это он делает без всякого личного интереса, исключительно по призванию и порыву души. Божья правда всегда берет верх, вот может быть поэтому, несмотря на зависть и козни его недоброжелателей и врагов, на него обратили внимание высшие сферы, и теперь он, так сказать...

— Божья правда всегда выведет! — воскликнул с жаром Пушкирев, осеняя себя крестом.

— Выведет, как Бог свят!

— Так видите, как у меня! Я никогда об этом не говорю, но здесь, встретившись с вами, прощите, как то само по себе вылилось, расчувствовался! У каждого есть свое сокровенное, о чем можно поведать только близкому, родной, так сказать, душе.

Они поднялись, любовно заглядывая в глаза и держа друг друга за локти. Неизвестно, как долго они стояли бы там молча, тая от взаимной любви, если бы Коля Усов не просунул бы своей головы — в который уже раз!, усиленно приглашая их присоединиться к группе членов правления, застоявшихся у его стойки в ожидании столичного гостя.

Когда все придвинулись ближе к буфету, Чижиков, оглядев всех теплым взором, заметил, как было бы чудесно встречаться каждый вечер в такой приятной, сердечной компании.

Как было бы приятно, заметили на это и остальные, поглядывая на Чижикова теплыми взорами.

— Ну, за любимую женщину! Пригубьте, ваше превосходительство!

— Ныряй, кто может! — крякнул Молибога, но тотчас же осекся при виде важного гостя.

— Итак, первую за дам, по святой традиции! — воскликнул Ряшков, бегло оглядывая блюда с закуской в предвкушении чем бы закусить под вторую рюмку.

Все подняли рюмки и выразительно посмотрели на Чижикова.

При виде такого симпатичного объединения балалаечный оркестр бойко грязнул «Что мне горе». Чижиков осторожно взялся за рюмку и пытливо посмотрел через нее на свет, словно приглядываясь, что это могло бы быть.

— А чем они у вас тут занимаются? — спросил он, пропустив по первой и теперь, склонив голову, высматривал, чем бы ему закусить.

— Щетоводством, главным образом, — ответил Ряшков, шевеля в воздухе пальцами и делая пригласительное движение Коле Усову повторить.

— Что же, — поинтересовался Чижиков, пронося по второй и прикидывая на вилку скользкий груздь, — дела крупные ведут или бухгалтерия так высоко поставлена?

— Какое, — ответил Ряшков, тараща глаза, полные слез от густо помазанного горчицей пыжика. — Не дела, а вроде казенной службы, при том и наука такая у наших академиков-щетоводов.

— Наука?

— Это у них не от слова счеты, а от щетка. Щетками водят, коридоры и конторы чистят, вот и щетоводы. Звучит солиднее, чем уборщики, — заметил Молибога, крякнув от удовольствия, что так хорошо объяснил.

— А при чем же ученая степень? — задал вопрос Чижиков, берясь более уверенным движением за рюмку. — Вы сказали, что они — академики щетоводы.

— Академики и есть! — отозвался Ряшков, опять шевеля нетерпеливо пальцами в воздухе, — сперва надо пройти академию.

— Академию джаниторских наук, — опять пояснил Молибога. — Место такое, через которое проходят для науки уборщики или, как бы сказать, щетоводы. У нас ведь как: ежели ты не щетовод, то на тебя и смотреть странно!

— Ну и что же, — продолжал допытывать немало изумленный Чижиков, пропуская еще одну, — щетоводство и все?

— Какое! — опять отмахнулся Ряшков, нахромождая на пыжик добрый кусок сельди и огурца. — Это только случайно, между делом, по ночам, главным образом. Не больше восьми-десяти часов. Главная же у нас работа — общественная нагрузка. У нас ведь заседают почти что каждый вечер. А в промежутках лепят пельмени в шестьдесят пар рук.

— В шестьдесят! — присвистнул Чижиков.  
— Это что же, выгодные интендантские поставки?

— Какое, — продолжал Ряшков, принимая крепкой рукой графин от Коли Усова. — Исключительно ради внутреннего, домашнего, так сказать, потребления.

— У нас здесь целое поколение, своя золотая молодежь взращена на пельменях, — заметил не без гордости Псицин, похлопав веками, но уже без прежней строгости.

— Для старших это важно, чтобы не отходить на чужбине от славных заветов прошлого и коренных устоев русского народа.

— Совершенно верно, — живо повернулся к Пушкареву Чижиков. — Как же можно жить без коренных устоев! Нет, просто поразительно, как у вас здесь все налажено! В шестьдесят пар рук, а?

— Последнее время стало не хватать, не успевают справляться.

— А скажите, — Чижиков поставил взятую было рюмку на стойку и сразу принял озабоченное, даже скорбное выражение лица. — Скажите, если так широко поставлено, как, например, с пельменями — между прочим, ни о чем подобном я в жизнь не слышал! — но если так, говорю, широко, то поди и пьют того, а?

— А у нас кто как: одни пьют, а кто еще только выпивает.

— Хм! — воскликнул Чижиков, подумав о тончайших оттенках русского языка.

— Мало того, — вступил Ферапонтов, у которого ради ясности все разбивалось на различные плоскости, — и те и другие делают это в два этапа.

— Как же это так?

— Сперва просто пьют или выпивают, а потом особо.

— Это для чего же?

— Для осажэ.

— Это что же, что то французское?

— Какое, — отмахнулся рукой Ряшков, — просто для осадка, чтобы отряхнуться, осадить после еды и выпивки. Отсюда и есть осажэ.

— Нет, просто поразительно! — воскликнул Чижиков. — Такая продуманность и налаженность во всем, просто нельзя не поразиться! Знаете, высшие сферы, э-э-э, Главный Центр и прочее давно приглядываются к подобной группе, как ваша. Все, что для этого нужно, — он остановился, чтобы пропустить еще по одной рюмке и похрустеть на крепких зубах куском упругого огурца, — все, что, говорю, нужно для этого только связаться вплотную с ними.

— Да? — воскликнул обрадованный председатель. — И это возможно?

— Да еще как! — Раздобрев после седьмой или восьмой рюмки, Чижиков уже не знал как угодить своим новым друзьям. — И, поверьте, они, т. е. тот же Центр и высшие сферы просто не нарадуются, найдя такую группу, как ваше Общество. Тогда такое получится, что и сказать трудно, и повышения, и производства... Все из одного рога изобилия.

— Да, ну? — ослабился Молибога. — Это — поздравительно! У нас многие, да и они, — показав головой на Пушкирева, — добиваются производства. Которые говорят, что по выслуге лет должно выйти, — он передохнул, чтобы набрать еще больше морщин на лбу и посмотрел на председателя, внимательно слушавшего его, не знаю, куда тот клонил, — а которые спорят, суждение свое имеют, — Молибога махнул головой на группу, стоявшую поодаль,

и Пушкарев, прицелившись остро глазом, пронзительно посмотрел на них с полминуты, — что у нас в Зарубежье нет выслуги на чин. а есть только одна выслуга, туда...

— Куда же это? — полюбопытствовал Чижиков.

— А вот куда: в землю.

— Пустое, — сказал Ряшков, — не слушайте старика, он у нас иногда бредит. Может быть для кого угодно, но не для нашего брата здесь. Старик у нас того...

— Согласен, согласен, тысячу раз согласен, что для кого угодно, но только не здесь, не в вашем приятном обществе, — с жаром заговорил Чижиков. — Что вы, что вы — туда! Когда здесь так много работы, общественного горения, когда эти работники охвачены неутомимым пылом этого благородного служения! Можно ли допустить, даже в мыслях!, что начальство не наградит таких людей!

— Ах! — воскликнул совсем обрадованный председатель, — если бы только можно похлопотать! Вот осчастливили бы нас, Аполлон Александрович.

— Наоборот, я был бы счастлив, обратив внимание высших сфер на ваше Общество. Но уже обращено, обращено, заверяю вас.

— Уж так осчастливили бы, — повторял председатель, прижимая к груди сложенные руки и лоснясь от сияния, — так озолотили бы... Такая заслуга!

— Полноте, — отозвался Чижиков, прикрывая глаза, — какая же заслуга! И без моего скромного участия начальство рано или поздно сделает то, что следует.

— Сделает то сделает, а во время доложить, обратить внимание...

— Обращено, обращено, — живо отозвался Чижиков, заглядывая в сияющие глаза председателя, — еще как обращено!

После того, как все поднялись наверх, члены Общества отметили в Чижикова, кроме других прекрасных качеств, и скромность, эту редкую в наше время добродетель. Особенно ярко выявилась она в биллиардной, куда перешли все от стойки Коли Усова.

От игры Чижиков долго отнекивался, ссылаясь на то, что при занятости и службе ему было не до этого, так что он даже забыл, каким концом надо держать кий. Но его все же уговорили и он подошел к биллиарду.

— Давненько не держал я в руке кия, — сказал он с заметным сожалением, в то же время пройдясь по нему мелком таким профессиональным винтом, что даже у Ферапонтова, несмотря на всю его ясность, зародились сомнения, а Ряшков, оробев от одного зрелища, повторил нерешительно: давненько не держал и я!

Кроме скромности Чижиков показал и тонкость понимания, касающейся различных степеней и рангов: науку, нигде, пожалуй, так высоко не поставленную, как в России, одинаково старой и новой. Он сразу же проиграл партию Пушкареву, после чего даже отложил в сторону кий, как предмет совершенно излишнего старания перед таким мастерством. В игре же с Ряшковым оба, как по говору, показали робость и нерешительность, заметную только у новичков. В игре же с Головковым

как то вышло само по себе, что столичный гость разыгрался так, что тому пришлось три раза под ряд кидаться, чтобы нырнуть под биллиард. Но Чижиков, поглядывая на его тугу налитые кровью щеки, каждый раз говорил, «не затрудняйте себя!», и публика, собравшаяся посмотреть на гостя, поняла, что только в провинции, с ее остатками грубых нравов, возможен такой обычай, как пролезание под биллиардом, но что в столице, где человека уважают и отводят ему соответствующее место — совсем, конечно, не под биллиардом! — такого унижения личности, пусть даже он проиграл, не допускают.

Так в знаменательный день своего первого посещения Общества Чижиков успел познакомиться со всеми, осмотреть помещение, заглянув в каждый угол, угадывая особым чутьем, сколько времени надо постоять с одним и как послушать его, глядя прямо на него или повернув голову то на одну, то на другую сторону, а в некоторых случаях, по пушкиевски, кладя ее от напльва чувств совсем на плечо. Он то снимал очки, задумчиво протирая стекла и трогая переносицу, и смотрел поодаль выкаченными глазами поверх других голов, с тем однако выражением, которое говорило его собеседнику, что он не только взвешивает каждое его слово, но и глубоко вдумывается в его смысл; то подойдет сразу же смеясь — «так забавно, что невольно смеешься заранее», или от своих собственных мыслей, невысказанных, правда, но о которых легко догадаться.

Прохаживался он не спеша, для всех одинаково ровно, но с теми глубокими различиями,

которые выделили его так выгодно, как человека столичного, светского, и сразу же укрепили за ним положение высокого официального лица, путешествовавшего по важным общественным делам. Его тащили нарасхват то в гостиную, к дамам, то опять в биллиардную, то в «малую шуллерскую», а Коля Усов несколько раз озабоченно бегал наверх для разведки, и шумно передвигал столиками в «детской», чтобы заманить высокого гостя и других на ужин.

Но Чижиков все еще двигался, совсем как почти его однофамилец сто с лишним лет тому назад, с той только разницей, что у него не было той походки, которая отличала Чичикова — дробной, с вздрагивающими ляшками, которой ходили тогдашние мышиные жеребчики, да еще и тем обстоятельством, что это был не бал губернатора и вместо шестнадцатилетней губернаторской дочки, косвенной причины чичиковской гибели, была темноокая и темноголовая Зоя из ресторана Коли Усова, которая при виде спускавшегося опять по лестнице Чижикова и особенного выражения его слишком выразительных глаз, бросилась на шею своей подруге, чтобы в неудержимом порыве внезапного счастья воскликнуть: «он хочет меня, как сна холубого!»

## VII

### ВРЕДЕН ЛИ КУПОРОС?

Чреватая последствиями встреча Чижикова с Корявко произошла вскоре после первого знакомства с Зарубежным Обществом. Произошла она между лестницей, ведущей вниз в ресторан, и карточной комнатой.

— У меня так,— прохрипел Корявко после первых же слов знакомства, — если нет собрания, то мое участие в общественной работе сводится к тому, что подняться то я поднимусь по лестнице, а дальше охватывает отышка и я могу добраться только до малой шуллерской. Так неудачно внутреннее расположение этого дома, что мимо никак не пройдешь! Кроме того врачи прописали мне мочион, и я хожу туда, тасуешь, сдаешь, все же движение пальцам. Прошу, — показал он на дверь. — А как сяду, так и сижу до закрытия.

Но на этот раз вышло так, что Корявко встал задолго до этого часа.

— А премилая комната, — заметил Чижиков, оглядывая карточную, словно видя ее впервые, но чувствуя себя как цирковой конь

на арене, готовый при первых же звуках вальса начать вытганцовывать вензеля. — Как приятно обставлена, удобная мебель, хорошо подобранныя по вкусу. Здесь, действительно, можно отдохнуть, сосредоточиться, поразмыслить о многом!

Всегдашние заседатели этой комнаты оглядели ее, словно видя впервые три круглых стола, покрытых вылянившим зеленым сукном, венские стулья, одинокую вешалку в углу с забытой шляпой рассеянного игрока, и нашли, что комната, действительно, премиальная и мебель подобрана по вкусу.

— Давненько не держал я в руках карты, — сказал ласково и словно с сожалением Чижиков, распределяя перед собой стопки костяшек и сразу же остро прищуриваясь.

— Давненько не держал и я, — повторил Ряшков, не без некоторой робости в голосе, припоминая игру с Чижиковым на биллиарде.

Корявко тяжело скрипнул стулом и пытливо посмотрел на них. Ферапонтов провел несколько раз энергичной рукой по ежику головы и так же посмотрел на Чижикова.

— Давненько не играл бы и я, — прохрипел Корявко, — если без работы не затекали бы у меня пальцы.

После этого скучного обмена слов наступила полная тишина, нарушаемая только изредка короткими восклицаниями. Продолжалась она долго, так что, действительно, можно было сосредоточиться и поразмыслить над многим.

— Что это я слышу у вас, — заговорил Чижиков, щурясь от табачного дыма и разворачивая мелким веером карты, — такие живые

люди, и что то замышляют о родных могилах?

— Странно звучит, но все это от избытка жизни, — заметил Ряшков, разворачивая еще более мелким веером карты.

— Пустое, — прохрипел Корявко, относя это одинаково к разговору и к своим картам.

— Все дрянь. Ну, как, прикупаете?

— Да, верно, — сказал задумчиво Чижиков, рассматривая внимательно карты, — что с мертвых толку!

— Для меня это давно было ясно, — отозвался Ферапонтов, — но в порядке обсуждения почему же не заслушать?

— А что поговаривают у вас о какой-то русской деревне и теремах? — спросил опять Чижиков после долгого молчания.

— Пустое, — отозвался Корявко, — у нас народ каждую весну с ума сходит, бесится. Не спит, не ест, только заседает в общих планах, как ему сесть на землю. Потом отходит до следующей весны. Пустое, не слушайте их. Ничего не выйдет.

— А почему же не выйдет? — спросил Чижиков ласковым голосом, придвигая к себе с середины стола кучу костяшек. — Почему же не выйдет?, — повторил он после долгого молчания, прерываемого вздохами и сопением Корявко и шелестом костяшек, так же ласково, то ли от того, что «внутренний кабинет малой шуллерской» был ему мил, то ли от того, что загребнув кучу костяшек, было приятно раскладывать их столбиками по цвету.

— А потому не выйдет, — прохрипел тяжело Корявко, заметно синея в лице, но проворно,

сразу по две, раскидывая по игрокам карты, — народ не солидный, мелкотравчатель.

— Такой, что к четверке не прикупает, — пояснил Ряшков.

Чижиков вздохнул, он уже слышал это выражение, но теперь оно глубже задело его. Он опять сощурил глаза, привычным движением приоткрыл карты и вздохнул еще раз, то ли думая о мелкотравчности, то ли оттого, что карта пошла дрянная.

— У нас тут каждую весну бесятся, Ферапонтов знает, да и Ряшков подтвердит. Все думают, подперев кулаками головы, как бы сесть на землю, обрастись хозяйством, сирень, черемуху понасадить, парники устроить, под яблоней чай пить.

— Что же, мысль не плохая, у нас у всех тяга на лоно природы. Давно, давно мы перестали быть кочевниками, за многие тысячелетия привыкли к земле.

— Да еще как привыкли! — воскликнул Ряшков. — На что я крепкий и огнеупорный, а и то весной сдаю, все мне что то не по себе, что то расстраивает, на посторонние мысли отвлекает, знаю, что старая кровь помещиков говорит...

— А что же они у вас, хлебопашцы и вообще сельскохозяйственники?

— У нас народ на все годный, — заметил твердо Ферапонтов, — и сеять, и жать...

— Больше последнее, — вздохнул Корявко.  
— Ну, что у вас? А у меня вот что! Тяга на землю у нас весеннее поветрие, заразная эпидемия своего рода... Желание то сесть на землю сильное, а до сих пор ничего не выходит

Некуда сесть, что ли! А знаю я один пустырек, знаю... Кому сдавать?

Чижиков поднял голову и пристально посмотрел на Корявко. Не известно от чего, то ли от наступившего молчания, то ли от того, что за окнами шла ранняя весна, но он невольно задумался и с той минуты стал играть рассеянно. Думал ли он о своих новых знакомых, к которым никак не шло упоминание о мелкотравчатости? Наоборот, говорил он себе, приглядываясь, но уже без прежнего интереса к вееру карт, это замечательно кипучие люди, даже если они и обсуждают на своих собраниях вопрос о родных могилках, но нельзя не согласиться с авторитетным мнением Ряшкова, что это просто от напористости жизни. Прекрасные люди хотят сесть на землю, каким образом, безразлично!, у них есть страстное желание, пусть это весенний недуг, но почему же не продлить его на три других сезона!

Чижиков так увлекся этими мыслями, что совсем потерял интерес к игре. Когда же заметил, что накопленные столбики костяшек стали заметно таять, он под предлогом занятости и желания еще ближе познакомиться с таким прекрасным Обществом, не только сам вышел из игры, но и увлек с собой Корявко.

Еще в дверях карточной, перед началом игры, Чижиков выразил желание короче познакомиться с Корявко, а теперь, после нескольких его скучных слов, он знал, что это даже необходимо. Поразительно, думал он, наблюдая, как Корявко, хрипя и почти не передвигая ногами, самотеком шел к просторному креслу в гостиной.

Не тратя лишних слов, Чижиков сразу же перешел к деловому разговору и самым обстоятельным образом порасспросил Корявко о том, каково положение на местном рынке, каков учет векселей и какая допускается кредитность, каковы спрос и предложение, не душат ли налоги и не наблюдается ли большой затоваренности. Все это Корявко прослушал внимательно, закрыв глаза и только время от времени тепло, одними белками, поглядывая на потолок, радуясь тому, что нашел в Чижикове делового и понимающего человека. На все вопросы он ответил так же обстоятельно, что положение на местном рынке подходящее, на учет жаловаться нечего, что кредитоспособность по силе, и что хотя и наблюдается некоторая затоваренность, но даже и при ней иной раз можно взять чистой пользы бах-на-бах!

— Ах, вот как! — воскликнул Чижиков, — бах-на-бах!

Он придвинулся к нему, любуясь им, словно никогда не видел более прекрасного человека. За этот короткий вечер его чувство к Корявко возросло от простого любопытства до неподдельного восхищения. Ах, что за золотой человек Корявко, что за голова, что за делец, если даже при затоваренности умудряется брать бах-на-бах!

После делового вступления Чижиков расчувствовался и готов был порассказать о том, как перестрадал в жизни, но Корявко опередил его и сам рассказал, как много перенес от людей, от людской неблагодарности, после чего, казалось бы, давно пора перестать помогать людям, но по своей кротости и человеколюбию

сжился с несправедливостью, хотя и не перестает тайно страдать от нее, давно простили своим врагам и теперь неукоснительно занят только тем, что продолжает делать добро и бескорыстно помогает людям, хотя они этого не ценят, а то что не заслуживают, так и говорить нечего, а сколько среди них дряни, так просто деваться некуда и только надо поражаться, как их терпит Господь Бог! Но постольку, поскольку это его христианский долг, он будет продолжать, хотя и страдая, свое добре дело.

Чижиков живо откликнулся; что никому другому так не понять его, как ему, и что в справедливых словах Корявки он с горечью узнает не только свои собственные мысли, но и самую евангельскую истину. Но правда всегда восторжествует, надо только не переставать, даже страдая, продолжать свое святое служение людям, пусть черствым, неблагодарным, завистливым, а о том, что среди них сплошная дрянь, так и говорить нечего. Дрянь на дряни и дрянью погоняет, об этом не может быть даже двух мнений, но все же ничего нет более достойного и святого, как именно это бескорыстное, жертвенное служение. Сказав это, Чижиков выкатил голубоватый глаз, подернув его пленкой влаги, и устремился на минуту задумчиво вдаль.

— А как насчет ваших коллег, замечательные люди, а? Председатель, Ферапонтов, Ряшков, старик еще такой живой, который всему удивляется.

— Дрянь такая, что не приведи Господь, — сказал Корявко, кротко уставивши белки в потолок. — Только и думают, что о себе.

— Вот видите! — вздохнул Чижиков с сожалением, что только и осталось не дряни, что он, да Корявко.

Они еще поговорили тепло и участливо о людях и о своем служении им, без которого их жизнь была бы пустой и лишенной не только смысла, но и того высокого задания, ради которого они живут.

— Служить то служить, — сказал Корявко задумчиво, — но только не тем, от кого я особенно тяжело пострадал!

— От кого же это? — участливо спросил Чижиков, заглядывая в его кроткие белки.

— От скотопромышленников, — прохрипел Корявко, начиная сразу же меняться в цвете лица.

— Как же это так?

— Хотели они устроить загон для скота, — так начал свою печальную историю Корявко.

— Рассказывать ли дальше, или тяжело слушать?

— Если вам не тяжело рассказывать, — отозвался участливо Чижиков, — мне не тяжело слушать. Прошу. — Он уместился удобнее в кресле, сложил руки на животе и прикрыл глаза.

— В одном месте, милях в восьмидесяти с лишним отсюда, группа крупных предпринимателей хотела устроить скотозагонный пункт. Об этом не писалось в газетах, но кое какой шум был. Я прослышал об этом стороной, поговорил с женой и свояченицей, съездил осмотреть места... А сказать так: не то, что места сильно скучные, но в земле щелочь или купоросный сток, лишай, да ржавчина. Есть и тра-

ва, но лучше, чтобы ее совсем не было, смотреть, говорю, смертную скуку нагоняет... Привлекательного мало, но для скота по пути на бойню не до любования красотой природы. Вернулся домой, еще в поезде подсчитал что-на-что, навел сразу же справки. Слыши, предприниматели уже сели в поезд, готовы выехать. Поехал и я, чтобы опередить их...

Корявко остановился, чтобы передохнуть от тяжелого воспоминания, уже совсем голубой в лице.

— Конечно, опередили?

— Опередить то опередил, скупил всю землю, сколько ее там было, и вот до сих пор жду, когда скотопромышленники доедут и начнут со мной разговор о перекупке земли.

— И давно это было?

— Как раз об эту пору тринадцать лет.

— Да-а, — сочувственно протянул Чижиков, — с крупными делами это случается! Ждешь одно, лелеешь мысль, как мечту о любимой женщине, если позволите мне так выразиться, а выходит совсем наоборот. А иногда и к лучшему поворачивается. Так тоже бывает!

— Не знаю, — прошептал зловещим шепотом Корявко, став мертвенно-зеленым. — Ничего не могу сказать. Знаю, что не донес.

Внизу, в ресторане, балалаечники живо ударили по струнам «Что мне горе», из биллиардной, сквозь треск шаров, донесся звучный голос Ряшкова — «знаю я твой кий-самоклад!». На чердаке с непередаваемо унылым сожалением свистело в слуховых окнах. С глухим протестующим шумом клокотала вода в уборной под лестницей.

— Так и не прибыли? — участливо спросил Чижиков, наполняясь глубокой симпатией к Корявко.

— Нет, — ответил слабо Корявко. — Не знаю, что вышло, путь ли разобрали, а то, поди, состав еще не успели подать.

— Тринадцать лет назад, а? — и Чижиков крепко задумался над тем, что могло бы быть, на самом ли деле разобрали путь или просто задержка с подачей состава. — Не об этой ли земле вы давеча упомянули в карточной, называв ее пренебрежительно пустырьком? — осторожно спросил Чижиков, подвигаясь ближе и пытливо всматриваясь в сонные веки Корявко.

— Об этой, — прохрипел Корявко. — Именно об этой. Ни о какой другой не знаю.

— И много ли в ней этого самого, размером большая ли? — так же осторожно продолжал допытываться Чижиков.

— Пустошь обширная, что кабинетные земли. Десятин тысячи полторы с лишком будет. Да и лишек подходящий!

— Тринадцать лет, а? — со вздохом проговорил Чижиков, отвечая на свои мысли. — А почем, примерно спросить, такая пустошь могла бы пойти в звонкой монете?

— Почем, а? Кому нужно, то с руками по сорок монет за десятину дадут.

— Тринадцать лет, а! — вздохнул Чижиков. Он встал и стремительно подошел к окну. Отодвинул портьеру и, заслонив глаза ладонями от света, всмотрелся на улицу, на парк на другой стороне ее, на еще голые ветви деревьев, и над ними на ярко вымощенное весенними

звездами небо. Он прислонился к холодному стеклу лбом, вздохнул глубоко, словно через его толщу чувствуя прекрасное дыхание весеннеи ночи. Ах, весна, весна, что только не делаешь ты с душой русского человека! Как влечешь ты его, куда — он и сам не знает, как тревожишь его сердце и душу, заполняя их чувством, которого нельзя ни понять, ни побороть! Как прекрасна ты своими смутными предчувствиями, томлением и беспокойством, твою юностью и радостью! Как хорошо и как тревожно думается в твою бередящую пору, как легко складываются слова, рождаются мечты и надежды, как все ладно и радостно становится на душе! Ах, если бы только и жить в эту прекрасную пору тобой и ради тебя, со всем тем, что ты, ранняя весна, так мощно и щедро несешь с собой!

— Так значит тянет ваш народ на землю, — с трудом отрываясь от окна и поворачиваясь к Корявко, сказал медленно и раздельно Чижиков. — Только нет возможности людям сесть на землю. Какая печаль, какая скорбь и безвыходность! Нет земли, а, подумать только! За этим остановка. Люди чахнут, хиреют в городе, а у человека есть кабинетные земли в полторы тысячи десятин, да лишку сотни на две, а он молчит, не хочет даже поделиться хотя бы словом со своим добрым другом! Хорошие люди не едят, не спят, ломают свои бедные головы, как бы им выбраться на простор, а он молчит, словно набрав в рот воды! Нет, вы меня извините, тысячу раз извините, дорогой, не понимаю вас и прямо скажу — сердит на вас, и разговаривать с вами не хочу, знакомство вот сей-

час порву. Так черство поступать с добрыми друзьями, доверившимися вам!

Когда Чижиков успел стать добрым другом Корявко и сам не знал, но он на самом деле пришел в расстройство чувств, постояв только немного у окна и посмотрев на прекрасную весеннюю ночь под чистыми звездами.

— Не хорошо, я сказал бы больше, есть такое точное слово, но удержусь, удержусь только во имя нашей старой дружбы, но вот сейчас встану с места и уйду, не попрощавшись. И никогда больше не увижу вас с вами, и на ваш званный обед не приду, как ни зовите, так и знайте, что все между нами порвано, конец нашей дружбы, с корнем вырву...

— Да земли того, — кротко заметил Корявко, приоткрыв глаза и соображая, когда он успел пригласить Чижикова на обед.

— Что же это — того? — нетерпеливо воскликнул Чижиков.

— С купоросом.

— Что из того, что с купоросом, когда прекрасным людям во что бы то ни стало хочется сесть на землю! Что из того, когда их охватила старая тяга, когда они боятся в весенней лихорадке, не зная, выживут или нет. Подумать только! — загорячился опять Чижиков, — у человека кабинетных земель некуда деваться, а он ни слова об этом. Знаю я об одном пустырьке, и все! Нет того, чтобы подумать, что несчастным людям тесно в городе, что он их давит своим камнем и бетоном, отправляет запахом газолина и угля, что эти чахлые, изможденные люди задыхаются в трамваях, поездах, на запруженных толпой улицах, что этим бед-

ным людям на самом деле негде сесть, негде построить свою русскую деревню, понаставить верстовые столбы, собрать воедино родные могилки!

Чижиков быстро прошелся по пустой гостиной, накатив на голубой глаз рыжеватые ресницы, затем повернулся к Корявко и заговорил уже другим тоном.

— А по сколько вы говорите десятина?

— По сорок монет, если есть крепкая нужда, можно всегда взять.

— По сорока? Ну, это что то дороговато. Для хороших людей и скинуть можно, хотя бы по четвертаку. Но если много, — поспешил добавить он, — если понесете большой убыток, то скиньте по гривеннику. Достаточно будет по тридцать девять девяносто. Сколько же это будет?

Он посмотрел, прищурившись, на потолок, пошептал губами, сколько будет, подумав, что для легкого счета лучше не скидывать.

— А что будет, если эта земля сойдет с рук, перестанет навевать тяжелые воспоминания?

— То есть, какая польза тому, кто сумеет продать ее? Обычно от пяти до десяти процентов, как всюду... Но в таком деле, просто в отместку скотопромышленникам, можно дать и по двенадцати...

— Это что же, купоросную землю и по двенадцати процентов комиссии!? Нет, извините! Продать землю с купоросным стоком, без травы или с такой травой, что лучше, если бы ее не было вообще, этим симпатичным, доверчивым людям! Ну, нет, еще раз извините, я не проехал эти тысячи миль, чтобы узнать, что

кто-то продает хорошим людям купоросную землю! Зачем же мне принимать участие в этом тяжелом деле, брать грех на незапятнанную душу? Мало я страдал в жизни, не хватит с меня? Это по двенадцать процентов-то! Просто не слыхано. Я понимаю, у этого вашего симпатичного народа тяга неудержимая уйти от страдания в природу, на пустошь, на свежий воздух, подальше от суеты и забот. Я понимаю этих людей, тоже, поди, настрадались. Но поймите и меня, зачем же мне страдать ради этих несчастных двенадцати процентов!

— У них от другого. Их весна бередит, не дает им покоя. У нас, ведь, как: чуть пригреет солнце, чуть начнет пробиваться трава, слабый лист зашевелился, щепка и прочее, уму непостижимо, что делается тогда с ними! Каждый год в эту пору одно и то же. Хоть какую сыворотку для прививки изобретай!

— Зачем прививку?! Хороших людей надо уважить, у меня такое впечатление, что лучше и не может быть, замечательно сработанная, энергичная группа. Может быть слегка в годах. — Чижиков сострадающе двинул вперед челюстью и вытаращил один глаз, — но ведь от возраста опыт, умение, знание, как взяться, что сделать. Вот, например с землей, — он опять с жаром подвинулся к Корявко, — отчего же не помочь им в их страстном желании? Может быть люди, опытные в других делах у себя на собраниях, но не здесь. не в таком деле, просто не знают, как подойти. Тут то и требуются такие, как, например, мы, готовые жертвовать всем ради пользы общественного служения. А может так выйти?

— Если дойдут в полный раж, может быть что нибудь и выйдет, — задумчиво проговорил Корявко, опять принимая нормальную окраску лица. — Если дойдут, то почти наверное...

— А что нужно, чтобы дошли?

— Градус такой, наивысшее растворение воздухов, чтобы весна не только ударила им в нос, а зашатала, мозги им последние сотрясла...

— Градус, а? Как интересно природа действует над человеком, даже и не поймешь! Вот, говорят, царь природы, или это только о львах! Не важно, иногда влияние солнечных лучей играет большую роль даже в деловых сделках. Тепловые удары и прочие загадочные явления природы... Знаете что, о разделе, или как вы говорите о пользе, мы не будем сейчас говорить. У приличных, честных дельцов это на последнем месте. На первом — служение хорошим людям. Не так ли? А вот что скажите, — забеспокоился он, — есть ли у них средства?

— Это то есть, если не на все, то на хороший задаток. А если не было бы, дома бы заложили, жен и детей загнали бы...

— Ну, тогда все хорошо, — успокоился Чижиков, но через минуту тревога опять охватила его. — А, скажите, купорос не вреден ли для здоровья?

— Для вашего? — живо отозвался Корявко, приподнимаясь на кресле. — Для вашего очень даже невреден!

— Ну, в таком случае все отлично, — так же живо ответил Чижиков, вздернув край щеки так, что показался отлично сформированный зуб мудрости.

Чижикову поведали историю дома, в котором помещалось Зарубежное Общество. Это был солидный дом, из тех, что были модны в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия и являлись гордостью и украшением города. Он много сохранил от своего прошлого великолепия и выглядел наспленно-важным, совсем вероятно так, как выглядели его важные хозяева.

Затем, как это обычно водится, наследники их пришли или в упадок или потеряли вкус к нему, и старый дом ко времени замены карет автомобилями завершил свою славу, и в городе, в погоне за веком сменившим свою личину, стал выглядеть обрюзгшим стариком.

Но по таинственному ходу судьбы слава не оставила старый дом. Новый расцвет, и с ним новая слава начались с появлением новых жильцов. Большой, отдающий гулким эхом дом сразу пришелся им по вкусу: в нем были высокие окна, большие комнаты, высокие потолки, что давало достаточно воздуха и простора, столь необходимые для этих кипучих, полных жизнью людей, привыкших у себя на родине к безграничному пространству.

Постепенного перехода от гулких пустотой комнат до бывшей ключем жизни никто не помнил, да и никто не думал, что такой переход вообще мог быть! Казалось, что все населилось само по себе, и населилось вдруг: въехали новые жильцы, сколько числом, неизвестно, но дело не в числе, а в качестве и характере; сам по себе появился Коля Усов, оказавшийся неплохим буфетчиком и ресторатором, обманув тех, кто вначале считал, что он своим

унылым видом и брезгливо выпяченными губами разгонит публику. Сам по себе появился биллиард, а вслед за ним, в отличие от большой — «малая шуллерская», с которой читатель уже успел познакомиться. В это время или несколько позже появились балалаечники, но никто не помнил, как это вышло, хотя Ряшков и настаивал, что достал их со дна морского. Существовавшее в скромных рамках до своего переезда на новое место, Зарубежное Общество значительно расправилось, дало заметный рост вширь и вверх и расцвело полным цветом. Оно обогатилось секциями, подъотделами, кружками, кассами, комитетами, заполнив почти весь состав Общества официальными должностями. Относительно же числа ординарных членов, не занятых должностями, трудно сказать, сколько их было, и даже рассказывали, клянясь при этом, что правда, как иногда во время заседаний непоседливый секретарь срывался с места и выбегал на парадное крыльце посмотреть пытливо на небо, не свалится ли часом оттуда парашютист.

Въехав в первый этаж и пустив в подвал Колю Усова, новые жильцы заняли немедленно и второй, расселив по его комнатам тех, кто еще не был пристроен. Проникли они и на чердак, где среди хлама нашли старые ящики с полуистлевшими письмами на хрупкой бумаге, и альбомы, тую набитые старыми фотографиями и даггеротипами, с которых, сквозь сумрачный свет, изумленно выгляднули на них тени прежних хозяев в старинных боннетах и платьях с раздутыми плечами, в обтянутых фраках и клетчатых брюках со штрипками у

перетянутых щиколоток. А с одной фотографии выглянул меланхолического вида средних лет господин, с бровями и баками фиолетового цвета, в шотландской юбке, с голыми, вогнутыми внутрь коленями, с волынкой подмышкой, в пестрых чулках, с лошадиным хвостом впереди, через который неровным почерком любящей руки было написано: «Бедный Ричард, умер в 1854 году».

С меланхолическим шотландцем все сразу сдружились. Когда по ночам свистало в слуховых окнах чердака, всем казалось, что бедный Ричард развлекал себя скуки ради печальной игрой на волынке, а некоторые даже клялись, что ясно слышали шаги маршировавшего шотландца. Сперва это тревожило жильцов, особенно тех, которым не спалось по ночам, но вскоре с этим настолько сжились, что если не свистела на чердаке волынка, то невольно начинали беспокоиться, не случилось ли чего с бедным шотландцем. Некоторые в своей симпатии к Ричарду шли дальше и даже предлагали, когда не ссыпалось кворума или не было никого свободного, кем можно было бы заполнить должность в правлении, провести его хотя бы на пост кандидата ревизионной комиссии.

Со всем этим Чижиков познакомился с огромным интересом, показав себя как человека любознательного и пытливого. Он слушал этих приятных людей, то опустив голову, то перекладывая ее с плеча на плечо, как это делал председатель, то подняв ее кверху, словно пытаясь узреть сквозь потолок тень беспокойного Ричарда, развлекавшего себя от нечего делать.

грустной игрой на волынке. Он даже заметил, что будь он удостоен высокой чести состоять членом их Общества, то обязательно поддержал бы кандидатуру Ричарда, просто хотя бы ради того почета к старым людям, пусть даже иностранного происхождения.

С неменьшим интересом прислушался Чижиков и к обсуждению устройства праздника весны. Беседа была пока еще частной, носившей подготовительный характер, и шла не в зале заседаний, а в гостиной, с расчетом на ближайшем же собрании правления подойти вплотную к этому живому вопросу. Частная беседа дала возможность Чижикову ознакомиться с работой Общества, а дальновидным членам правления, не без особого расчета начавшим ее при столичном госте — блеснуть своими организаторскими способностями.

Ферапонтов бегло водил карандашем по бумаге. Вот здесь по лестнице порасставить кадки с растениями, там украсить гирляндами, по возможности из свежей зелени, поразвесить флаги.

— Надеюсь, что господа мужчины не откажутся помочь с переноской мебели и с другой работой, — заметила председательница Дамского Кружка Воробей.

— Зачем же отказываться, — отозвался сразу Райковский, — как нибудь общими силами...

Все посмотрели значительно на него, а Молибога, крякнув недоверчиво, протянул — общими силами.

— Кого в первую очередь надо втянуть в работу — это Могиленко. Такому сильному человеку только и таскать тяжести!

Могиленко сделал чуть заметное движение шеи, словно приподнял ее на свободный стержень, после чего она начала делать медленный полукруг. Пока она двигалась, в мешок под левым глазом и в нависшее веко кинулось что то сильное и эластичное и зрачек вдруг стал настороженно живым и внимательным.

Все посмотрели на него, на его большую голову в медленном движении полукруга, на широкие плечи, подумав, есть ли толк впрягать такого в работу. Заседать одно, это с большим удовольствием и пользой, но работать! Как то попросили его перетащить посуду. Взяться то он взялся, но вдруг вспомнил, что лионские братья, они же розенкрайцеры, не сводившие с него глаз ради своих тайных замыслов, защищают, что он берется за недостойную для своего положения работу. Но отказаться было поздно, он взялся за ящик, а они навели на него через электрическую лампочку невидимые лучи, и старший лионский брат так сузил фокус, что все, что было у него в руках, с грохотом вывалилось на цементный пол. То же случилось, когда его попросили доставить из лавки мешок с провизией. Лионские братья перехватили его, как он ни скрывался, и так щелкнули током по рукам и голове — он еще и до сих пор дает потрогать на голове шишку— что у него сразу отнялись руки. А в мешке дюжина яиц, молоко, в плетеной коробочке земляника.

Посмотрели и на Ерофея Исаича Грозу, председателя Ревизионной Комиссии, подумали о его слезящихся глазах и о низком голосе, который по общему признанию был «на две

октавы ниже его самого». Подумали и о том, что у него всегда был ответ, что он еще не так низко пал, чтобы работать на русский праздник или в его канун.

Перевели глаза и на ласкового майского жучка, но тотчас же отвели в сторону, чтобы не дать возможности бесноватому секретарю завопить, что надо же так опуститься, чтобы своего же председателя впрягать в работу. Сам же секретарь так перегружен повестками и протоколами, да и в работе так загонит себя и других, что лучше перевести глаза дальше.

На Ряшкова и смотреть нечего, у человека забот житейских по горло, которое от этого так часто пересыхает, что ему постоянно надо забегать то к Коле Усову, то на угол, к знакомому чеху, содержателю бара. Посмотрели на Псицина, но у того вообще руки не доходили до такой работы. Перевели глаза на Мюллера и Холодца в тот момент, когда они понимающие перемигнулись, что означало «прикинемся дурячками, когда коснется работы».

— Работники есть, господа, — воскликнул с энтузиазмом председатель, — о чем, о чем, но об этом нам нечего беспокоиться!

— И старик Молибога на посту! — воскликнул Ряшков.

— А в кухне еще есть однорукий инвалид Гаврилов, — твердо добавил Ферапонтов.

Приглядываясь и прислушиваясь к своим новым друзьям, Чижиков просто не мог нарадоваться — какие люди, какие общественные работники! А праздник весны, разве не замечательно, разве это не отмечает в них такую простую, настоящую любовь к природе! Неис-

кушенные ничем, святые люди, так доверчиво поддаются они таинственным чарам весны!

Ах, весна, весна, что только не делаешь ты с русским человеком, но не безжалостно ослепляя и губя его, а ласково, любящие помрачаешь его разум и растворяешь его сердце. А что ты делаешь с его душой, что делаешь! Есть ли такие слова на русском языке, чтобы хотя бы отдаленно, приблизительно определить, что именно делаешь ты с его душой! Нет, как ни тяжело, как ни грустно признаться, нет таких точных слов. Сказать, что просто сдаются без боя — мало. Послушать, что говорит председатель Пушкирев, генерал хотя и зарубежного производства, но все же человек опытный, заслуженный, боевой офицер: легче идти на неприятельскую проволоку, на перекрестный пулеметный огонь, чем попытаться устоять чарам весны.

Кто то подошел к окну и настежь открыл его навстречу еще студенному, но весеннему воздуху, заполненному тем мартовским дыханием, от которого сразу делается не по себе, опускаются руки и начинает томительно щемить сердце. Ряшков первый сорвался, опередив секретаря и увлекая за собой Чижикова, чтобы набраться полной грудью этой пьянящей отравы, после чего расслабленные и расчувствовавшиеся они направились к Коле Усову, чтобы у его гостеприимной стойки выправить нарушенный баланс.

Пока Чижиков слушал рассказ Ряшкова о предках-помещиках и о магическом притяжении земли, выпивая рюмку за рюмкой и не глядя нащупывая на блюде то кусочек селед-

ки, то гусиный пупок, а то просто скользкий груздь, он не переставал повторять в голове разговор с Корявко о кабинетных землях по сорок монет за десятину. Когда Ряшков так зарапортовался, что уже не мог вспомнить ничего нового, заговорил Чижиков, также о земле, но так тонко и умело, что не могло остаться никакого сомнения, что в вопросе с землей у него уже был верный помощник. Ряшков слушал, шевелил в воздухе пальцами, наполнялся слезами — то ли от неудовлетворенной любви к земле, то ли от пыжика с горчицей, кивал головой и приговаривал, что ему только показать любую пустошь, а уж он, как старый землероб, так за нее вцепится зубами, что и в жизнь не вырвать.

Все еще под впечатлением разговора с Корявко — почему же не помочь симпатичному человеку, так жестоко пострадавшему от скотопромышленников? — Чижиков совершенно доверительно поведал Ряшкову, что в высших сферах намечается такое, что ой-ой-ой, в смысле объема и размаха, о чем до сих пор и не снилось никому в Зарубежье. Коля Усов слушал внимательно и напряженно, выпятив не только губы, но и уши, не пропуская время от времени браться за графин.

Ряшков слушал с пониманием, разводил руками, когда Чижиков мялся, не договаривал, ссылаясь на секретность и данное слово, и приговаривал, понимаю, понимаю! Настроившись от своих слов и придя в заметное увлечение от повторных движений Коли Усова, Чижиков стал восклицать, что неужели на эти глубокие мысли мудрого начальства и высших

сфер так и не будет отклика, Ряшков свертывал трубочкой губу и отвечал, успев перейти с ним на ты, «а вот, представь себе, что будет!»

После плотного ужина с заботливой услужливостью Зоси, Чижиков и Ряшков пришли в наи приятнейшее состояние духа. Поднявшись наверх, они нашли, что все, кто был в гостиной, так же пребывали в наилагодушнейшем настроении, чему способствовало то, что за окнами крепло щемящее душу дыхание весны.

В обычные вечера, после некоторого простоя у буфетной стойки и плотного обеда, члены Общества полулежали в креслах, поглядывая рассеянно на потолок и тяжело хлопая веками, а уж после шли вслед за Корявко через коридор помогать ему разминать затекшие пальцы. Но на этот раз все предались сладости весенних воспоминаний. Кто говорил о весеннем небе, о сумерках, ранних звездах, о гудении великостного колокола, кто просто вспоминал, грустя, как хрустал под ногами подмерзший за вечер снег. Кто говорил о том, как в сумеречном небе медленно плыли косяки птиц, направляясь на несказанно милый сердцу север, и выражал при этом оригинальнейшую мысль, живо поддержанную председателем, что неплохо было бы устроить так, что можно было бы каждую весну увязываться всем Обществом за ними, пусть даже не в первых рядах, а хотя бы в хвосте. Другой вспоминал юношество, золотое время, весенние шалости и проказы — у кого их не было, кто так очертствел, что не послушает о них и не порасскажет сам в теплой компании, где не только пой-

мут, но оценият и сами повздыхают, просто хотят бы потому, что у каждого за плечами накопилось после тех проказ немало невозвратных лет! Кто заговаривал о цветущих липах, о сирени и черемухе, и тут же замечал, что затрагивал щемящую тему, от которой никому не совладать с собой и удержать свои разыгравшиеся чувства! Да и верно, как устоять, попав против своей воли, как говорит Гроза, на другое полушарие, от волнения, от грусти по тому, что было у себя, на бесконечно милой и дорогой сердцу родине, когда она пребывает в благоуханной белизне и красочности весеннего цветения, в бередящем душу аромате возродившейся земли!

Поддался воспоминаниям и Ряшков, этот крепкий и огнеупорный человек, порассказав расслабленным голосом о том, что в их роду был обычай настаивать весной первую четверть водки на черемухе, вторую на липовых побегах, третью на... Эти дорогие сердцу подробности золотого времени так расстроили его, что он даже прослезился, весь уйдя в воспоминания, пока приятно настроенный Чижиков, повернув к нему розовую раковину уха, благодушно ждал, когда Ряшков вспомнит, на чем настаивали шестую четверть.

## VIII

### ИМЕНИНЫ ЗАРУБЕЖЬЯ

После своего первого посещения Общества Чижиков долго продолжал быть предметом самого живейшего обсуждения. Его солидный вид, внимательность, столичные манеры, разговор со всеми сложными оттенками приятности, подкупающая улыбка не могли не оставить на всех самого наи приятнейшего впечатления. Молибога все вспоминал свой вопрос о духовенстве и ответ Чижикова, и не переставал восхищенно восклицать: «ишь, как, в лиловых рясах!» Холодец был доволен Чижиковым за тонкое понимание казачества и поддержку, а Ферапонтов твердо верил, что недалек тот момент, когда личные дворяне в Зарубежье будут переименованы в потомственные. В этом отношении Чижиков наполнил его такой верой, какую до сих пор он мог иметь только в самого себя. О председателе и упоминать нечего, он не переставал говорить о Чижикове, повторяя, что «просто не мог нарадоваться» его светскости и обходительности, проявленной тем, что тот раза два назвал его «ваше превосходительство».

Кроме общего и наивыгоднейшего впечатления о столичном госте были и другие мнения, показывавшие, как каждый относился к нему. Председатель Пушкирев считал, что Чижиков не только отменный патриот и национально-мыслящий человек, но еще и старый заслуженный офицер, неоднократно раненный и контуженный в борьбе за родину. Если в мнении председателя и было значительное преувеличение, оно объяснялось прежде всего тем отрадным впечатлением, произведенным на него. Правда, если об этом узнал бы сам Чижиков, смущился бы и он по своей скромности и непрятательности, невольно задумавшись относительно «заслуженного и боевого офицера», вспомнив уже забытые обстоятельства своего спешного расставания с родиной при первых же знаках грозного потрясения. Задумался бы и относительно старых ран и шрамов, которые надлежало бы получить в боях с неприятелем за долг и защиту родины, а не в том бою с жизнью, которого не может избежать даже самый робкий человек. А задумавшись, не мог бы не признать, что эти шрамы и раны были не того разряда, о котором можно было бы не только говорить свободно, с понятной гордостью, но и выставлять их напоказ, как знаки отличия героически-жертвенной жизни. Как бы то ни было, это мнение принадлежало председателю Зарубежного Общества, с которым нельзя было бы не считаться, и с которым он сам ни за что бы не расстался, что говорило об его простом и бесхитростно-чистом сердце.

Председательница Литературного Кружка

считала, что Чижиков прежде всего человек науки, и что рано или поздно опубликует свои труды, которые будут красоваться во всех научных библиотеках. Фон-Мюллер соглашался, что Чижиков человек науки, но горячо спорил относительно какой, считая, что он стратег и офицер Генерального Штаба, временно занятый изучением вопроса, одинаково относящегося к военным и штатским, т. е. всего Зарубежья, но что главное его призвание — военная наука. Корявко высказался кратко, но веско, что Чижиков прежде всего человек весьма опытный и понаторелый, а после некоторого глубокого раздумья добавил, что если связаться с высшими сферами, то через такого человека можно получить «выгодные поставки».

Кроме разговоров о личной симпатии, наивянной обаятельностью столичного гостя, много обсуждалось о том, о чем не оставалось никакого сомнения, что он не просто «спица в колеснице», а весьма высокая персона, наделенная особыми полномочиями высших кругов в важной миссии изучения Зарубежья на местах. Особенное значение придавали тому, что Чижиков несколько раз мельком, но не без особой значительности упоминал о том, что он только поднимает целину, проходит первым плугом, а боронят, сеют и, главное, жнут — другие; что он прокладывает шпалы и рельсы, а на курьерских поездах раскатывают счастливчики; что он только закоперщик, забойщик свай, а строят и вселяются в выстроенные дома более достойные. Хотя Чижиков говорил об этом общими местами, полу-

намеками, но опытные в житейских делах люди усматривали в них наличие сокровенных соображений начальства. Припоминали и то, что когда касалось чего либо существенного, Чижиков просто, без всякого возвеличивания, но и без ложной скромности говорил: иногда совершенно достаточно подписи — «Аполлон Чижиков».

Затем, как это бывает часто, прошла первая острота впечатлений и жизнь Общества, взбудораженная приездом столичного гостя, вошла опять в свою обычную колею. В подобных сдвигах настроения нет ничего особенного и приводятся они здесь не как упрек Обществу, а как обычное житейское явление, иллюстрировать которое можно такими поучительными примерами, как клятвы возлюбленных, обычно даваемых под магическим светом луны, о взаимной любви по гроб и даже там, в отдаленных пробегах потустороннего мира, но которые зачастую теряют свою торжественную новизну годами двумя позже или совершенно стираются на исшарканном полу равнодушных камер бракоразводных судов. Суть, однако, не в этих наглядных и назидательных примерах, которые — Боже упаси! — могут быть ошибочно истолкованы в том смысле, что лучше и безопаснее не давать клятв вечной привязанности, любви и верности, а ограничиться только такими общими местами, что, да, привязан, не могу понять отчего, даже пожалуй люблю и прочее, но как долго, а Бог его знает!

Еще в древнейшие времена, в младенческий возраст земли знали, что сколько бы ни было

трезвых предостережений зре́лых опытом людей относительно фатальной опрометчивости сорвавшихся с уст клятв, все равно, пока солнце продолжает всходить на востоке и заходить на западе, пока не прекращается эта ежедневная тайна повторяемости, никакие благонамеренные предостережения не изменят того, через что проходят так же ежедневно и ежевечерно — хотят ли они этого или нет! — неопытные души.

Но суть не в предосторожностях и повторяемости, и упоминается о них исключительно ради того, чтобы не выставить членов Общества Зарубежья как людей черствых, с короткой памятью, которые легко, не по годам и положению, увлекаются и скоро же забывают. Нет, как раз наоборот, они выводятся, как люди со всеми присущими им человеческими слабостями.

Следует добавить и то, что часто происходит не с людьми, а с такими непостоянными явлениями, как погода, особенно в такой переменчивый месяц, как март. Была весна, тревожившая сердца и души людей, заполнившая их смутными желаниями и томлениями, и вдруг подул ветер с севера, застонал дервьями и стало опять холодно. Все, что еще вчера волновало и затрагивало, сегодня потеряло остроту и покорно улеглось в ровный короб дней.

Улеглось, но не надолго.

То, что случилось затем, произошло совершенно неожиданно, но эффект всех последовавших событий был потрясающий. Началось с того, что холерик-секретарь заскочил в гостиную, в биллиардную и карточную, успев по

дороге сунуть голову в пролет лестницы, с осатанелым криком «уже наезжают!» Чуткое ко всем неожиданным явлениям и приготовленное за годы Зарубежья ко всему, Общество мгновенно наэлектризировалось. Когда все, кто был в тот вечер, бросились за секретарем в коридор, то там увидели незнакомого человека, пожилого в годах, строго-насупленного и озабоченного вида, в черном пальто, с туго набитым портфелем, который он тесно прижимал к боку, подхватив его крепче рукой при первой же попытке помочь ему раздеться.

За всеми остальными в коридор вышел и Чижиков, прижимая плотно к груди мелкий веер карт, и пристально, с полминуты посмотрел на приезжего. Председатель тем временем знакомил нового гостя с членами Общества. Когда же дошла очередь Чижикова, то он подошел к тому и как то слегка отвлек его в сторону, сказав при этом несколько неразборчивых слов и получив в ответ то же самое. Об этой встрече было много разговоров, при чем голоса сразу разделились поровну относительно того, что именно произошло между ними и что было сказано, но все твердо соглашались на одном, что встреча показала, что они отлично знали друг друга. Некоторые даже были готовы божиться, что они видели собственными глазами... Но лучше не забегать так далеко вперед.

Нового гостя встретили так же, как недавно встретили Чижикова, с тем же теплом и радушием. Провели по всем комнатам Общества, успели даже отвести ему временно помещение наверху, затем свели вниз, где он с живым

интересом прослушал балалаечный оркестр. Подвели его и к стойке Коли Усова, который сразу же проникся к нему особой симпатией, вероятно потому, что у гостя тоже были несколько оттопыренные губы, не так, правда, заметные как у него, так как борода и усы значительно скрывали их. Коля Усов нацедил ему рюмку, прислушиваясь к разговору, но не забыв сказать, «ну, за любимую женщину!» Гость с удовольствием выпил, отошел от своей озабоченности, крякнул и сразу же потянулся за второй.

С первого же момента знакомства обнаружилось, что таинственный старичек — никто не мог разобрать его имени и отчества, но сразу же, почувствовав к нему симпатию и уважение, придали ему это ласковое название — был полной противоположностью Чижикова. Он почти все время молчал, засунув под редкую бороду руки и поглядывал загадочно вдаль, а если и говорил, то так нераздельно и однозначно, что ему самому нужно было движением головы добавлять то, что хотел сказать.

Пока новый гость стоял у стойки, остро приглядываясь то к балалаечникам, то к Коле Усову, который после этого сразу брался за графин, дальневидные члены Общества быстро намечали план действия. Сперва было решено поставить вопрос прямиком и даже не намекнуть, а открыто сказать, что им точно известны причины его прибытия, так как тем или иным образом оно было оповещено об этом. Но после краткого, но глубокого раздумья за и против, решили действовать как раз наоборот, т. е. не придавать никакого значения тому, о чем было

ясно не только прозорливому Ферапонтову, но и всем остальным.

То обстоятельство, что кроме нескольких нераздельных возгласов и двух-трех слов новый гость ничего не сказал о себе и о цели своего приезда, было принято и объяснено не столь нежеланием открыть себя с первого же момента, сколь известным ходом в согласии с соображениями высших сфер, о которых, не зная еще их в точности, Общество все же могло судить. Кстати вспомнили, что Чижиков у той же стойки Коли Усова говорил, что он уже успел отрапортовать депешами и что теперь надо терпеливо ждать. «А что ждать?» — спросили его тогда. «А многоного», в тон вопроса ответил Чижиков и при этом загадочно прибавил: «подождите, скоро понаедут! Да еще как!» Вспомнили время разговора, недавно, правда, но по теперешним временам все возможно. «И вот убедитесь сами», повторял председатель, «приезжий. Молчит. Строгий. В черном пальто. С портфелем. Не расстается с ним. Даже сейчас, принимая от Коли Усова рюмку, и не выпуская другой руки из под бороды, зажал тесно портфель меж колен, словно оседлал его. Сразу видно, оттуда. Яснее ничего не может быть!»

Мнения по поводу тугого набитого портфеля резко разошлись, при чем Райковский, ссылаясь на себя как на неисправимого скептика, доказывал, что иногда подобные предметы — легко обманывают доверчивые умы. Он говорил бы и дальше, но его кратко прервал Ряшков, сказав веско: «а представь себе, что в нем планы и выкладки!», и так выразительно обвел

всех глазами, что невольно все подумали, что иначе и не могло бы быть.

Поговорили и о том, что у нового гостя были жгуче-изумленные глаза, которыми он буравил всех, на кого наводил их. Эта особенность, в полный контраст губам, была широко освещена в разговорах, при чем все соглашались, что если бы у него не было таких пронзительных глаз, чтобы видеть насеквоздь не только человека, но и все Общество, то начальство вряд ли решилось послать его на важное дело.

Пока шли летучие совещания, новый гость продолжал благодушно слушать балалаечников, выпивал, закусывал балыком, рассеянно прислушивался к тому, что говорили другие и тотчас же забывал обо всем. На все вопросы он или кивал утвердительно головой или переводил глаза, внезапно принимавшие затуманенное выражение вдаль, словно там кто-то предостерегал его от неосторожного ответа.

Затем перешли наверх, в гостиную. Чтобы не терять драгоценного времени, председатель посоветовался с секретарем и тотчас же решил собрать экстренное заседание, но при беглом осмотре биллиардной и карточной комнаты оказалось, что не было кворума. К тому же все, что можно было бы обсудить и решить на нем, было уже сделано само собой, как, например, решение сразу же кооптировать нового гостя. Совещатели то показывались в гостиной, прымыкали сразу к разговору в надежде втянуть в него молчаливого гостя, то снова исчезали в коридор для дальнейшего совещания. Когда к нему обращались вновь, то гость наклонял голову, не переставая пронизывать спрашивав-

шего взглядом, и еще глубже прятал за бороду руки, так что некоторым начинало казаться, что у него за острым адамовым яблоком должен обязательно находиться потайный кармашек

Пока шли совещания, другие члены Общества развлекали своего гостя, знакомя его с домом, его историей, с духом Общества и даже показав ему старинные альбомы с чердака, в которых, кроме бедного Ричарда, были фотографии купальщиц с настолько перетянутыми талиями за счет хорошо раздутых боков и бюста, что можно было сравнить их с известной формой песочных часов.

Бедным Ричардом гость не заинтересовался, а купальщиц внимательно пробуравил жгучими глазами, выпростал из под бороды руки, оглядел еще раз с большим интересом и пытливостью и затем сказал загадочно: «есть, чем наполнить руку усталого путника».

Таинственный стариечек снова замолчал, но не надолго, прислушиваясь чутко к разговору о том, что в наше время мужчины и женщины зачастую носят одинаковую одежду, что особенно наблюдается среди велосипедистов и мотоциклистов, у которых не различишь «чи это он, чи она». В таких же штанах, сапогах, широких кожаных поясах, со шлемами на головах и с темными стеклянными забралами вместо очков.

— Теперь полиция, — знающе добавил другой, — когда задерживает их за быструю гонку, первым делом ощупывает.

— Оружия ищут? — с въедчивым любопыт-

ством, весь превратившись в полное внимание, спросил таинственный гость.

— Какое, — отозвался Ряшков, — просто пол определяют, чтобы знать, с чего начинать разговор.

После этих двух фраз новый гость окончательно заложил руки за бороду и уже весь вечер ничего не говорил, а о чем то крепко думал, просверливал жгуче-пронзительным взглядом то потолок, то своих новых знакомых, но со странно-отсутствующим видом, словно стараясь мучительно что то вспомнить. О чем он думал или пытался вспомнить в тот вечер, когда за окнами опять повеяло прекрасным дыханием весны, так и не знал никто. Думал ли он о своем неожиданном прибытии, о новых знакомых, о симпатичном, хотя и унылом буфетчике, так благодушно настроившим его? Думал ли он, наконец, о планах и выкладках, которыми, по мнению всезнающего Ряшкова, был набит его портфель и который он, оберегая от посторонних рук, спрятал себе за спину? Думал ли он об изголодавшейся руке усталого путника или о скрытом оружии — никто не знал и всякие догадки были бы предметом самого досужего любопытства.

Так в тот первый вечер и не дождались ничего от своего нового гостя, хотя все твердо считали, что он обязательно скажет что то значительное. Две же фразы, отчетливо сказанные им, явились позже предметом всестороннего обсуждения, когда неожиданно вскрылся ряд самых непредвиденных обстоятельств.

Весть о том, что правление решило его коптировать для особой работы, он принял,

словно ожидая ее, не удивившись, не сказав ничего в ответ, кроме того, что посмотрел выразительно на всех, словно догадавшись ради каких сокровенных целей это было сделано.

— Вдумчивый человек, — так выразилась о нем председательница Воробей. — Поди и страсть начитанный!

— Пронзительный мужчина! — заметил Коля Усов.

— Мало говорит, да много делает, — добавил председатель Пушкирев, премного довольный его приездом. — Такой скоро себя покажет!

— Нашим гужеедам есть чему поучиться, — заметил глубокомысленно Молибога, — а то тере-мере, знаете-понимаете, так сказать да этак выразиться, пятое-десятое. Иной ведь раз весь вечер говорят, а ничего не скажут!

— Этот не такой! Почему его и послали в наши края! Молчаливому легче приглядываться, такого никакими разговорами о шансонетках не отвлечешь! А что пронзительный, то, верно, так и жжет, так и буравит насеквоздь. От такого не утаишь!

— Что то он мне знаком, — повторял задумчиво Ряшков, — хоть убей, никак не припомню! Если тот, о ком думаю, и кого знал раньше, так такой деляга, просто не нарадуешься!

— Он и над нашим Аполлоном Александровичем видать выше!

— Куда выше! Сам Аполлон Александрович сказывал, что за ним старшие едут.

— Что то он мне больно знаком, — продолжал мучить свою память Ряшков. — Если он, действительно, тот, о ком думаю, то многого

надо ждать от него! Этот так двинет, что просто не нарадуешься!

Первое заседание правления после прибытия нового гостя должно было в первую очередь вырешить ряд самых важных вопросов. Ожидали больших дебатов относительно планов Общества, при чем голоса сразу же раскололись. Одни считали, что не следует предпринимать никаких шагов. никаких перемен в первоначальных планах, а придерживаться их хотя бы в теории, если они не совсем выполнимы, как указал Ерофей Исаич Гроза, на практике. Другая группа настаивала, что создающаяся сама по себе обстановка часто заставляет менять не только планы, но и весь ход и строй жизни.

Ферапонтов, человек твердых понятий и ясности, так определил спор: «может или нет человек, в особенности русский, да еще в Зарубежье, повернуться на все сто восемьдесят градусов?».

После этого точного определения дебаты приняли еще более горячий характер. Одна группа заняла такое положение, что если можно измениться «на все сто восемьдесят», если человек повернул так круто на каблуках, то ему нет никакой веры, он откажется от присяги, отца родного предаст, мать в беспроигрышной лотерее разыграет. Если даже он повернулся только на девяносто, то все равно цена ему грош и человек он дрянь и ничто больше.

Секретарь соглашался с этим мнением при

одном расхождении, настаивая, чтобы оно было бы вписано в протокол, а именно, что прежде чем человек круто повернет в своих убеждениях «на все сто восемьдесят», он обязательно должен опуститься. Это первое, вспомнил он, вскакивая с места, пригибаясь, сверкая очками, поднимая кверху руку, чтобы все видели, как он отгибал и крепко прижимал большой палец руки. А второе... но его голоса уже нельзя было разобрать в шуме других голосов.

Когда голоса несколько успокоились, можно было расслышать мнение другой группы, считавшей, что много примеров, когда человек и не хочет, а должен измениться в силу условий, пусть не на все сто восемьдесят, но хоть на значительную часть. Это мнение дало повод другим членам правления, не лишенным философского пристрастия, поговорить о многих превратностях жизни, крутых ее поворотах и неожиданностях, подкрепив свои доводы небезызвестной строкой — «что день грядущий нам готовит».

Председатель Пушкирев внимательно вслушивался в мнения каждой группы, вполне соглашаясь с ними, но как человек опытный в жизни и общественных дебатах, ждал, когда уляжется жар спора, чтобы своим авторитетным словом порешить вопрос.

— Я слушаю вас и понимаю в отдельности каждого, — так начал он ласково и даже вкрадчиво, — больше того, согласен с каждым, хотя вы и не соглашаетесь друг с другом. Но вот как я могу примирить вас! Надо каждый случай разбирать в отдельности и учитывать те веские причины, которые заставляют нас

часто отказываться от самого себя, от того, что мы были вчера, и что есть сегодня. Вот случай, который я хочу привести, как наглядный пример! Командир полка, славный полковник Ерофеев, царство ему небесное!, был человек самой твердой незыблемости. Традиции святые чтил, ну, дай Бог каждому хотя бы в сотый доле так уважать! Особенно полковую: первую за дам. Он даже развивал такую оригинальнейшую мысль, что в древние времена филистимляне и прочие исчезнувшие ныне народы не могли не ввести моду пить на пиршествах первую за дам... И вот случается обычное в нашей краткой жизни явление: легкий удар, первый колокольчик, и появляется сам Кондратий Иванович за должностком. И как переменился за сутки этот сверхъестественный человек! От святой традиции ни следа! Сам признавался, что делал только вид, что первую за дам, а на самом деле выпивал за себя, за свое здоровье, еще для твердости рукой притрагивался к сердцу: отмечай, мол, и продолжай свою высокополезную деятельность.

Пример председателя произвел на всех внушительное впечатление и каждый невольно подумал, а не появится ли и к тебе за должностком Кондратий Иванович, а Псицин, председатель Похоронной Кассы, даже пытливо провел по лицам всех, заметив для всеобщего успокоения, что это скорее случай из медицины, а не пример поворота человека на сто восемьдесят градусов. Говорили об этом бы и дальше, если председатель не поднял бы предостерегающее палец, сказав, что хотят они признавать это или нет, но они стоят перед свершившимся

фактом. Каким? А приездом двух важных особ, вот каким! Он обвел свое правление взглядом, в котором было много важности и торжественности.

— Теперь, переходя к официальному собранию, — так начал он, — прошу вас позволить мне, как вашему председателю, высказаться относительно того, о чем мы: только что закончили живой обмен мнений. Отходим мы от своих прежних позиций или нет, делаем ли мы кругой поворот на каблуках или нет, об этом мы можем судить лучше, чем кто бы то ни было. А я скажу твердо — нет! Мы не только не отходим, но в верности и преданности своему общественному служению неукоснительно идем по этому славному пути. Но идя по нему, мы, ни вы, ни я, ваш председатель, не можем знать, что нас ждет. Здесь я остановлюсь и передаю слово первому вице-председателю Ряшкову. Как человек заинтересованный — мы, правда, заинтересованы все! — и наиболее посвященный, — здесь Ряшков опустил голову и не поднимал ее до тех пор, пока не закончил говорить Пушкирев, — скажет нам больше, чем кто либо. Заслушаем доклад Ряшкова. Прошу.

Ряшков встал и медленно, словно нехотя, обвел всех глазами, солидно откашлялся, надув малиновые щеки, повернулся к председателю и сделал движение, словно спрашивая его, говорить ли ему обо всем, или только отдельиться общими местами. Пушкирев переложил голову с плеча на плечо и сделал утвердительное движение. Ряшков еще раз кашлянул в кулак и уже взялся за портсигар в заднем

кармане брюк, но его прервал председатель.

— Одну минуту. Секретарь, прошу закрыть двери. Посторонних никого нет? Все свои, а? Ну, с Богом, Ряшков!

Председатель наклонился над столом и осен-нил себя мелким крестом. Все перевели взоры на Ряшкова, который медленно проводил рукой по лбу, словно только что отошел от сна и теперь тяжело собирался с мыслями. Медли-тельность его была необычна и видимо стоила многого ему самому.

— Я сам почти ничего не знаю, — так начал докладчик, — а что и знаю, то торжественной клятвой обещался не оглашать до поры до вре-мени. Если это тайна, и я лично связан с ней, то не такой человек Ряшков, чтобы трепаться зря. Но то, о чем могу сказать и о чем догады-ваюсь сам, о том поделюсь с вами.

— А, ну-те! — сказал председатель, упер-вшись в колени и выжидательно подвинулся вперед. Остальные также подвинулись впе-ред и только Корявко не пошевельнулся, лишь приподняв веки и внимательно заглянув в яс-ные ряшковские глаза.

— Ни для кого не является секретом, что мы стоим накануне чего то значительного, и что, как сказал Аполлон Александрович, нам надо ждать такого, что ой-ой-ой! Вот его под-линные слова!

Ряшков сделал паузу, чтобы сказанное им просочилось сквозь сознание членов правле-ния, помолчал еще, томя их, и перевел задум-чиво взгляд на окно. Перевели вслед за ним свои взгляды и остальные, почувствовав, что там, за рядом высоких окон, идет опять весна,

на этот раз не обманчивая, а настоящая, крепкая, пьянящая, затуманивающая разум и расслабляющая сердце тех, кто попал под ее чары.

Ряшков отвернулся от окна, вздохнул, потряс головой и щеками, словно отгоняя от себя дурман весеннего вечера, и заговорил опять, но уж таким тоном, в котором значилось, что он касался обычных вещей.

— Особа высокого ранга, с которой вы все успели познакомиться за эти дни в этих стенах и внизу, у Коли Усова, мой старый знакомый, с которым мне пришлось в свое время делить пополам много горя и радости... Чего только не было, но дело не в этом, понятно, и не время предаваться воспоминаниям, как сладки они бы ни были! Вы также знаете, что к нам прибыло и другое важное лицо, с которым мы все познакомились и которое в настоящее время отдыхает наверху. — Ряшков перевел глаза кверху, а за ним и все остальные, словно желая проверить, отдыхает ли там таинственный старичек или занят каким либо другим делом.

— Эти люди хотя и прибыли сюда в разное время, но у них одна и та же цель — выполнение особых заданий высших сфер Зарубежья. Как вы можете видеть, они люди из первой шеренги, знаменщики и трубачи.

При последних словах Ряшкова председатель подвинулся вперед и впился в докладчика. Ряшков опять остановился и задумался, ни то о знаменщиках и трубачах, ни то о весне, ни то просто о том, о чем же говорить дальше. Он вытащил из кармана портсигар и от одного только движения все члены правления пришли в еще большее напряжение.

— Политические события последнего времени, международные акты и связанные с ними последствия, уплотнение и прочие нездоровье условия некоторых мировых узлов ставят насущный вопрос о... — Ряшков остановился, щелкнул крышкой портсигара, заглянул пытливо внутрь, и его глаза стали мгновенно такими прозрачными, какие у него бывали только тогда, когда он готов был сказать что то исключительно важное. Так было и на этот раз.

— ...вопрос о переводе... Короче говоря, в высших сферах решено перевести к нам все главные управлении Зарубежья.

Ряшков и сам не знал, откуда вылетели эти слова, разве только из его волшебного портсигара, но он даже сам оробел от того впечатления, которое они произвели на членов правительства, включая самого себя. Все не только опешили, но пришли в какое то оцепенение, устремившись, без слов, озадаченными взглядами на Ряшкова, затем, как по сигналу, все разразились восклицаниями и возгласами, из которых громче всех было молибоговское — «да, ну!?». Холодец поднес ладонь ко рту, чтобы откашляться, но забыв об этом, так и остался, застыв от изумления. Райковский только успел воскликнуть — «какая эффектная мысль», но не успев добавить, что ему, как скептику, нельзя не поразиться ей, смотрел на Ряшкова с открытым ртом. Псицин провел щеточкой по одной половине усов, и также застыл от изумления. Председатель Пушкарев побледнел и дважды осенил себя крестным знаменем, успев сказать при этом, «Царица небесная, сподобились!». Секретарь сорвался с места и за-

стыл в такой невероятной позе, что в любое другое время никогда бы не удержался, чтобы не упасть. Корявко быстро открыл глаза, внимательно посмотрев на Ряшкова, и тяжело переложил ступни ног, словно собираясь подняться раньше времени со своего кресла.

Выпалив о переводе зарубежных управлений. Ряшков, как это обычно бывало с ним, сразу же поверил в свои слова, и мало того, заразил своей верой и других. Он щелкнул портсигаром и откинулся на стол, как вещь теперь уже совершенно ненужную.

— Из прибывших, как вероятно догадываются многие, один квартирмейстер, другой инспектор. Прибыли они для личного ознакомления и учета мест, а понадобится этих мест! — Ряшков махнул рукой, чтобы обозначить пространство, — несчитано! Одним силам небесным известно, сколько. Подсчитать только одни отделы Главного Управления, а штабы, а подъотделы, а секции, а причисленные учреждения, а придаточные службы, а цехи-хуазы, а пекарни, а чилюв, военных и гражданских, а все прочее, а пятое-десятое... На это все имеются планы и выкладки в портфеле, — Ряшков опять вскинулся к потолку, и все посмотрели туда же, словно там можно было проверить содержание портфеля своего важного гостя.

— Х-м! — воскликнули они, подумав, что Ряшков уже успел добраться и до портфеля.

— Мне вот что неясно, — заметил Ферапонтов, приходя в себя от неожиданного эффекта ряшковских слов. — Ряшков сказал, что в

первую очередь решено перевести управления.  
А что же за ними?

— Как — что? — переспросил Ряшков.

— Сперва переводят управления, а потом  
что?

— А всю эмиграцию, — просто ответил Ряшков, на этот раз не поражаясь самому себе.

— Какая эффектная мысль!

— Это еще что, — сказал так же просто Ряшков, снова берясь за портсигар. — В первую очередь после основных отделов управления решено сразу же перекинуть духовенство, за ним служивых, военные и гражданские чины, все общественные организации, школы, приюты, ясли и прочие богоугодные заведения.

— Хм! — воскликнул озадаченный председатель, не зная еще, как отнестись к ряшковским новостям. — Перевозят всех, а!

— С духовенства начинают? — спросил Молибога, нагоняя на лоб глубокие борозды морщин. — Ишь, ведь, как!

— Позвольте, — забеспокоился казначей, — начнут с духовенства. А как же, скажем, останутся в таком случае без пастырей и добрых, так сказать, наставников?

— Для меня это тоже неясно, — заметил Ферапонтов, — требы различные и прочее, народ рождается, крестится, жениится, гоеет, исповедуется, надо его соборовать, хоронить, отпевать, а духовенство взяли и сняли с мест, как сонных зайцев. Как то трудно допустить, что духовенство переведут, а мирян оставят нетронутыми на местах.

— Переброска намечается партиями, — заметил Ряшков, надувая щеки и с шумом вы-

пуская воздух. — С учетом пятого и десятого. Там, понятно, учтено все, соображают не хуже нашего.

— Да и понятно! — воскликнула председательница Воробей. — Столица, не так, как у нас!

— Насчет этого беспокоиться не следует, — заметил председатель Пушкирев, — нам, понятно, трудно войти в соображения начальства, но в одном мы должны быть уверены, начальство в таком важном деле маху не даст!

— Нет, беспокоиться, понятно, нам нечего, — сказал просто Ряшков, — а что касается того, чем вызвана эта мера, то...

Опять все надвинулись и спросили хором, — а, ну-ка?

Ряшков взялся за портсигар, но не открыл крышку, а приняв хитрое выражение лица, сделал вид, что ничего не поделаешь, придется открыть секрет начальства.

— Вызвана эта мера вот какими соображениями: скорее принудить остальные круги эмиграции сняться с насиженных мест и последовать за духовенством. Это верно, и говорить об этом нечего, — Ряшков повернулся к Ферапонтову, — без треб и совершения православных обрядов не прожить русскому в Зарубежье и пары дней.

Ряшков замолчал и всем стало ясно, как он сокрушается, что миряне останутся на короткий срок без своих пастырей.

— Без попа, что без соли, — крякнул Молибога.

— Компот получится! — подтвердил и Холо-

дец, занося высоко руку ко рту и откидывая назад голову.

— Часть то поди оставят на местах!

— Часть оставят, — ответил твердо Ряшков.

— У меня на этот счет есть справка.

Опять все помолчали, подумав о том, что не из портфеля ли таинственного стариичка выудил Ряшков эту справку, и что еще такое придержал у себя за пазухой, чтобы ошеломить правление.

— А ты, Ряшков, — начал медленно Псицин, похлопав строго веками и скашивая глаза на распущенные концы усов, — ты, Ряшков, того, не закручиваешь ли ненароком? Мне, старому пессимисту, часто лучше видно, чем другим!

— О духовенстве или вообще?

— И о духовенстве и вообще!

— Я может быть закрутил бы и не такому пессимисту, как ты, но зачем же, скажи мне, я буду закручивать своему председателю и всему правлению?

Ряшков обвел всех своими правдивыми глазами и даже те, кто знал за ним не одну слабость, не могли не поверить ему, настолько они были ясны и прозрачны.

— Зачем же закручивать кому то, брать на себя такой труд, когда события говорят сами за себя! Я передаю то, о чем мне было поведано кое какими важными лицами. А им вы не можете не верить!

— Боже упаси! — воскликнул, ужаснувшись такой мысли, Пушкин, — им, да не верить!

— Еще не хватало, чтобы так низко опуститься! — воскликнул яростно секретарь.

— Нет, какая эффектная мысль! — восклик-

нул восторженно Райковский. — Какой размах, какая смелость! Переселение всего Зарубежья в одно место! Даже меня, скептика, это поражает! Подумать только, великое переселение всего Зарубежья!

— Интересно, однако, чем вызвана эта мера?

— Заботами высших кругов, — пояснил председатель, — соображениями государственного порядка.

— Для меня это ясно, как мера сбережения известных классов Зарубежья. Взять к примеру личных дворян! Кто лучше подойдет для вливания новой крови деятельных, энергичных людей! — Ферапонтов провел крепкой рукой по ежику головы и посмотрел на Грозу, Молибэга и Могиленко.

— Это что же, перевод всех без различия или только частично, кого выберут? Что то того, если без разбора...

— Разве не предполагают оставить в целости другие классы общества? Как на этот счет они думают, Ряшков?

Ряшков поиграл крышкой портсигара, мельком заглянул внутрь. — Ясно, предполагают оставить. Как же без других классов! Странно было бы, если не оставили бы.

— Я тоже так полагаю, что странно было бы, — согласился в тяжелом раздумье председатель.

— Они будут и впредь существовать, — поспешил заверить на этот раз Ферапонтов, — без них, понятно, нельзя. Но они, так сказать, не имеют такого ядра, как дворяне. У меня, к примеру, в этой папке имеются диаграммы и генеалогические древа, имеются и новые ге-

ральдические знаки, которые я разработал лично для тех особ, которые будут причислены к дворянскому классу. Это причисление, как и всеобщее переселение Зарубежья в одно место и является, по моему, мерой сбережения этого класса для будущей работы на родине. Ясно, как Божий день.

Ферапонтов провел рукой по голове и обвел живым взором все правление. Затем горько улыбнулся и заговорил другим тоном.

— Тут как то слышал я, от кого, не буду говорить, скажу, что само по себе в ушах навязло, хотя источник мне хорошо знаком. — Он перевел дух и посмотрел выразительно на Райковского, небрежно игравшего карандашком. — А разговор такой, имейте в виду, что мол дядя Ферапонта вырубал на родине дворянские вишневые сады, а племянник в Зарубежье принял взамен понасаживать генеалогические древа. За такие мало правдоподобные сплетни можно и того... И совсем не мой дядя, а мало ли кто...

— За такие обидные слова можно и под суд отдать, — строго заметил Гроза.

— Вы слово сплетня произнесли слишком преждевременно, — наставительно сказал Пушкирев. — Если что нибудь и есть, то надо сперва расследовать, подать докладную, комиссия разберется, и только тогда...

— Господа, господа, — взмолилась председательница Воробей, — так все шло хорошо, говорили о таком интересном деле, все, как следует нам всем по весне, в такой молодой день, полный надежд и обещаний, и вдруг — под суд отдать! Ссоры!

— Генеалогические древа отставить, — крикнул секретарь, не отрываясь от протокольных листов, блестя угрожающе стеклами очков.

— Значит, того, — начал медленно Молибога, тараща глаза и перегоняя на лоб всю лишнюю кожу, которую только мог согнать со всего тела, — взялись за переселение Зарубежья. Ишь, ведь, как! А почему?

Задумались над словами Молибоги все. Верно, чем вызвано такое решение. Не только ради того, чтобы дать возможность Ферапонтову заняться подсчетом генеалогических древ в Зарубежье, должны быть и другие причины!

— Начальство решилось на такую меру, оно знает почему! Гадать, конечно, не возбраняется, но все же лучше подождать. Когда придет формальное оповещение, я, как ваш председатель, оповещу всех. Пока же надо ждать и быть готовым ко всему.

Выслушали и это объяснение. Нельзя не согласиться, что начальство знает, что делает, и знает больше, чем кто либо. Но все же любопытно, почему? Человек существо любознательное, сам до всего хочет дойти своим умом.

— С моей точки зрения так, — заторопился фон Мюллер, поднимая вверх розовое лицо и водя носом, словно внюхиваясь, снимая пенсне, вновь надевая его, охлопывая себя по непомерно большому пиджаку, — в истории народов, особенно, в военной, много аналогичных случаев, когда в одном месте насильственным или другим способом собирали большой военный кулак, седые, так сказать, легионы, проверенные кадры для будущих действий...

— А много ли наберется в Зарубежье этих

седых, так сказать, легионов? Больше, поди, на подножном корму в лоне Авраамова, а у тех, кто здесь, ничего, кроме седины, не осталось!

— Вопрос не столько в том, сколько их осталось, — заспешил дальше фон Мюллер, распыляя вокруг себя фонтан слюны, — сколько в том, что эти седые легионы принесли с собой для передачи дальше священные заветы прошлого...

— Для передачи кому? — раздраженно кричал секретарь, но он не мог заглушить голоса других, спорящих о том, сколько седых легионов уже на подножном корму, а сколько еще только собирается. Другие считали, что поскольку эти легионы седые, то есть ли смысл перевозить их за моря, при чем Грома опять прикидывал в уме, позволит ли тариф такую операцию или нет. Спор длился бы и дальше, но поднялся Холодец и сделал знак рукой, чтобы подождали, пока он хорошо и раскатисто откашляется. Он протер ладонью мокрые от слез глаза и на размашку провел рукой по рыжим усам.

— У нас, казаков, давно собираются основать станицу и приписать к ней всех. Поставят так, что хочешь-не хочешь, а приписывайся. Вот почему и переезжают, все равно сдвинут с места.

— Не потому, совсем не потому, — сказал Могиленко, опасливо оглядываясь вокруг, и добавил таинственно, — а потому, что житься от них не стало. Все равно сведут, они давно постановили переловить всех в отдельности... Скоро совсем не будет житься.

— От кого же это не будет житься? — спросил озадаченно председатель.

— От розенкрайцеров и лионских братьев, вот от кого, — ответил Могиленко, не понимая, почему может быть задан такой наивный вопрос, и прикрывая рукой голову от электрического шара под потолком.

— Отставить лионских братьев! — завопил секретарь. — Вопрос о них потом, при обсуждении опасности, в свою очередь будет на повестке. Когда об общей опасности, а не теперь!

— Опасности, а? — нерешительно спросил председатель.

Не успел Корявко приподнять тяжелые веки и посмотреть внимательно на Могиленко, как слова секретаря заставили его повторить движение, всмотреться в секретаря и обвести пытливым взором всех остальных. Опасность? Х-м, задумались невольно все, и здесь ее не избежать! Кому то такая мера не понравится, и они начнут устраивать козни и препятствия. Лучше не думать об этом, отложить до времени, когда вопрос появится на повестке заседания.

— Что важно было бы выяснить, — начал Ферапонтов, — сколько ушло в Зарубежье и сколько осталось годных для переезда и окончательного учета.

— По статистике, а? — оживился председатель. — Это можно выяснить. Господа, кто у нас статистики, прошу высказаться по заданному вопросу.

Оказалось, что статистики все и при том природные, с большим, проверенным стажем. Одни считали, что в Зарубежье ушло два миллиона,

другие же считали, что гораздо больше, если прибавить к тем, кто ушел в первые годы, еще и тех, кто перешел потом в последующие годы самотеком. С этими, доказывали они, число должно возрасти до трех миллионов, если не больше! На это возражали другие, что при неблагоприятных условиях первых годов, не только седые легионы, но и многие другие успели перейти на тот же подножный корм, и что таким образом теория о самотечности отпадает сама по себе, так как ясно по любому арифметическому задачнику, что столько то втекает, столько же и вытекает.

На это возразили другие, и голос Ряшкова, человека особого закала и приспособляемости, поднялся мощно над другими. Он считал, что так как русский человек — двужильный, то он не только проживет там, где добруму иностранцу не прожить и двух годов, но заживет за милую душу, организацию свою создаст, балалаечников на сыгрывки заставит ходить, храм родной воздвигнет, русский уголок с мясными пирожками и кофе по-варшавски откроет, печатное слово наладит, возьмется за устройство еженедельных балов, вечеров и вечеринок, похоронную кассу, кассу взаимопомощи разовьет, примется за выбор королев и пятое-десятое, и не только доживет сам до второй юности, но и задержится в ней на неопределенное время. Выслушав это с особым интересом, Пушкирев поспешил добавить, что все это верно, и то, что русский человек — двужильный и проживет там, где не прожить другому, и то, что храм родной построит, и во второй юности задержится за милую душу, все,

все, перечисленное Ряшковым верно, так как русскому человеку ни по чем недуги и напасти.

Соглашаясь в принципе со своим председателем и Ряшковым, другие, однако, настаивали, что все это верно, нет слов, но только в точном применении к родной обстановке. Заграницей же организм русского человека не может не быть потрепанным по многим причинам, и они начали перечислять их, прижимая к ладони палец за пальцем. Некоторые из этой группы вместо перечисления причин, сводили их все вместе, ссылаясь на не лишенный оригинальности довод Грозы, что самый факт существования на другом полушарии земли уже сам по себе губителен для русского человека. Третья шла дальше и пытались объяснить на опыте науки, почему русский организм, несмотря на всю его природную стойкость и сопротивляемость, не может не поддаться износу. Вред, по их мнению, шел от того, что нет правильного питания настоящей отечественной пищей, а приходится питаться чем попало, что можно найти на местном рынке, например, замороженным мясом десятилетней давности, а не свежего убоя, что годится иностранцам, а не русскому человеку. Затем, указывали они веско, есть еще такие медвежьи углы российского Зарубежья, как экваториальная Африка и Огненная Земля, где до сих пор нельзя найти круп, злаков, кэты и красной икры, к которым с младенчества привык русский человек. Четвертые шли дальше и считали не менее важным чем физические причины, как мороженое мясо и отсутствие гречневой крупы, нравственные причины, указывая на то, что

организм русского человека надорван душевными страданиями, тоской по родине, а, главное, хронической бессоницей, так как он все не может дождаться утра возвращения на родину, поэтому тяжело ворочается и не спит по ночам. Но важнее еще то, указывали они, что за эти годы у русского человека давно открылись старые раны, а у кого их нет, то он успел себе нажить грыжу от тяжелой жизни и суставной ревматизм. В нормальное время, у себя на родине, у стен родного храма, под тенью березок и черемухи, все это давно прошло бы, а старые раны так зарубцевались бы, что одно удовольствие.

Упоминание о старых ранах пришлось по душе Пушкину и он с готовностью согласился, перекрестившись при этом особо истово, что от них умирает много народа — царство им небесное!, но что у себя на родине, вблизи родного храма, да еще с березками и черемухой, действительно, все недуги прошли бы за мое почтение!

Спор продолжался с неостывающим жаром и голоса природных статистиков разделились поровну, одни считали, что двужильных русских умирает не больше пяти душ на тысячу, а те, которые были за старые раны, считали, что никак не меньше десяти, а то и с некоторой долей сотой.

— Позвольте тогда так согласиться, — сказал один из самых опытных статистиков, Ферапонтов, — ввиду того, что голоса разошлись поровну, то смертность в среднем семь душ на тысячу. Приемлемо для всех? Так! Ежели принять число без самотека в два миллиона, то за

четверть века скажем, — он сделал в воздухе несколько движений пальцами, пошевелил губами и пробежал живыми глазами по потолку из угла в угол, — триста пятьдесят тысяч приходится сбросить, как безвозвратно выбывших, царство им небесное! Таким образом, без прироста, одного коренного состава остается сще миллион шестьсот пятьдесят тысяч. Так? Согласны все?

— А каков же прирост?

— Какой бы ни был, это — прибыль! Чистая польза!

— Миллион шестьсот пятьдесят тысяч! — вздохнули статистики. — С таким числом много еще можно сделать!

— Что тебе столица! — крякнул от удовольствия Молибога.

— Народ то какой, все национально-мыслящие! Одних дворян то сколько!

— Что дворян! — вздохнула председательница Воробей. — Были бы культурные люди! Приедут, навезут библиотеки, пооткроют кружки, литературные чтения! Какую культурную работу можно будет провернуть!

— Одних генералов с ново-произведенными поди до полутораста наберется! — заметил в глубоком раздумье Пушкирев, ни то с радостью, ни то с сожалением.

— Вот учесть всех для именин Зарубежья.

— А и впрямь — именины Зарубежья! Экой великий праздник! Подумать только!

— И так, — сказал растроганно председатель, — после важного доклада Ряшкова, осветившего всесторонне намерения высших кругов, ясно ли представляется всем нам на-

кануне чего мы стоим? Есть ли у нас провидцы и ясновидящие среди собравшихся?

Оказалось, что есть и провидцы и ясновидящие, да еще какие! Каждый заглядывал в будущие и видел ясными глазами то, что нельзя было увидеть в другое время. Кроме того, за окнами шла полная весна, что немало способствовало увлекательному дару провидения.

— Прежде всего, — сказал председатель, — нет никакого сомнения в том, что Главный Центр и связанные с ним высшие сферы обратили на нас свое благосклонное внимание. В чем выразиться это и каково будет наше участие должно ясно представиться каждому из нас.

— Значит, столица Зарубежья в полной красе! — крякнул Молибога.

— Огромный плацдарм для седых легионов! — воскликнул фон Мюллер

— Красивая культурная жизнь! — добавила председательница Воробей.

— Дальнейшее расширение всякой полезной деятельности. Еженедельные собрания, балы, вечера и вечеринки.

— Сиротские дома, попечительство и прочее, — вздохнул Головков, — торговые палаты, отечественная мануфактура, медали Красного Креста. Неужели дождемся?

— Какие должности откроются, губернаторство, вице-губернаторство, предводительство дворян...

— Небось и тарифы прежние восстановят!

— Поставки, — хрипел Корявко. Видно было, что он хотел сказать больше, но, подумав,

решил, что этого достаточно для скромного трудового человека.

— Как до этого было, — задумчиво заметила Елизавета Воробей, — нет людей и что поделаешь! До того дошли, что секретарь выбегал на крыльце, не свалился ли с неба какой парашютист! Вот узнали бы в Центре и в столице об этом, просмеяли бы нас! А теперь сами наезжают, да какие важные, какие начитанные, учёные!

— Теперь понаедут и в колясках, и в экипажах, только встречай!

— Зачем же в кибитках да в экипажах, по старой моде! Прибудут в поездах, в специально зафрахтованных пароходах, не как несчастные беженцы, а солидные, серьезные люди, не только осесть на земле, но и построить свой собственный зарубежный город! Подумать только — свой собственный!

— Вот именно, осесть на земле и построить себе город! — воскликнул председатель, обводя всех счастливыми глазами. — Деревню свою и город, столицу, так сказать, и усадьбу. Именно так, по весне, по такому дню!

Председатель мог бы и не упоминать о весне, так как по одним взглядам членов правления можно было судить, что каждый знал, что делалось за окнами, что там, под ясным звездным небом царила полная весна в таком могуществе своих чар, против которых никто не мог устоять. При упоминании же о земле они почувствовали то неудержимое томление, которое охватывало их в прежние весны, но теперь с такой потрясающей силой, перед которой все остальное бледнело. Они знали, что в вопросе с

землей, с посадкой на нее, равно как и в вопросе о посадке на ней всего Зарубежья не могло быть никакого противоречия, и что даже те, кто признавался в своем пессимизме и скептицизме, тянули свои руки вверх для единодушного голосования.

Как ни чувствовать это председателю, обводившему всех мокрыми от счастья глазами! Потом, когда события приняли совершенно неожиданный оборот, вспоминая об этом собрании, он не мог не признаться в том, как испытанные в боях с жизнью члены правления — да и он сам! — безоговорочно поддались таинственным чарам весны. Теперь же, в этот вечер, он знал, что все вместе пойдут на все, вплоть до заклада жен и детей ради осуществления своей заветной мечты.

— Значит, в первую очередь, вопрос с землей, порешим его.

Наступило молчание, пока каждый справлялся со своими мыслями и весенним томлением.

— Корявкина свояченица прослышиала о подходящей земле, о целом угодье, какое! о целых кабинетных землях, где можно не только сесть, но еще так развиться, что мое почтение! И недалеко, всего в восьмидесяти с лишним милях отсюда. Земли столько, что на все Зарубежье хватит.

От этих слов все пришли в оживление. Раньше только говорили о земле, но она была в отдаленных мечтах. Стали спрашивать, где, какая, как далеко, сколько ее. Спросили Корявко, знает ли он что либо об этой земле.

— Первый раз слышу! — ответил он, не ми-

гнув глазом, но заметно розовея в лице.

— Господа, — воскликнул председатель, — отнесемся к этому вопросу, то есть, к земле, как к драгоценнейшей сокровищнице, и посвятим ей особое собрание, пока тоже без нашего нового кооптированного члена, прибывшего вчера и теперь отдыхающего наверху. А, затем, порешив, включимся все в этот вопрос и устроим именины Зарубежья!

— Решать надо поскорее, — предостерегающе заметил Могиленко, оглядываясь назад.

— Само собой разумеется, что скорее, чего же терять ценнное время!

— Не потому.

— А почему же?

— А потому, что сорвут.

— Кто же сорвет? — теперь все двинулись в сторону Могиленко.

— Кто, а? Лионские братья! Мне уже сейчас подают знаки через лампочку.

## IX

### НЕОЖИДАННЫЙ ДЕЛЕЖ

Все было готово для окончательного действия за исключением одного решения: посвятить ли важных гостей в свои планы или до времени оставить вопрос открытым. Некоторые настаивали, что постольку, поскольку они копировали таинственного стариичка и готовы были провести его в правление, то не пригласить ли его на особое заседание, и там ввести во все планы Общества. Другие шли дальше и настаивали на немедленном включении своего нового гостя во все дела, ссылаясь на то, что последний томился без занятий.

На самом же деле было совсем не так. Чижиков проводил дни в делах и только вечерами показывался в Обществе, деля свое время между гостиной, карточной и «детской» Коли Усова. Второй важный гость также не скучал, проводя немногие дни, как гость Общества, не выходя никуда, развлекаясь по своему и не причиняя никому никаких забот.

Другие, более положительные и серьезные члены Общества настаивали на том, что до тех

пор, пока у них не будет ничего веского и определенного в руках, пока они не смогут «ошарашить кое кого припрятанными козырями», не приглашать их на собрание и не посвящать ни во что. То, что подразумевалось под «козырями» было понятно всем и не требовало никаких пояснений. К накоплению этих козырей и была направлена энергия Общества.

Пока шло это накопление, таинственный старичек проводил время то у себя, в отведенной ему наверху комнате, то внизу, у Коли Усова, прислушиваясь к игре балалаечников и приглядываясь к посетителям. Он не представлял хранить таинственное молчание, держа под бородой руки, но охотно наклонял голову в знак согласия с любым, заговаривавшим с ним. Наблюдательные члены Общества заметили, что и с Чижиковым он не только не разговаривал, но и не встречался, хотя некоторые продолжали настаивать, что оба гостя нет-нет и обменивались таинственными знаками. Разговор об этих знаках особенно волновал Могиленко, который даже высказал мысль, что не связаны ли они каким либо образом с лионскими братьями. Но председатель, ужаснувшись такой кощунственной мысли, строго на строго запретил ему упоминать о подобной ереси.

На всякий случай осторожные члены Общества, искусно наведя Чижикова на подобающий разговор, спросили напрямик, не та ли это важная особа, о которой он упоминал, как о человеке, следовавшем за ним. Но Чижиков даже не стал слушать их и немедленно отрекся.

— Вы меня и не спрашивайте, не скажу вам

ни за, ни против. Не настаивайте, если не хотите ничего сорвать. — Он подумал о корявкинских кабинетных землях. — Все определится в свое время, да еще как!

Этого было совершенно достаточно, чтобы успокоить еще сомневающихся членов Общества и заверить их в том, что таинственный человек и есть тот, о котором упоминал Чижиков.

Наконец наступил весенний день такого магического напряжения, что все без уговора знали, что пришло время действовать. Посвященное этому важному моменту заседание носило исключительно торжественный характер.

— Господа, сядем под иконы, я вам скажу что то важное. Вопрос сегодняшнего экстраординарного заседания достаточно был освещен на предыдущих заседаниях, остается только принять решение. Вот к нему, как ваш председатель, я и призываю вас сегодня. Вопрос о земле, которую мы приторговываем.

— Не земли, а кабинетные угодья, — поправил его Ряшков.

— Что бы там ни было, мы ее приторговываем для будущих нужд Главного Центра.

— Дух захватывает от одной мысли! — воскликнула председательница Воробей, — и все же страх у меня, как бы там, в Главном Центре, не стали бы смеяться над нами! Вдруг просям?

— Зачем же подобные мысли в такую торжественную минуту, когда мы принимаем столь важное решение!

— А не может ли так случиться, что вдруг

из всего этого ничего не выйдет? Вот тогда просмеют, будьте покойны!

— Почему же не выйдет? Да Господь с вами! У нас на руках все данные, план действия ясно подсказан из многих разговоров с Аполлоном Александровичем, затем с новым нашим гостем...

— Ну, этот то все молчит!

— Молчит до поры до времени, а потом так заговорит, только слушай, да поражайся.

— Единственно, что может случиться в результате подобных опасных разговоров, — вставил веско Ряшков, — что вы профукаете эту землю. Кто нибудь возьмет и опередит нас. Кто знает, не приехал ли еще кто нибудь из Центра, и держится в стороне, сам присматривая землю для нужд высших сфер!

— Правильно, правильно, Ряшков, — воскликнул председатель, — именно так, кто знает, не наехали ли закупщики из Главного Центра и не скапают ли окрестные пустые земли?

— Все может быть, — согласилась Воробей.

— Единственно, в чем нам могут сделать упрек, — это в том, что мы некоторым образом опережаем события. Положим так! С другой стороны, плохо ли, что мы смотрим вперед, учитываем планы и задания высших сфер и, действуя в духе их, помогаем таким образом своему начальству.

— За это опережение, — вставил наставительно Ферапонтов, — нас отметят в лучшем виде!

— И вниманием, и милостями...

— Производствами и наградами...

— Что — производствами, дали бы культурных работников!

— Вы того, насчет производства что то хотите сказать, — сорвался ожесточенно секретарь, — не будь производств, то так можно захиреть, так опуститься, что навсегда потеряешь уважение собственного достоинства.

— Будут они, эти производства, будут, — заверил председатель. — Начальство не обойдет своими заботами и попечением. Если мы проведем наше дело точно, так оно просто не нарадуется...

— Это все так, — сказал Райковский, — а позвольте мне, как скептику, задать следующий вопрос. Приторговываем мы землю. Хорошо. А чем будем платить за нее? Как Ноздрев — борзыми щенками?

— Зачем же щенками?

— Ну, хорошо, а чем? Из каких средств?

— Как чем? Как из каких средств? Вы меня спрашиваете, как своего председателя, или вообще?

— Как председателя.

— Так извольте, — начал ласково, но твердо Пушкирев. — Я и отвечу, как председатель. Извольте. Средства у нас из трех источников. Первое, суммы самого Общества. Это раз. Два, средства сберегательной кассы. Три, похоронная касса. Всех средств наберется достаточно, чтобы внести основательный задаток и удержать за собой землю.

Слова председателя заставили призадуматься. Все решено, остается только единодушно проголосовать, записать в протокол, расписаться и спуститься к Коле Усову для прило-

жения сургучной печати. Решено и закончено! — как это легко! За окном шла весна, с каждым днем все больше отравляя людей своим терпким ядом. Не лучше ли покончить сразу с этим мучительным недугом, даже если для этого и нужно пообчистить средства Общества, заглянуть в сберегательную кассу и добраться по пути до похоронной? А умрет кто? Нет, нельзя допустить, чтобы в такой важный момент кто либо взял и умер, разве от наплыва чувств, не совладав ни с собой, ни со своим сердцем!

— Покончив вопрос со средствами, перейдем к другому вопросу, к назначению подготовительной и приемочной комиссии.

— Прежде чем назначить комиссию, — заметил Ферапонтов, — желательно было бы поговорить в общем и, так сказать, в целом о приторговываемой земле, о ее качествах, применении и прочем. Пока интересовались землей, просто, землей, в расплывчатом образе, а теперь, когда есть она в реальной форме, так об этих самых формах и хотелось бы поговорить.

— Вполне согласен, вопрос поставлен правильно. Вы знаете, что о земле просыпала свояченица нашего уважаемого Максима Максимовича, которая кроме того еще и любезно взялась провести всю сделку, приготовив бумаги и пятве-десятое. Может быть вы, Максим Максимович, поделитесь с нами чемнибудь по поводу этой земли?

— Я? — осторожно отозвался Корявко, приоткрыв глаза и опять вспомнив об обиде, нанесенной скотопромышленниками. — Ничего не

слышал, ничего не могу и сказать. У меня женский пол на собственном почине, что они делают, Бог их знает! Иногда стороной, как об этой земле, услышишь... Ничего не знаю. — Корявко опять устроился удобнее в кресле и прикрыл сонные веки, но через пол минуты снова приоткрыл их, чтобы проверить, какое впечатление произвели его слова.

— Прежде всего, какая почва в тех местах?

— Тоже важный вопрос, — согласился председатель. — Надо об этом обсудить досконально, самым толковым образом. Кто у нас почвоведы?

Оказалось, что почвоведы все, с той только разницей, что часть была специалистами по чернозему, а часть по суглинку, и только Ряшков был одинаково силен и по тому и другому.

— Ряшков знает больше всех, — прохрипел Корявко. — Послушаем, что он скажет.

— А ты откуда знаешь те места? — недоверчиво спросил Молибога.

— Ты, стариk, меня спрашиваешь? Изволь, отвечу. Как мне не знать, если я на своем старом кобеляке изъездил вдоль и поперек эти места с первого года, как приехал сюда. Каждую весну езжу, приглядываюсь к землям, горюю, а езжу! Я по помещичьей линии, мне ли не знать о земле!

— А какого, к примеру сказать, качества приторговываемая земля, годная ли она?

— Земля бывает только двух сортов, — авторитетно отозвался Ряшков, — хорошая и очень хорошая.

— Ну, это ты, Ряшков, маленько того, за-врался, — закричал секретарь, но впрочем дру-

желюбно, — ты это внизу говорил о водке, что только и бывает двух сортов.

— Говорил и буду говорить. О водке и земле, представь себе, один и тот же сказ!

— А что, есть лес в тех местах?

— Корабельной рощи, вроде шишкинской, нет, это скажу прямо, но вообще в тех местах растительность, зелень, древонасаждение, всякое другое натуральное украшение, этого сколько угодно, глазами не оторвешься, не налюбуешься. А воздух, сплошное благородство-рение воздухов.

— А реки, поди, нет, как у нас в казачестве! — заметил Холодец. — Без реки компот получится!

— Отчего же не быть там реке? Представь себе, и река есть!

— А ты, Ряшков, того, не закручиваешь ли ненароком? — и Молибога уставился на него подозрительными глазами. — А ну, побожись на икону!

— Зачем же я буду закручивать? Да еще божиться? Ты знаешь, старик, как религиозные люди относятся к божбе, а? Приедешь, посмотришь, убедишься сам. вспомнишь тогда Ряшкова, поклонишься ему в ноги.

— А как почва, мы это еще не выяснили. Этот вопрос должен быть особенно ясно освещен.

— Почва подходящая, — живо отозвался Ряшков.

— Суглинок?

— Чернозем?

— И того и другого вполне достаточно!

— Совсем как в добродой селянке, — подумал

Корявко, — и каторцев и оливок вполне достаточно!

— А как земля, как эти кабинетные земли в смысле военных нужд? — спросил фон Мюллер, — в смысле применения к местности? Важно для будущих операций.

— А лучше не найти на расстоянии тысячи миль! Подходит, как нельзя лучше!

— Если так хороша, то не отвести ли ее целиком под плацдарм седых легионов?

— Там на все хватит, — успокоил его Ряшков. — А для плацдарма лучше не найти, хоть шарь руками!

— Вы бы лучше о культурной работе подумали, — упрекнула их председательница Воробей, — чтобы места было больше для библиотек, читален, умственных центров... А вы — плацдармы!

— Без легионов и плацдармов нельзя, — воскликнул секретарь. — Если их не будет, не будет и того, знаете... Лучше поосторожней с такими вещами, которые не понимают...

— Одну минуту, господа, — прервал их председатель. — Так мы не успеем прийти к сути нашего дела. Давайте лучше не отходить от него. Мы только что заслушали краткое описание приторговываемой земли. Было много вопросов, на которые докладчик дал толковые ответы. Теперь, когда все удовлетворены, перейдем к следующему, назначим проверочную комиссию для предварительного осмотра земли, а попутно с этим проведем дело со сбором средств.

— Средства указаны, — прохрипел Корявко, — Общества, сберегательной кассы, похо-

ронной кассы. Это решено. Комиссию же не назначать, а выделить одного Ряшкова, а если нужно, придать ему и Плющина. Они оба ближе к земле.

Что этим хотел сказать Корявко, этот золотой, опытный в делах человек, Бог его ведает! Ни он сам, ни любой член правления, ни даже председатель, а тем более Ряшков и Плющин не могли знать, что он подразумевал, кроме общеизвестной истины, что человек всегда ближе к земле, даже если и норовит оторваться от нее в своих планетарных полетах.

Не известно, отчего задумалось правление, от слов ли Корявко, или над тем, что назначать приемную комиссию или достаточно выделить Ряшкова, придав ему Плющина! Глубже всех задумался председатель, что было естественно — где больше забот и мыслей, как ни на этом посту! Он припомнил, как при неожиданном обсуждении вопроса о родных могилках, Ряшков встал и сказал, что ему не хватает времени не только для мертвых, но и живых, что, на самом деле, была евангельская истина! Вспомнил и недавний спор, что пехотинцу не понять моряка, и как он был бы проигран, если в самую последнюю минуту Ряшков не привел бы с непреодолимой убедительностью свои слова: «а вот представь себе, поймет!» Как же такого человека, думал с умилением и благодарностью председатель, не послать на ответственное дело? Кто другой мог провести его так хорошо, как не Ряшков, оплот Общества, человек бывалый, крепкий по помещичьей линии, близко, как сказал Корявко, стоящий к земле!?

Крепко задумались и другие, не столько над тем, посыпать ли комиссию или снарядить одного Ряшкова, сколько над быстрым и решительным поворотом дела, поставившим их лицом к лицу с завершением заветного желания. Думали о весне, ощущая ее всем существом, не зная, провели ли бы они это дело в другое время года. Думали о себе, что сулило оно каждому из них в будущем. Думали о комиссии в расплывчатых формах и о Ряшкове, о его ясных, чистых глазах, о его мощной силе убеждения, его проворности. Думали много о последнем: там, где одному надо неделю, чтобы обернуться вокруг себя и оглядеться, Ряшкову хватит и двух часов. Думали и додумались, что все, что нужно, съездить на место просто ради формальности и окинуть глазом землю.

На этой форме и остановились, проголосовав единодушно за предложение Корявко послать Ряшкова, придав ему, чтобы не было скучно в пути, Плющина... Потом, после неожиданного завершения событий, многие признавались в том, что поднимая руки в единодушном голосовании, тягостное чувство сомнения начинало терзать каждого. Но если тогда поставили бы на голосование вопрос, может ли предчувствие терзать грудь русского человека в таком деле, как вопрос приторговывания земли, то решили бы, что нет, не может быть места никаким малодушным колебаниям в такой важный и ответственный момент.

Отъезд Ряшкова и Плющина назначили на воскресенье после обедни и краткого молебна

в присутствии всего правления. Ради торжественного случая Ряшков вынул просфору за здравие, облобызал ряд икон, постоял на коленях перед Михаилом Архистратигом, осветив лик своего защитника возжеными свечами, все для того, чтобы помог он ему, скромному и недостойному рабу, выполнить с честью и добросовестностью важное поручение. Председатель Пушкарев истово крестился и взыхал, но не от тягости и мук, а от радости и сознания, что выполняется огромное дело под его руководством и что и он, также скромный и недостойный раб, ведет его к окончательному завершению. Он смотрел на Ряшкова, умилялся и радовался, что выбор пал на верного человека.

Перед отъездом Коля Усов налил всем по рюмке и предложил выпить «за любимую женщину», но Ряшков строго оборвал его, сказав, что в таком важном деле не до любимой женщины, и если он и выпьет, то только за успех возложенного на него предприятия. Выпили несколько «посошков», при чем Ряшкова не нужно было уговаривать, так как все знали, что он не возьмется ни за что без соблюдения твердых правил традиций. При этой процедуре присутствовали Чижиков и таинственный старичек, относительно которых был уговор не посвящать их в цель ряшковской поездки.

Наконец настал момент, когда все было готово к отъезду. Около ряшковского автомобиля суетился фон Мюллер, похлопывая по крыльям, осматривая шины, для чего то сверяя счетчик, успевая в это же время порассказать об экспедиции в Среднюю Азию, которую

вел ни то он, ни то кто то другой, как за ней гналась погоня и как он ушел от нее. Он так увлекся рассказом, что хлопал себя по карману, словно проверяя, там ли его револьвер. Ряшков сошел с лестницы, заправляя полы своей шубы на «больших верблюдах», остановился на минуту около фон Мюллера, прислушиваясь к рассказу, чтобы выяснить, не принимал ли он сам участие в этом славном деле, или не знал ли кого лично из состава экспедиции. Он слушал бы и дальше, но председатель, взъявший больше чем когда либо, простирая руки ни то для объятия, ни то для благословения.

— С Богом, Ряшков, с Богом, не теряй времени! Езжай осторожней, а на месте все высмотря досконально. Столько на тебе ответственности, как только справишься!

— Будьте покойны! Ряшков ничего не упустит и не подкачет! Эх, тройку бы мне сейчас вместо кобеляка с гнедым коренником, да с пристяжными с выкрученными шеями, с бубенцами и колокольчиками, показал бы тогда Ряшков — помещик, как деды и прадеды его ездили по Руси! А тут приходится отправлять газолином дороги.

Пушкирев собирался дать еще несколько последних наставлений, но на подъезде показалось несколько человек вместе с Чижиковым и таинственным старичком. Председатель поднес многозначительно палец ко рту и Ряшков понимающе кивнул головой.

— Весенняя прогулка! — воскликнул радостно Чижиков, оглядывая всех с любовью, — как должно быть хорошо катить таким пре-

лестным днем по полям и ухабам под ласковым весенним солнцем! Кому достается это счастье, кому только остается о нем мечтать, особенно нам, горожанам! — и он от расстроенных чувств закатил за веко глаз.

— Во сколько же это цилиндров? — спросил таинственный старичик, выпутав из под бороды руки и притрагиваясь к ряшковскому автомобилю.

— Шестнадцать, — ответил Ряшков, живо поворачиваясь к нему.

— Ну и подоврал, — заметил Райковский, — еще вчера было восемь, а сегодня шестнадцать!

— А вот представь себе, что в этой модели всегда было шестнадцать! Если не веришь, я тебе сейчас докажу, — и Ряшков взялся за петлевые замки, чтобы показать мотор.

— Ладно, я так сказал, нам, скептикам, иногда просто трудно удержаться! — заметил дружелюбно Райковский.

— У Ряшкова своих восемь цилиндров, да столько же и в его кобеляке, вот и выходит шестнадцать, — и Молибога ослабился от своей шутки.

— Это что же, кто то собирается сорвать поездку? — завопил секретарь, сбегая по лестнице с протоколами в руках, в которых была вписана резолюция отправки Ряшкова и Плющина, — не время возиться с показом, а то, знаете, можно и не выехать совсем...

— Действительно, теперь не время. Надо ехать, а то, верно...

Что — верно, так и не доказал председатель, не потому ли, что все знали, что он подразумевал, не потому ли, что тут стояли важ-

ные лица, невольные виновники неожиданного исполнения заветной мечты. Да и Ряшков знал, что время не ждёт, а не такой он человек, чтобы тратить его понапрасну, поэтому он спешно охлопал себя по карманам, чтобы убедиться, что все, включая волшебный портсигар, на месте. Он грузно плюхнулся за рулевое колесо, откинулся всем корпусом, нашаривая ногой стартер, который, не в пример своему хозяину, не отличался подобной ему стремительностью и всегда требовал некоторого времени, пока не приводил в движение живые части мотора.

Заведя автомобиль, Ряшков вылез из него, чтобы еще раз обойти вокруг и осмотреть, все ли в порядке. Он сбросил свое верблюжье пальто, чтобы ехать налегке навстречу весеннему дню, поразив неожиданно секретаря тем, что на нем оказались старые армейские рейтязы и рубашка на выпуск, перехваченные узким ремешком. Это обстоятельство обеспокоило секретаря настолько, что он ничего не сказал Плющину, стыдливо прижимавшему к груди сверток, который по той бережности, с какой он держал его и по форме мог содержать несколько бутылок крепкого напитка усовского завода марки «Дыхание Весны».

Ряшков сел в автомобиль, отпустил тормаз и под последние наставления провожавших его двинул стремительно вниз по улице. Секретарь все никак не мог успокоиться относительно одежды Ряшкова, но председатель успокоил его, сказав, что в дороге, да еще по делам Общества, старая военная форма не только удобна, но и по заданию наиболее подходящая, так

как таким образом соблюдается при осмотре казенной земли старая российская традиция. А раз традиция, то как можно не выполнить ее! К словам председателя добавил Псицин, что обязательно что то произойдет, если точно будет соблюдена святость старой традиции. Что именно, он не мог сказать, но был твердо уверен, что все будет в полной согласованности с древними устоями.

Ни у кого не оставалось никакого сомнения в том, что что то произойдет с поездкой Ряшкова, хотя могло остаться спорным, все ли в ней было связано со святой традицией.

Пока члены правления тревожили свои умы над этими мыслями, Ряшков уже выезжал на главную улицу, чтобы по ней выехать до шоссе, ведущего за город. Но не успел он доехать до угла, как перед ним внезапно всплыла грузная фигура Корявко.

— Ты вот что, Ряшков, — тяжело переводя дух, сказал он, — совсем ведь позабыл, вот дурья моя голова! Тебе моя младшая свояченица в письме просила кланяться, спрашивает, а где тот симпатичный мужчина, почему никогда не заедет...

— Младшая свояченица? — спросил Ряшков, глуша мотор и откидываясь на сидении.

— Ну да, Нюшка! Почему, пишет, не заедет как нибудь! Знаешь, как она тебя называет — симпатичный мордовянчик! На одинокой ферме каждому рад, а особенно тебе Нюшка будет рада. Совсем почти по дороге, чуть в сторону. Но тебе с машиной то что!

— Хм!, — ослабился Ряшков, проводя ру-

кой по малиновым щекам. — Нюша, а? Одна на ферме, а?

— Ждет тебя, не дождется. Когда ты успел покорить ее сердце, Бог тебя знает! А ты так: заезжай сперва к ней, а потом по общественным делам, по ним ты всегда успеешь. Нюшка ждет, такой ужин устроит, одно удовольствие, на веранде, эх, чудесно, право!.. Хотя нет, не стоит, Ряшков, не стоит, говорю, служба и общественная работа важнее всяких встреч, отдохва, пусть даже заслуженного! и пятого-девятого. Если тебе поручили выполнить дело, выполнни, как священный долг! А жалко, а то отдохнул бы в семейной обстановке, да и Нюшку одинокую порадовал бы, тоже поди соскучилась по интересным людям... Ну, ничего не поделаешь, служба и долг важнее всего.

— Да, это верно, — живо согласился Ряшков, — для меня лично служба важнее всего. Не знаю, как для других!

— Поезжай, поезжай! Я только так сказал, передал, что Нюшка писала, скажи, пишет, этому симпатяю-мордованчику...

И опять Ряшков приналег на руль, ведя автомобиль к выезду на главное шоссе, навстречу ветру, весенним облакам, навстречу самой весне. Давно позади остался грузный дом Общества Зарубежья, парадное крыльцо с провожающими, тучная фигура Корявки исчезла так же внезапно, как и появилась. Остались позади шумные улицы и город заметно поредел и наконец совершенно сошел на-нет перед простором открытых полей.

Дорога, дорога, что только не делает она с душой русского человека, унося его своим стре-

мителъным пробегом не только вдоль верст и миль, но и вдаль всей его жизни, убаюкивая его и увлекая сладкой дремой! Как рвется он к ней, сколько и по каким дорогам ни переездил бы он за свою жизнь, но ему все мало, он все рвется вперед и нет ему остановки! Где же ни чувствовать себя в своей стихии, как не на дороге — близкой или далекой! — только что выехав из тесных улиц города на простор, на встречу шалого ветра. под огромнейший купол открытого неба, на встречу облакам, то лениво плавающим в нем, то несущимся на подобии его самого, Бог весть куда! Где же ни чувствовать простора его беспскойной душе, как не на дороге, гоня назад телеграфные столбы, клубя позади пылью, ожидая нового за каждым поворотом, приближаясь к далям и тотчас же отодвигая их опять за недостижимые грани!

«Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз как погибающий и тонущий я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала!» Кто, кроме тебя, мой великий учитель, мог сказать так восторженно и прекрасно, кто, кроме тебя, мог наполнить души русские на сотню с лишним лет неизъяснимой радостью и грустью далеких дорог!

Дороги, дороги, что только не делают они с душой русского человека, заставляя его то ликовать беспрчинно, то так же беспрчинно грустить, унося его в убегающую даль, словно там, на каком то отрезе пространства и времени, сольются вместе эти разлученные по несчастью половинки — душа его беспокойномятущаяся и далекая дорога!

С отдаленнейшей рани познал русский человек сладость и своеобразную печаль далекой дороги, разогнав по ней, по степи, по равнинам, холмам и лугам, по снегу заливчатый звон бубенцов, гоня назад верстовые столбы, обгоняя косяки журавлей, гусей, уток в небе, бег зайца в поле, разливая въедчивую грусть ямщицких песен и своей меланхолической думы, поддавшись безграничному простору, который не окинуть его ненасытному глазу, мешая грусть и радость, быструю езду, порыв ветра и своего духа, жалость разлуки, ожидание встречи, вперед, вперед, а куда? — весть его знает!

Колокольчики, бубенчики звенят,  
Простодушную рассказывают быль...

О чем думал Ряшков? О чем думали ямщики и их путники, несясь на взмыленных тройках по почтовым трактам и проезжим дорогам Руси, по ухабам и оврагам, полям и долам? Думали ли они о своей доле, о своей жизни, о желанной воле, которую не удалось — и до сих пор не удается — укрепить в своих руках, или о бе<sup>з</sup>граничном пространстве, перед которым все было таким малым и беспомощным, все беспричинным и н<sup>е</sup>объяснимым...

Так ездили пра<sup>д</sup>еды и деды Ряшкова в бричках, санях, на тройках, кто в таких же рейтузах, как и он, кто в бекешах, кто в шубах на больших медведях, в дохе, а кто и в шинели на подобии чичиковской, под небом осени, весны, под летние дожди, по снежному простору, сквозь выюгу и пургу... Кто знает, не встречал ли пра<sup>д</sup>ед Ряшкова на почтовом тракте тройку

с коренником по названию Заседатель, в которой, закутавшись в шинель, дремал убаюканный дорогой Чичиков выезжая под осенним небом из города Н. после открывшейся странной истории с мертвыми душами!

Ряшков-правнук ехал не в бричке, не в тарантасе, а в известном читателю «кобеляке», перекрестив в это насмешливое, но теплое название знаменитую автомобильную марку «Каделяк». Гнала его не тройка — «ах, птицы-кони!», а ехал он на таинственной работе восьми-цилиндрового мотора, сам восьми-цилиндровый человек, которому все нипочем! Кроме того, в отличие от Чичикова, Ряшков ехал в весенний день по самому живому делу, окрыленный доверием других, полный сознания своей высокой общественной миссии.

Как ни радоваться, несясь со скоростью пятидесяти миль по широкой ленте дороги, под ласковым весенним небом, мимо быстро меняющейся панорамы весеннего пробуждения! О чем думал он? О словах Корявко, этого золотого человека, об его свояченице Нюше, о скором привале, о столе, накрытом на веранде вблизи цветущих деревьев, о задорном женском смехе, о словах, брошенных случайно, но с намеренным расчетом, что они попадут куда надо?

Долго ли коротко гнал Ряшков навстречу весне, неизвестно, но как то вышло само по себе так, как поется в песне: «надо влево повернуть, повернул направо», и с того момента совершенно забыл о том, для чего и ради какой цели он выехал. Подумать, что только не делает дорога с русским человеком в ласковый

весенний день, когда так хорошо думается о женском смехе и случайно оброненных словах! Как все хорошо и радостно на земле в такой счастливый, беспечный день! Как сами по себе складываются слова:

Скорей бы в бричке по ухабам,  
Скорей бы в юные луга!  
Смотреть в лицо румяным бабам,  
Как друга целовать врага!

А еще лучше, мешая в бессвязных мыслях свою жизнь, судьбу, простор, слагать свои песни, как беспринципно слагали их ямщики, как слагал Ряшков: «эх, Корявко, Корявко, не человек, а золото, нет только места, куда пробу ставить! Хороший человек, но пройдоха, а куда же лучше корявкинская свояченица Нюша, куда лучше, тилимбимбом, тилимбимбом...»

— Смотрю я, и глаз не может нарадоваться, вид из окна такой удивительный, тут и деревцо, и ряд красивых крыш, край голубого неба! Действительно, не насмотришься! Вы не осознаете, какая у вас здесь жизнь! У нас, в столице, в такой квартире, — Чижиков обвел глазами по стенам комнаты и заглянул в прихожую, — жило бы шесть человек, она была бы нетопленая, да еще препротивная консьержка.

Чижиков сделал забавную гримасу, чтобы показать, насколько она была препротивна, и сейчас же добродушно рассмеялся. Он был рад, что попал к Корявко, у них было кое о

чем поговорить, не только о затоваренности и скотопромышленниках! Но в это время внизу раздался грохот и через минуту в переднюю ввалился Ряшков. На его голос из кухни вышел Корявко, и сразу стало тесно. Корявко был ростом ниже Ряшкова, но значительно шире и расплывчатее того. У Ряшкова была выкачена грудь, большие круглые ноги и отброшенный зад, но это были формы, а у Корявко же мешком огромное туловище и ступни в просторных штиблетах. Поперек шеи Корявко шел жировой жгут. Такой же жгут впрочем был и у Ряшкова, но у него он шел через спину от подмышки к подмышке, заметный особенно потому, что он любит носить узкие костюмы и держать руки в карманах пиджака, обтягивая его со спины вперед. У Корявко же был неизменный темный сюртук, просторный как пальто с чужого плеча, который, казалось, и составлял главную часть его одежды.

— Надеюсь, не помешал, я только на минуту, прямо с дороги, надо нестись дальше...

— Оставайся, позавтракаем вместе. У меня только сегодня мясное. Ряшков ошибся днем, — обратился Корявко к Чижикову, — у меня один день рыбное, обязательно селянка, а на другой вареная говядина.

— Это что же, балансированный стол? — поинтересовался Чижиков, ласково поглядывая то на Корявко, то на Ряшкова.

— Селянка, — сказал Корявко, заглядывая в кухню, что там делается на плите, — селянка, говорю, вообще хорошо сбалансированная пища. Оливки, капрцы, не говоря о другом...

Говядина же исключительно для разнообразия стола.

— И вы уходите от такого удовольствия!

— Ряшков днем ошибся...

— Я вообще увлекаюсь рыбным, а к тому же сегодня столько дел!

— Так приходи завтра, не ошибешься! Да, между прочим, как поездка? — и тон Корявко стал совершенно иным, с заметным следом случайного вопроса.

— Поездка? Лучше нельзя было устроить!

— Значит, все как следует?

— А как же могло бы быть иначе?

— Ну да! — протянул Корявко, ни то с одобрением, ни то с сомнением. — Как же на самом деле и могло бы быть иначе! А как Нюшка?

— Как будто ничего, — ответил Ряшков, в свою очередь стараясь придать голосу оттенок случайности. — Поживает себе. Просила кланяться, спрашивала, как Максим Максимович, как сестрицы.

— На остальное то времени хватило или нет?

— Как же не хватило! Мне за два дня много можно сделать. Человеку проворному...

— Значит, дошел до всего, а? — спросил Корявко загадочно. — Правление, надо полагать, не нарадуется!

— Да уж будьте покойны!

— Хм! — протянул Корявко, поглядывая на него то с восхищением, то с сомнением. — Ну, иди, Ряшков, приходи завтра, если останешься жив! А мы сейчас с дорогим гостем присядем за столик и пропустим по самой что ни на

есть малой. Прошу, — сказал он, закрывая за Ряшковым дверь, — сразу перейдем в столовую, чтобы не терять драгоценного времени. Я говорю, что у меня такой порядок: селянка один день, говядина другой. Ничто не приедается таким образом. Прошу.

Корявко передвинулся в кухню и вынес оттуда на огромном блюде несколько фунтов развареной говядины и картофеля, грузно отодвинул стул и взялся за графин водки размером с добрый кувшин.

— Ну, как, дождались поезда? — ласково спросил Чижиков, усаживаясь за стол.

— Поезда? — переспросил Корявко, открывая пробку графина и внимательно внюхиваясь. — Это у меня на травяном настое, зубровка. Поезда?

— Да, со скотопромышленниками. Сколько лет ждали — тринадцать или больше?

— Поезд то кажется прибыл, но с другими пассажирами. На этот раз землепашцы или строители. Как же, прибыл, прибыл, — ожидался он. — Свояченица уже бумаги проводит.

— А получено что либо? — спросил Чижиков, придая в свою очередь голосу тон незначительности, рассеянно ища что то на столе.

— Ну, как же, это в первую очередь. Основательный задаток, примерно, в треть стоимости.

— Так быстро? — поразился Чижиков, боясь за рюмку и принюхиваясь к запаху зубровки.

— У нас вообще все быстро делается, — ответил Корявко с видимым сожалением.

— Значит, хорошо взяли?

— Не я взял, а свояченица. Шустрость сверхъестественная, дай Бог каждому! А взяла, как было уговорено, скинула по гриненнику с десятины. Теперь жалею, да поздно.

— А я считаю, что хорошо, что скинули, свои люди, доверчивые, таких Бог строго настого запрещает обижать. И на счет фирмы хорошо: Максим Максимович с женой и свояченицами. Есть даже анекдот на этот счет. А, знаете? Выглядит солидно и прочно. Все в одной семье. Куда же лучше.

Корявко подвинул к себе блюдо с говядиной, не слыша, что говорил Чижиков, направляя все свое внимание на тщательное изучение вареного мяса.

— А как же расписать? — спросил он, приходя в себя и снова берясь за графин.

— Расписать — что?

— Ну, как поделить? — переспросил Корявко, придвигая к себе блюдо и проводя по мясу ножом линию разреза.

— О, вот вы о чем, — отозвался Чижиков с внезапной печалью, принявши щурить глаза и часто мигать веками, словно предложение Корявко вызвало в нем не только грусть, но и глубокое душевное страдание. Он продолжал морщиться, всматриваясь, как Корявко отпиливал кухонным ножом в свою сторону две трети куска говядины медленно, точно и уверенно, как человек, который и чужого не хочет, и своего зря не отдаст. Пока он возился с хрящем, упорно ускользавшим от ножа, Корявко слегка, как бы вскользь, пожаловался на дополнительные расходы, на какой то особый сбор, который хотя и не был гербовым, но

имел отношение к чему то однородному, упомянув про разъездные, непредвиденные расходы, оставшиеся со времени ожидания поезда со скотопромышленниками, накладные и дополнительные траты, особые издержки, которые он, не входя в детали, свел под одну рубрику «пятое - десятое». Чижиков продолжал мигать глазами, словно ему, на самом деле, было неприятно слышать такой сухой, деловой разговор и вместо него хотелось бы поговорить о чем либо другом, хотя бы о весне, что так чудесно расцветала за корявкинскими окнами, словно ему, на самом деле, было грустно и тяжело говорить о таких делаах, как раздел денег, полученных за кабинетные земли.

Когда Корявко разрезал мясо, развалив его на блюде на два неравных куска, и готов был отложить в сторону нож и вилку, он поднял голову и заглянул в чижиковские глаза. Тот тоже поднял голову и пристально посмотрел прямо в глаза Корявко.

— Ну, как же? — прохрипел Корявко, меняясь в лице и принимая напряженное выражение.

— А вот как! — ответил Чижиков, так же меняясь в лице, но становясь наоборот ласковым, выкатив круглый глаз и прищурив другой. Он протянул руку над столом и повернул блюдо так, что большой кусок мяса, отрезанный Корявко для себя, оказался на его стороне.

— А вот так, — повторил он с особой приятностью, проворно выложив себе на тарелку две трети говядины и картофеля, подняв при

этом угол рта и вздернув край щеки, отчего стал виден ряд крепких зубов, словно радующихся своим блеском и силой, с которой они примутся за мясо.

— Но, позвольте, — прохрипел ошеломленный Корявко, сразу теряя краску на лице и становясь мертвенно-зеленым, — земля то моя и сделка моя...

— Нет, уж позвольте, — ласково, но настойчиво сказал Чижиков, — чем же я виноват, что вы тринадцать лет ждали! Ждали бы еще столько же поезда со своими скотопромышленниками, если в ваших богоспасаемых краях не появился бы я с важной миссией по изучению... изучению хотя бы роста балалачного движения, или по нашупыванию, как я удачно сказал вашему майскому жуку-председателю, слабых мест Зарубежья! И ждали бы еще много лет, да еще вопрос, дождались бы или нет, если бы у меня не было веры в этих прекрасных людей, в их святой энтузиазм относительно посадки на землю! Нацедите ка мне, дорогой, еще вашего целительного элексира, как то отлично идет с мясом!

Чижиков поговорил бы еще, но его крепкие зубы взялись за мясо. Похрустывая аппетитно хрящем, он поглядывал то на мясо на своей тарелке, то на графин, не стесняясь делать знак головой Корявко и придвигая к нему рюмку.

Справившись проворно с мясом, Чижиков глубоко вздохнул и поморгал глазами, но на этот раз не от расстроенных чувств, а от приятного чувства насыщения. Он отодвинул стул, вытянулся на нем, расстегнул пуговицы

жилета, и посмотрел долгим взглядом на Корявко, словно не мог налюбоваться таким приятным зрелищем.

— Значит, уговором, это уже покончено! Между прочим, исключительно для вашего сведения: что вам тужить от такого простого раздела! Вы бы еще ждали вашего поезда с ненадежными скотопромышленниками, если бы не подвернулся я! Об этом я, правда, уже говорил вам. Затем эти симпатичные, эти святые, я бы сказал, люди съездят на купленную ими пустошь, полюбуются бурой травой, подышат купоросом, разведут горький плач у стен вавилонских, погорюют, посетуют, откажутся от земли и махнут рукой на задаток. А вы, тем временем, усядитесь поплотнее в кресле и опять приметесь терпеливо ждать поезда с предпринимателями. И все будет по старому. И так, давайте, приступим!

Полумертвый Корявко чуть не захлебнулся в тяжелом вздохе, вытаскивая похолодевшими руками из кармана две пачки денег, и ту, которая была в два раза толще, передал, не глядя, Чижикову.

— Ай, яй, не хорошо, не хорошо, что вы прошли купоросную землю этим прекрасным людям, не хорошо, что отважились на такое сомнительное дело! — воскликнул Чижиков, принимая деньги и проводя по ним большим и указательным пальцем для подсчета с такой поразительной проворностью, что даже полу живой Корявко не мог не заглянуться, нагнав от назидательного зрелища немного краски на лицо. — Не хорошо, не поощряю! Такие доверчивые люди, как они огорчатся! Что они

скажут вам! Впрочем, вам то ничего не скажут, не скажут, пожалуй, и вашей свояченице! Я то, дорогой, понимаю, — Чижиков остановился и еще раз прошелся проворными пальцами по пачке, на этот раз в обратную сторону, — я то понимаю, а понять — простить, что это у вас от общественного рвения, от желания сделать хорошее добрым людям! За это одно простится многое, да еще как! Но поймут ли они вас!? Потом, когда свидимся, расскажете мне... А мне, извините, дорогуша, пора собираться, боюсь, что засиделся на одном месте! — Чижиков вздохнул и опять с лаской и даже любовью посмотрел на Корявко. — Такая моя судьба несчастного: только встретишь хороших, прекрасных людей, лучше которых не может быть на свете, как сразу же приходится уезжать! Но что поделаешь, такая моя доля! Но меня радует, что у этих прекрасных людей есть такие опытные советники и помощники, как вы, с которыми они далеко пойдут. А что они пойдут далеко, об этом нечего и говорить! Такие живые, напористые люди!

Чижиков вытащил из кармана пиджака бумажник и поиграв любовно с пачкой денег, запрятал их, сказав при этом, «ну, здесь они как закопанные!». И впрямь это было то, о чем тяжело думал Корявко, как думал бы каждый в скорбный момент, когда равнодушные люди заколачивают крышку гроба, в котором находится любимое существо, и тот, кто остается в живых, знает, что ему уже никогда больше не увидеть его.

Запрятав бумажник, Чижиков вытащил за-

писную книжку, перелистнул несколько страниц и принял тщательно изучать ее.

— Я, признаться, вздрогнул бы сейчас минут сто двадцать! Но дела! Вспомнил, еще одно не вполне законченное дело, я занес его в отдел неотложных заданий, — заметил Чижиков, роясь в книжке, — да, вот оно! — воскликнул он, найдя телефон кельнерши Зоси.  
— Надо спешно справку сделать, снестись с высшими сферами, не знаю еще, что получится. Бывает и так, стучишься и не достучишься! Все в нашей жизни бывает... Так вы меня, дорогуша, не задерживайте, я знаю, как вам приятна моя компания, приятна мне и ваша, но я побегу! И так, до будущего свидания! — Чижиков отвел глаза в сторону, словно желая скрыть от Корявко, что они покрылись пленкой влаги. — Где только оно будет! Но вы расскажете мне обо всех последствиях, любопытно будет послушать... С землей, значит, все устроено, она в хороших руках, есть место, где могут сесть прекрасные люди, а за остальное я не беспокоюсь... Так я бегу, не задерживайте...

Несколько часов позже, когда жена Корявко и его свояченица вернулись домой, там было тихо, как в могиле. Затем раздался неистовый крик его жены:

— Ах, страхи Господни! Не донес наш Корявко! Лежит без малейшей кровинки!



## Часть Вторая



# X

## В Е С Н А

Как будто ничего особенного не случилось, кроме того, что солнце повернуло на короткую дугу своего пробега, но что только не произошло от этого в природе, какие только явления не изменили покрова земли! Налилась необыкновенной силой прибитая за зиму трава, раскрылись набухшие почки, выпустив на солнечное тепло нежные зародыши листьев, слетелись птицы, но и без их звонко-возбужденного говора хорошо известно всем, что пришла весна.

Старые люди в эту пору начинают припомнить календарные приметы: 2-го февраля зима с летом встречаются, а 1-го марта «у Евдокии вода, а у Егория трава», отмечая первую встречу весны, а вторую 9-го марта, в день «сороки-святые», когда из теста выпекали жаворонков, приговаривая «прилетел кулик из заморья, принес воду из неволи». Третью же встречу, настоящую весну, праздновали на Благовещенье, когда приветствовали прилет ласточек и выпускали на волю птиц.

Теперь старые люди только вспоминают об этом — что же еще остается им делать! А что в эту пору делают молодые люди и люди неопределенного возраста, им и самим не разобраться из за того сладкого дурмана, которым опаивает их чародейка весна.

Чувствует весну и человек в Зарубежье. Его вновь охватывает беспокойство, от которого он успел отвыкнуть за год, и начинает преследовать терпковато-сладкий аромат земли и клейких листьев; он всматривается пристально в небо — и ему все чудится, что там не просто белое облачко, а грудь лебедя. Весь в неудержимом волнении, он уносится мыслями в просторы земли и неба, и в чужих городах грустным взором водит по сдавленному куску городского сквера, где в тени зданий блекнет трава.

Он возвращается к себе домой и там ловит такой же рассеянный взгляд жены, и начинает еще тревожнее мечтать о просторах, полях, о реке и летнем зное, об огромном небесном своде, о черемухе, сирени и липах, о многом, многом другом, что только ни бредет в его голову в эту беспокойную пору.

Он понимает, что это только весна бередит его, он знает, что ему жилось бы много легче, если в его жизни не было бы этой тревожившей его существа поры. Он чувствует оттепель не только на земле, но и в душе, захолодевшей за зарубежные зимы, он знает, что в прорвавшемся половодье чувств ему не спрятится с тем, что веками въелось в русскую натуру.

Нет, вредна весна русскому человеку, вред-

на! Не было бы ее, жил бы себе припеваючи, не тужа ни о чем, не вовлекая себя ни в какой искус.

Но как не поддаться на этот искусств, как не размечтаться и не взлететь высоко, в планетарное пространство, далеко даже за весенние небеса! Многое в другое время показалось бы невероятным ему самому, но не весной, не в эту волшебную пору, когда все кажется таким возможным и выполнимым. Сколько дерзновенных дум породилось весной, сколько новых песен — о любви, о птицах, о свободе — пелись впервые, сколько в эту пору сложилось русских сказок — о злой воле и счастье, о кладах и живой воде, о потерянном и вновь обретенном Граде Китеже, о российском вечном младенчестве и избранничестве, о Москве — Третьем Риме, о самой России, о «роковой ее тройке и бешеной, беспардонной скачке, от которой сторонятся другие народы», а то и «о величавой русской колеснице, торжественно прибывающей к цели»...

Ах, сказки, сказки весенние, о чем только они ни порасскажут в эту беспокойную пору. Нет, вредна весна русскому человеку, вредна!

## XI

### БУДУТ ПЧЕЛЫ, БУДЕТ И МЕД

Когда осатанелый секретарь оббежал комнатах Общества с надсаженным криком: «наезжают!», ни у кого не осталось сомнения, что все уже было подготовлено к решению — и к событиям, которые последовали за ним ускоренным темпом.

Когда все вышли в переднюю и увидели пожилого человека в черном пальто с туго набитым портфелем, они ничему не удивились: понятно — приезжий из Главного Центра. Подтвердилось это и поведением Чижикова, выглянувшего из карточной комнаты. Что произошло между ними, никто в точности не мог сказать, но многим показалось, что для Чижикова приезд таинственного старичка не был случайностью.

Когда спросили об этом Чижикова без всяких обиняков, он поднял предостерегающе руку и сразу же отрекся от всего, сказав, что лучше до поры, до времени не спрашивать его, и что все определится в свое время.

Его слова казалось подтвердили, что новый

приезжий тот, о котором Чижиков упоминал, что следует за ним и для которого он только подготовляет почву.

После того, как все вернулись к своим прерванным занятиям, кто за карты, кто за биллиард, а кто просто мирно посидеть в «детской» у Коли Усова, долго, в разной степени оживленности и даже горячности, шли обсуждения по поводу приезда таинственного старичка. Особый интерес в этих обсуждениях привлекало то, что это было «больно скоро». Как всегда, мнения тотчас же раздвоились, одни считали, что если на самом деле скоро, то это означает, что в высших сферах давно предприняли решение и сразу же, вслед за Чижиковым, послали нового человека. Другие считали, что совсем не скоро, а просто, решив действовать, высшему начальству нечего было медлить. Одни из них вспомнили, что Чижиков упоминал о том, что он только рядовой, первый закоперщик, и что за ним следуют другие, в особенности один, которому он обязан не только по службе, но и тем, что тот однажды спас ему жизнь. Об этом рассказчики говорили не совсем уверенно, не помня в точности, слышали ли они от самого Чижикова или Ряшкова, а то не пришла ли им самим в голову эта история. Другие утверждали — с чем охотно соглашались многие! — что Чижиков и новый человек приехали вместе, в одно и то же время, но поговору один из них задержался на несколько дней, чтобы сделать вид, что они не знают друг друга и что приехали из разных мест в разное время. Для вящей убедительности приводились известные

примеры, как в зимние сезоны в цирках, к разгару борьбы за чемпионатство мира, приезжало два борца из того же состава, но для того, чтобы разжечь интерес у публики, один показывался в черной маске, а другой, нескользкими днями позже — в красной, но что посвященные отлично знали, что это была только игра, и что оба таинственных борца не только хорошо знают друг друга, а на ты и съели вместе полпуда соли. На вопрос удивленного Молибоги, кто посвященные, оказалось, что почти все, кроме него самого. Поговорили и о том, что некоторые из наиболее наблюдательных видели, как при встрече Чижиков и новый гость обменялись условными знаками. Одни из них знали точно, что знаки были, но не могли определить, какие. Другие же готовы были побожиться в присутствии отца Павла, что отлично видели, как при пожатии рук, они пригнули большие пальцы, уперев их ногтями в ладонь.

Эти слова настолько встревожили Могиленко, что он настойчиво переспросил, как они пригибали пальцы, показав на своей руке для проверки, и что если было так, то не прибыл ли таинственный старичек из Лиона, и не был ли он одним из старших братьев. На это твердо возразил Ряшков, что совсем не так, что он готов дать голову на отсечение и побожиться перед кем угодно, что таинственный старичек совсем не лyonский брат, «а даже наоборот».

Ряшкова немедленно поддержал секретарь, заявив, что если видеть в приехавших из высших кругов лионских братьев, то надо так опуститься, что дальше уже некуда идти! МО-

гиленко хотел еще поговорить об этом, но председатель вторично строго на строго запретил ему упоминать об этом, прибавив веско, что постольку от лионских братьев идет зло и мировой соблазн, а от представителей высших сфер только добро и польза, ни о какой связи между ними не может быть и речи.

Вспомнили при этом и об особой осторожности Чижикова, объяснив ее по своему, что будучи связанным по долгу службы клятвой, он не мог ничего оглашать. Затем припомнили — об этом говорили долго и на все лады — что на вопрос, заданный Чижикову не без тайного расчета опытными людьми Общества, что не намечаются ли большие сдвиги в Зарубежье, вроде перемещения центра тяжести, он живо и значительно ответил: «да еще как намечаются!»

Этого было совершенно достаточно. Кроме того Ряшков, по возвращению из поездки, дал краткий, но обстоятельный доклад о приторговываемой земле.

Перед самым собранием, на котором должен был решиться вопрос об устройстве официальной поездки на землю, Корявко отвел Ряшкова в сторону.

— Когда будут посыпать приемщиков, не езди. Ты, поди, и в первый раз, когда тебя посыпали, не ездил на землю?

— Как не ездил? — удивился Ряшков. — Конечно, ездил. Если не в те самые места,

то... Да и зачем мне туда нужно было нестись, когда я все окрестные места знаю досконально, как свои пять пальцев!

— Вот видишь, досконально! Ты тогда кажется к моей свояченице ездил, к Нюшке, а?

— заметил Корявко, не спрашивая, а словно только устанавливая самый факт и не высказывая ни одобрения, ни порицания.

— Заехал приложиться к ручке, — сказал Ряшков, надувая малиновые щеки. — Что нибудь дурного в этом?

— Ничего, конечно, нет. Дурное вот в чем.

— В чем же?

— В том, что надерут тебе баки.

— Почему же надерут? — совсем удивился Ряшков. — Что я им сделал?

— Что ты им, Ряшков, не сделал, вот за это и надерут! Значит, на землю не ездил? Не езди и теперь. Ты о земле им говорил? — осторожно спросил Корявко, оглядываясь по сторонам, нет ли кого нибудь вблизи.

— Говорил. Дал общий силуэт.

— Вот видишь, силуэт! Настрадаешься от общественного дела, ой, как настрадаешься!

Корявко тяжело вздохнул и прикрыл на минуту глаза.

— А ты ничего не говорил им о скотопромышленниках?

— О скотопромышленниках? В общем и в частном?

— И в общем, и в частном.

— Нет, не помню. Не говорил. Связи никакой нет.

— Связь то, положим, есть, — отозвался Корявко, устремившись глазами в потолок и по-

жевав задумчиво губами, — и еще какая! А о купоросе и прочих подобных вещах не упоминал, когда давал силуэт о земле?

— Я землю не расхваливал, просто сказал, что есть два сорта. А о купоросе или квасцах и в помине не было! Тоже нет связи.

— Ну, как тебе сказать, — поморщился Корявко, помигав глазами. — Может быть даже больше, чем... А впрочем, не важно! А нарвут, Ряшков, баки, нарвут, не открутишься! — закончил Корявко, тяжело поднимаясь с кресла и направляясь в карточную.

В ожидании дальнейшего развития событий настроение живой бодрости продолжало витать в комнатах Общества. Казалось, что притих меланхолический шотландец, может быть еще и потому, что его слабому голосу было все труднее пробиваться сквозь нарастающий перебой коронного номера Коли Усова «Что мне горе».

В ожидании чрезвычайного собрания члены правления мирно беседовали в гостиной. О чем толковали эти почтенные, обремененные общественным служением люди? Конечно, о земле, о посадке на нее, о всем том, еще неясном и расплывчатом, но что уже чувствовалось в воздухе и что приятно намечало новые возможности для их энергии и таланта. И только в разрез с общим бодрым настроением звучали жалобы Ерофея Исаича Грозы на свои недуги.

— А все почему, — пояснял он терпеливо слушавшему отцу Павлу, — потому, что на

другом полушарии. Будь у себя, на своем, ничего подобного не было бы... Я, к примеру, на нем слух потерял... Слух и обоняние...

— Обоняние глупости, — наставительно говорил отец Павел, поглядывая в сторону и покачивая головой. — Слух еще допускаю, а обоняние — сущие глупости! У меня вот на этом полушарии сухие мозоли больше разыгрываются, это факт, а не реклама, а про обоняние, оставьте, сущие глупости!

Но этот случайный разговор никак не нарушал общего настроения, преисполненного исключительной бодростью. Весна была в самом мощном разгаре. Заветная мечта о земле была выполнена и сулила не только одну посадку, а такие возможности, о которых раньше нельзя было и мечтать. Но как было обычно, разговор, хотя и касающийся одной темы, имел различные подходы, что прежде всего говорило о большом разнообразии и индивидуальности каждого из господ членов правления. В одном кружке говорили о лоне природы, но с тем оттенком, что не всегда эта природа любящая мать, и что в ней много опасного, от чего можно легко и совершенно зря погибнуть человеку, если у него нет соответствующего опыта. Относительно опыта голоса так же разделились, одни считали, что лоно природы само даст опыт, а другие, не возражая, задавали вопрос: нужен ли этот опыт русскому человеку в Зарубежье, упирая на то, что самый факт пребывания в нем, вдали от родных корней, дал ему такой обширный опыт, что только одно удовольствие! С этим не могли не согласиться все, но третьи вводили поправку, что

если лоно природы и дает опыт само, то не мешает иметь кое что и про запас, указав на первых поселенцев, которым надо прикорчевываться в новых землях, где нельзя даже знать, что их может ждать. Здесь как то невольно припомнился недавний разговор о снах, предчувствиях и опасностях, в котором рассказывалось о тех превратностях, с которыми встречаются переселенцы на новых землях. Один из них упомянул о таких случаях, как наводнение и другие стихийные бедствия, на что другой, вспомнив рассказ председательницы Воробей об удаве, возразил, что стихийные бедствия дело пустое. На вопрос третьего, а что не пустое?, он ответил, что дикие звери и пресмыкающиеся, упомянув о несчастной судьбе переселенца, если он должен сталкиваться с ними лицом к лицу каждый Божий день. На настойчивый вопрос, а что же именно это не пустое, он ответил:

— А бова-конструктор!

Все замолчали, подумав, что это на самом деле «не пустое». Секретарь уже готов был сорваться с места, но вспомнил, что надо внести на повестку вопрос об опасности, хорошо развив его. Корявко пошевельнулся и, не нарушая хода своих мыслей, подумал, какая опасность от купоросной земли и в каких она размерах, решив после краткого обдумывания, что если и есть опасность, то она только укрепит зарубежных переселенцев и придаст им особый закал.

К этому разговору с одинаковым интересом прислушивались новые гости Общества. Таинственный старичек просверливал жгучими

глазами рассказчиков и казалось хотел задать вопрос относительно опасности от удавов или хотя бы сделать движение рукой, но обе его руки были глубоко засунуты под бороду. Чижиков прислушивался к разговору с огромным интересом, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, думая о своих новых друзьях и о том, что их ждет на новой земле. Ни о каких опасностях он не думал, все было светло и радостно у него на душе за других и за себя. Какие чудные, доверчивые люди, думал он, поглядывая на них с лаской и любовью! Им ли думать о каких то опасностях, о стихийных бедствиях, о диких зверях и пресмыкающихся, когда у них такая святая вера в свою несокрушимость. Такие обаятельные, ласковые люди, такие обходительные, с ними даже удав и тот станет мягким и доверчивым, как Митя Плюцин! Им ли думать об опасности, когда они накануне посадки на своей обетованной земле, кто знает, что еще их ждет там! Поддавшись общему настроению, Чижиков невольно задумался о земле и ее могучем притяжении, прислушиваясь к рассказу Ряшкова, как возвращаясь из загородной поездки, он открыл глаза чуть только забрезжил восток и вывалился из грузовика, чтобы поцеловать землю. По его рассказу выходило так, что Ряшков ждал рассвета, даже пребывая в крепком сне, чтобы благоговейно приложиться к матери-земле, что несказанно радовало председателя Пушкарева, видевшего в этом незыблемые устои Ряшкова пахаря и помещика. На рассказ Ряшкова возражали другие, впрочем довольно добродушно, исключительно ради

святой истины, что Ряшков, лежавший всю ночь мертвым грузом на дне грузовика, от толчка вывалился из него на землю и только тогда очухался. Чтобы не выдать себя, он и разыграл сцену с целованием матери-земли, приврав, что все в его роду от отца до пра-пра-пра-дедов в самые глубины седых веков славного ряшковского рода никогда не пропускали рассвета, чтобы не приложиться благоговейно к земле. Поведав о второй версии ряшковского рассказа, они пришли к выводу, что после того, как Ряшков всю ночь прикладывался к бутылке, приложиться к земле на рассвете уже не составило никакой трудности.

Слушая их, Чижиков все больше приходил к убеждению, что земля, даже с купоросом и буераками может быть полезна при нужде, и что судьба сама помогла этим замечательным людям, что поезд со скотопромышленниками не успел во время добраться до нее.

Разговор продолжался о весне и земле, об этих двух неотразимых предметах притяжения для неуспокоенной русской натуры. В них принимали участие все, кто своим собственным опытом из прошлой жизни, связанным с посадкой на землю, кто просто пересказом вычитанного из книг и газет, кто просто внимательным слушанием с тем выражением бездумной зачарованности, которая бывает у замечавшихся детей или в значительной мере тронутых взрослых. Кто же только кивал понимающие головой, как таинственный стариочек, который своим молчаливым согласием не-

мало радовал председателя Пушкарева и других членов Общества.

Что может быть приятней задушевной беседы людей, связанных одной идеей, одними желаниями, одними и теми же стремлениями! Сколько раз озабоченный секретарь, сам немало поддавшись зачарованности этой беседы, но отряхнув ее по долгу службы, срывался с места, чтобы напомнить присутствующим, что от таких разговоров можно так ослабить себя, что не поправиться и у буфетной стойки Коли Усова, и никогда не собрать кворума. Но председатель, выслушивая терпеливо секретаря, все откладывал открытие заседания, чтобы можно было всем наговориться и наслушаться.

Приятное участие в разговоре принимал и Чижиков, рассказывая случаи из своей жизни и жизни других видных общественных деятелей Зарубежья и касаясь подобных планов о переселении на землю, но, как подчеркнуто добавлял он, в значительно мелких масштабах.

Заседание наконец началось. Приглашенный на него Чижиков было согласился, но в последнюю минуту заглянул в свою записную книжку, справиться, нет ли у него в отделе неотложных дел пометки. Оказалось, что есть: Зося, карие глаза, телефон такой то. Отговарившись неотложными делами, связанными со службой, он поторопился раскланяться. Таинственный старичек на приглашение ответил тем, что выпутал из под бороды руки и тотчас же направился за всеми в зал собраний.

Каждый знал, что особой нужды не было устраивать чрезвычайного заседания, т. к. все главные вопросы давно были выяснены и ос-

тавалось только дать желающим высказаться еще раз о том, что на принятом языке заседаний называлось «в общем и в частном».

Первым выступил Ряшков, рассказав о своей недавней поездке, что просто не упомнит о другом подобном случае за всю жизнь, чтобы у него осталось так много приятного и радостного. После вступления «в общем», Ряшков перешел к фазе «в частном», поделившись пространно и с завидным воодушевлением о том незабываемом впечатлении, которое осталось у него от тех двух дней, которые не каждый раз перепадают человеку. При слове «перепадают» Корявко открыл глаза и пытливо просверлил ими Ряшкова, но прикрыв их, опять ушел в свои мысли. О чем думал он, слушая Ряшкова, неизвестно, но судя по трясущемуся в беззвучном смехе телу под просторным пиджаком, можно было полагать, что думал он о своей младшей свояченице, приговаривая себе: «ах, Нюшка, Нюшка, такой грех взять себе на душу!».

Каждый понимал, что главной целью собрания было незаметно посвятить своего нового посетителя в планы Общества и ввести в то, что уже было сделано относительно земли для будущих нужд объединенного Зарубежья, с тем, чтобы произвести на него самое выгодное и благоприятное впечатление. Поэтому никто из членов правления не задавал Ряшкову никаких вопросов, разделяя с ним то впечатление, которое он вынес из своей поездки. Каждый предпочитал высказаться сам, у каждого накопилось много мыслей, которые требовали высказывания, еще и потому, что на собрании

был видный гость, от которого зависело много в смысле вознаграждения за проведенную работу.

Следующим высказался Ферапонтов, охватив с присущей ему ясностью общие черты грандиозного строительства. План этот не мог не одобрить председатель Пушкирев, как верный и логический переход от земли в представлении землероба и помещика Ряшкова до строительных замыслов предприимчивого Ферапонтова.

— Зачитывать мне свой проект боюсь, господа, не придется за неимением времени. У меня здесь сорок страниц подробно разработанного плана... Еще только в одной фазе... Работа колоссальнейшая, почти не имеющая границ! В общем, пока только можно накинуть основные линии и точки этого развития, детали же будут обсуждаться десятками комиссий, техниками, специалистами, планировщиками. Здесь же, повторяю, возможно очертить только общие и при том еще расплывчатые черты. Вполне вероятно, что кто нибудь известил высшие, так сказать, сферы, Главный Центр и другие верховные организации Зарубежья, — Ферапонтов остановился и посмотрел в сторону таинственного старичка, добавив веско, — через собственных высокоуполномоченных, но наш план в его развитии от обители Плющина, через русскую деревню с теремами и колодцем-журавлем, даже через родные могилки, до создания в наших окрестностях огромного места, кабинетных, так сказать, земель, имеет в виду полностью содействовать развитию важных планов Главного Центра, в сущность

которых по причинам ясным всем мы по присущей нам скромности и знанию своих ограниченных сил и способностей, входить не будем. Об этих планах можно выразиться только в общем, как о возрождении славного прошлого на новой благодатной почве, в полном его значении, с военной славой — Ферапонтов сделал быстрое движение в сторону председателя, который успел привстать, — с научной славой, с укреплением духовенства, дворянства и прочих остальных сословий. — При последних словах, сделанных несколько небрежным тоном, он обвел взглядом по задним рядам, не задерживаясь в отдельности ни на ком.

— А казачество? — забеспокоился Холодец.  
— Если не включить, компот получится.

— Все это возможно, — продолжал Ферапонтов, делая вид, что не слышал Холодца, — при громадном усилии энергичных людей, и когда я говорю энергичных людей, — при этих словах Ряшков перестал болтать ногами, опустив передние ножки стула на пол и наклонив голову, — я имею в виду на самом деле энергичных людей, а на этот счет, — Ферапонтов сделал широкий взмах рукой и придал голосу оттенок гордости, — промаху у нас не замечается.

Никто не мог усомниться в справедливости ферапонтовских слов: в чем, в чем, а в энергичных людях не было недостатка. После него еще несколько человек осветили в различной степени интереса и своего участия вопрос о со средоточии Зарубежья и строительства, как, например, Холодец, который суживал идею Ферапонтова до устройства только станции,

или фон Мюллер, настаивавший на основании исторических фактов на необходимости перешагнуть границы мировых масштабов.

Одним из последних выступил Максим Максимович Корявко. Это было настолько редким явлением, что бессменный секретарь не мог вспомнить, когда и по какому вопросу выступал он в последний раз. Корявко тяжело поднялся со своего места и выпрямился над ним грузной тушей; он захватил рукой шею так, что большой палец уперся в кадык, а вывернутая ладонь легла пальцами на шейный жировик. Укрепив себя таким образом, Корявко вначале упомянул о том, как много среди сорвавшихся членов правления людей, пострадавших в жизни за свои убеждения и просто по навету и клевете нехороших людей, и что каждый понял бы его, если бы он поведал им о своей жизни. Здесь он вспомнил о скотопромышленниках, сразу изменился в лице и почти собрался рассказать о них, ноказалось, что большой палец на кадыке остановил его. Поэтому он сразу перешел к тому, что если разобраться, как следует, в каждом человеке, особенно в зарубежном русском, то первое, что видишь, это пережитое и перенесенное, и если кто то в свое время указывал в этих самых стенах на незаживающие раны, то они именно не физические, а душевые, излечить которые можно только исполнением самого заветного. Корявко сделал передышку, передвинулся на своих растоптанных штиблетах и подумал: правильно ли сделал подход. Что же, спрашивается, это заветное? А земля, тотчас же ответил он себе, не давая никому задуматься хотя

бы на мгновение. Но дело, продолжал он, не снимая пальца с кадыка, но еще сильнее обжимая шею, не в земле, как в таковой, а в том, как будет поступлено с ней, иными словами, что будет создано на ней. Решили же заняться родными могилками, а что получилось бы, если на этом и остановились бы? А ничего, просто ответил он самому себе. Слава Бэгу, нашелся добрый человек, который надоумил и предостерег, что перевозить фрахт не позволит, а то, чего глядя, повезли бы за милую душу! Теперь же, продолжал хрипеть Корявко, дело повернулось совсем иначе, и от этого поворота надо много ждать каждому. Обойдя вопрос, что именно ждать, он перешел к тому, что земля с младенческих лет человечества играет огромную роль. Кочевник, пахарь, певец, художник, писатель, все они жили и ~~живут~~ от ней. Но это только в общем. Здесь он опять остановился, передохнул, отдохнул, пошевелил пальцами в штиблетах, посмотрев на них насколько позволяла его фигура. В частном же, продолжал он, земля не только нужна для вдохновения, а нужна она всем, в особенности же для такого великого дела, как мирное строительство Зарубежья. Теперь, имея готовую землю, все, что им нужно, это первосортные работники, так как известно, что будут пчелы, будет и мед.

После этих слов Корявко, повторенных им для значительности, произошло одно явление, которому тогда не было уделено никакого внимания, но которое в недалеком будущем, несколько дней позже, предстало перед всеми во всем своем большом значении.

Когда Корявко сказал «будут пчелы, будет и мед», таинственный старичек только повел ушами, словно не веря своему слуху, или словно дальний ветер коснулся их, принеся что то давно знакомое, но еще не совсем уловимое. Когда же Корявко, покрепче захватив шею и кадык, повторил эти слова, вкладывая в них особый смысл, таинственный старичек вдруг пришел в неудержимое волнение, выгугнул поспешно руки из под бороды, захлопал себя лихорадочно по карманам и не обращая ни на кого внимания и не сказав никому ни слова, ринулся к выходу.

Никто из присутствовавших на заседании не обратил на это никакого внимания. Только потом, когда события приняли совершенно непредвиденный оборот, они пытались припомнить до последних мелочей все движения своего гостя. Но если в тот вечер кто либо из заседателей посмотрел бы на него внимательно, он не мог бы не заметить на лице таинственного старичка мгновенного перехода от невозмутимого покоя до выражения крайней озабоченности и даже страха. Казалось, что он только что вспомнил о чем то настолько важном, о чем его память выпустила из вида, что готов был выбиться из сил, чтобы только успеть выправить что то. Он так стемительно ринулся вниз по лестнице, развеявая на бегу бороду, что даже холерик-секретарь не мог бы угнаться за ним, а столкнувшись с ним в передней Коля Усов только успел отскочить от него, подумав, что не заразил ли Ряшков почтенного старца своей энергией. После, рассказывая в сотый раз об этом случае, секретарь

тарь заметил, что по виду, с каким бросился к двери таинственный старичек, он подумал, не случилось ли чего с ним, на что Молибога отозвался, что он тоже подумал об этом, прибавив, что «с их братом это случается!»

Чрезвычайное собрание закончилось и никто не придал никакого значения тому, что таинственный старичек так и не вернулся в тот вечер. Не вернулся он и на следующий день, и его отсутствие так же не было замечено занятymi своими общественными делами людьми. Не заметили его отсутствия и на второй день, так как почти все правление было в отъезде. Когда же заметили, было слишком поздно сделать что либо.

Закончилось чрезвычайное собрание, но членам правления не хотелось расходиться, хотя и было поздно, у всех было приподнятое настроение, как накануне великого праздника.

— Живут же некоторые тихо, мирно, — говорили они, толпясь в передней или перед парадной лестницей, — в небольшом «русском уголке», в незатейливой мышиной возне, готовят суп «рокотуй», битки, грудинку, довольные всем, а если и кажутся обиженными, то не потому, что на самом деле есть на что обижаться, а уж так природа сделала, придав им особую форму губам...

— Позвольте, вы о ком упоминаете, о Коле Усове или вообще? Ни о ком из членов правления?

— Нет, вообще, как о типах. Живут, говорю, себе тихо, ни о чем не задумываются, довольные своей долей... И вот в контраст им нам дается что то такое, что даже трудно опреде-

лить словами, особая судьба, рок, черт возьми! Подумать, что мы двинули! Еще не так давно только и было разговора о верстовых столбах да о родных могилках, а теперь подумать только, куда устремляется смелая мысль! Только подумать!

— Повернулось как раз наоборот, — говорили другие, спускаясь по лестнице и выходя на солнную улицу, — хотели покойников собирать со всего Зарубежья и вести на родные могилки, а теперь живой народ собирается валить к нам, на нашу землю!

— Ну, это вы немножко рановато как то... Мне, как скептику...

— Рановато? Не скажите! Не знаю, как вам, а мне все настолько ясно, что даже совсем не рановато, а как бы не было поздно... Год бы назад, было бы еще лучше!

Другие, более практичной складки, все еще витали мыслями над землей, не будучи в состоянии расстаться с ним.

— Главное, — повторяли они, держа друг друга за пуговицы пальто, — чтобы не было ошибки с землей. Кто у нас в почве разберется, есть же у нас такие специалисты?

— Почвоведов у нас сколько угодно, так еще разберутся! Но не в них дело. Гораздо важнее по лесной части, что вырубить, что оставить, что отвести под парки, даже под заповедную пущу, что предоставить для пересадки, древонасаждения и прочее. Надо выяснить, кто у нас из лесоведов!

— Господа, — отозвался Ряшков из за руля своего автомобиля, — повторяю, шишгинской корабельной рощи на нашей земле нет. Это к

тому, чтобы не было никаких недоразумений и прочего.

— Теперь уже поздно к этому возвращаться! Купили, деньги внесли, теперь надо планировать, строиться, созидать, иными словами, идти полным ходом!

Пока шло медленное прощание господ членов правления, не хотевших расставаться друг с другом хотя бы на сутки до следующего заседания, таинственный стариочек подъезжал на трамвае к автобусной станции, а через четверть часа, сидя позади шоффера, с непоседливостью озабоченного человека всматривался в темноту и мысленно торопил автобус. Миновали предместья города, остался позади огромный мост, и огни нескольких прибрежных городов слились в одно отдаленное зарево, впереди ощупью бежали по темной дороге белые глаза автобуса, а таинственный стариочек все суетился на месте, то наклоняясь вперед и чуть ли не кладя голову на плечо шоффера, то откидываясь всем корпусом так, что стонали пружины сидения, заставляя вздрогивать дремавших пассажиров. Он то клал одну ногу на другую, высоко заправляя ее над коленом, то снова вытягивая ее так далеко под сидение шоффера и сползая сам, что она чуть ли не покоилась на коробке скоростей. Если кто либо провел бы по его лицу электрическим фонариком, то был бы изумлен выражением крайней озабоченности, граничащей с одержимостью.

Только когда автобус стал подниматься на

отроги гор и в медленно расстилавшемся рас-  
свете, вместе с утренней прохладой, к весен-  
ней сырости внятно примешался аромат шал-  
фея и дикой акации, таинственный стариочек  
успокоился, и не то чтобы задремал, а устре-  
мился в сладкое перебирание событий послед-  
них дней, держа один глаз открытым, чтобы  
не пропустить того места, где ему нужно было  
сходить.

## XII

### ГОСТЬ ИЗ ЛИОНА

Опасения Могиленко, тревожившие его последнее время, сбылись тогда, когда он меньше всего ждал этого: неожиданно перед тем, как ему идти на собрание, перед ним появился лионский брат.

Сперва послышались сигналы, подобные чуть уловимым перестукиваниям Морза, но появились они из электрической лампочки, свисавшей с потолка. За сигналами раздался подозрительный шум, и Могиленко, готовый ко всему, насторожился, и не перемещая головы быстро взметнул бровью, и тогда в нависшее мешком веко упругим прыжком бросился мускульный живчик. Усиленный таким образом глаз впился пытливо в белый кружок лампочки, и там встретился с таким же нащупывающим оком. Могиленко осторожно отвел глаз в сторону, и тут в натуральную величину появился перед ним брат из Лиона.

— Давненько не имел я огромнейшего удовольствия беседовать с вами, мой любезный друг!

— Опять привяжется, дьявол, — подумал

Могиленко примиренно, но не без досады за отнятое время.

— Давненько, давненько, с тех пор, как вы хватанули садовыми ножницами по живому электрическому проводу... Хе-хе-хе! Все это, понятно, в прошлом, и уже забыто. Такие вещи происходят в схеме жизни. Как говорят, мелочи архиерейской жизни...

— Толковый все же человек, — думал дальше Могиленко. — А как помнит все! Не успел выйти из белого пламени лампочки, а уже находит тень. И про ножницы не зря вспомнил, поди хочет, чтобы я опять короткое замыкание во всем доме устроил, свет загасил, а сам на заднице скатился бы с чердачной лестницы до колиного ресторана.

Могиленко прислушивался к словам своего незванного гостя, замечая в его голосе акцент, хотя тот и старался говорить как свой, примешивая чисто русские слова и выражения. Брат из Лиона повел издалека, умело, что подтвердило еще раз уверенность Могиленко, что он один из главных руководителей ордена, начав с календарных истин, что летом жарко, а зимой холодно, потому что выпадает снег. Могиленко слушал его внимательно, время от времени вскидывая мускульный живчик в свое веко, но стараясь сделать вид, что его ни- сколько не интересует неожиданный визит.

— Ишь, какие сизые щеки себе завел, верно, бреется два раза в день, не меньше, — промелькнуло в голове Могиленко.

— Беда вот в чем, — вздохнут брат, проводя задумчиво рукой по щеке и словно читая его мысли, — не могу хорошего одеколона найти.

Раньше был брокаровский, побреешься, одеколоном смочишь, ну, куда!

Гость перешел на обычные вещи, коснулся мимоходом вздорожания жизни и ускорения ее темпа, пожаловался даже на такие вещи, которые могли бы расстроить простого смертного, но не человека, занимающего высокое положение в могущественной организации. Могиленко знал, что все это делалось с единственной целью подладиться под него и войти в доверие. Брат из Лиона сидел, подавшись вперед, заложив ногу за ногу, ухватившись рукой за лодыжку. Он заговаривал о таких вещах, как узкая обувь, поглядывая на свои лаковые ботинки и носки с цветной стрелкой.

— Купил себе на днях штиблеты, а они, знаете, жмут в этом месте.

Могиленко знал, что брат скажет «штиблеты», а не ботинки, знал, что это был только прием, с чем он был уже давно знаком. Могиленко слушал его молча, ожидая, что брат будет продолжать в том же духе. А тот продолжал. Он вытащил платок, заметив перед тем, как высыпаться, что погода стоит такая, что никак не рассчитаешь, во что одеться. Он похлопал себя по бокам и груди и даже показал, что у него под пиджаком была фуфайка. Он звучно высыпался, пофыркал и пошевелил губами.

— Не знаю, где насморк подцепил, — заметил он с оттенком зловещности, задумавшись, словно на самом деле хотел вспомнить, где его продуло. Он высыпался еще раз и внимательно посмотрел в платок, упрятал его в карман и уже готовился приступить к серьезному

разговору, как вдруг, при воспоминании о чем то, громко рассмеялся.

— А ведь мы тогда с вами, дорогой друг, в сражении почти дошли до коротких мечей. Вот пролили бы крови! Кинулись, особенно вы, со всей отвагой, я еще успел подумать, вот если бы нам таких людей на самом деле! Как славно было бы!

— Ишь, как заводит, — думал Могиленко, — как подсеивает.

— Что было бы, если бы не та старушенция, которая выползла словно из под земли и, действительно, испортила всю обедню! По крайней мере для меня, я ведь не скрываю, что лелеял победу. Но не учел того, что некоторые элементы еще не совсем доступны для нас.

— Улещивай, улещивай, — думал Могиленко, скосив шею, чтобы хоть краем глаза посмотреть на разговарившегося брата. — На счет элементов это надо так понимать, что намекает на нашего брата зарубежника, что не поддается всякому зря. А про старушенцию вспомнил, не ту ли из богадельни, которая привалилась на собрание и спросила, «кто у вас здесь Могила, который иконы пишет?»

— И признаю, — продолжал брат из Лиона, — что это был ваш законный раунд! — При этом он сделал попытку рассмеяться, но было очевидно, как тяжело ему было сделать подобное признание. Он помолчал некоторое время, поглядывая то на острый носок хорошо начищенного ботинка, то на Могиленко. Его лицо опять приняло важное и торжественное выражение, и Могиленко знал, что теперь, без всякого лишнего промедления, его неожиданный

гость приступит к главной цели своего визита.

— Что это у вас здесь мужички маракуют? Сперва деревню принялись строить с теремами и колодцем-журавлем, дорогу с верстовыми столбами, затем переключились на родные могилки, а теперь взялись за другое — ни мало, ни много — зарубежный город построить! Еще несколько собраний, несколько угарных весенних дней и ваши деятели поди договорятся до целого государства! Чего глядя, возьмут и построят лимитрофное государство!

— Как читает мысли! — не переставал удивляться Могиленко, — ах, как ловко читает! Насквозь видит! А как подделывается под язык — мужички маракуют! Ну, дока, ничего не скажешь!

— А впрочем, не плохо! Совсем не плохо! С этим даже большинство наших братьев согласится, подпишутся под этим двумя руками: собрать все Зарубежье под какимнибудь предлогом в одно место, а затем... как кота в мешке...

— Почему же так? — наконец спросил Могиленко, крепко задумавшись над словами брата.

— Одна только предпосылка, — успокоил его, усмехаясь недобро, брат. — Так, к слову только... С другой стороны, отрадно видеть, что все идет по нормальным линиям развития. С поправками, конечно! Так, например, если дать новое имя ресторану, еще не значит, что стол станет вкуснее, или лучше станут подавать...

— А верно, — подумал Могиленко, — плохо-вально как то стало у Коли Усова, иногда ждешь,

ждешь... Эта деваха, что то с ней случилось последнее время! А как дьявол входит во все, как примечает, ничего не пропустит!

— А нельзя не входить! — отвечая на его мысли, заметил брат из Лиона, — жизнь так устроена, что стоит не на трех китах, простите мне это фривольное выражение! А кто будет оспаривать, что она состоит из мелочей, в которых такие вещи, как вкусный и питательный стол, рассольник, скажем, голубцы, блинчики, вообще, русский стол, играют большое значение. Да мало ли что, всего не учтешь! Это не то, что смерть и какое то метушение после нее вроде сбора на погребение, выдачи какой то монеты, которой в кассе может и не быть...

— Против похоронной кассы, — заметил про себя Могиленко, — а то поди узнал, что пообщистили ее для задатка...

— А я не против кассы! Нисколько! Пособие необходимо, вдова убивается, сироты малые плачут, похороны, поминки, неутешные слезы, надо же чем то утешить! Понятно, если — надо оговориться — в похоронной кассе живые люди не успели опередить мертвых! Бывает так или нет, не скажу! Но есть над чем призадуматься, когда нечего делать!

— Как тонко, ах, как тонко, — вздохнул Могиленко, вывернув в сторону шею, чтобы кинуть быстрый взгляд на своего гостя.

Рассуждения о подобных печальных вещах настроили брата на торжественный лад и он продолжал говорить о высоких материях, временами вздыхал, тянул «да, да, как же!», делал внушительные паузы и тогда только шевелил ногой в шелковом носке и щеголеватом

остроносом лаковом ботинке или поигрывал небрежно брелками. Такие паузы интриговали Могиленко и он знал, что его неожиданный гость не спроста оттягивал время.

— Да, так значит ваши мужички взялись за огромное дело! Не спроста этот путь, заметьте это, от обители для слабогрудых к деревне с теремками, петушками и прочей дорогой надсаженному сердцу отечественной резьбой! Все бы ничего, и древонасаждение, и сбор ягоды в вышитых косоворотках, в брюках «отрада дачника», в сарафанах, верстовые столбы и прочая э-э-э-э!, не обижайтесь, мой любезнейший друг, зарубежная бутафория! Затем, с этого живого, хотя и театрального представления внезапный съезд на примерзших полозьях, скольжение на крыло, и куда? До родных могилок! И застряли бы на них, если бы не новый поворот курса в умозрении ваших отцов и деятелей! И куда, надо сказать! вот, ведь, что просто поразительно! Ни с чем несовместимо, а простому, безхитростному уму просто необъяснимо!

Брат из Лиона всплеснул руками от удовольствия. Но затем широко улыбнулся, просто и доверчиво, а через секунду сузил глаза, смотря куда то вдаль, словно что то припоминая.

— Между прочим, без всякой связи с родными могилками!, слушайте таких стариков, как ваш весовщик, тридцать лет на полезной службе, а отнимите у него эти годы, душу живую выните! Какой дальний совет дал насчет фрахта! Между прочим, таким почтенным весовщикам дан дар пророчества, прислушивайтесь к ним! Но это между прочим, о чём я хо-

тел сказать? Да, припоминается случай из недавней практики... Тоже без всякой связи с теперешними событиями, но, — он принял осторожное выражение лица и еще больше свел глаза, — не без морали и наставления! Случай, правда, мелкий, характерный только по давно испытанному, но всегда верному приему в работе с доверчивыми людьми... В чем же это дело! А вот в чем: какие то полуноясные планы о строительстве, то завод новой продукции, без которой не прожить современному человеку, то еще что то, вроде компаний по эксплоатации сажи из дымовых труб. Между прочим, дело давно проверенное и безошибочное: вы ставите аппараты на дымовые трубы для приема и очистки сажи и обязуетесь покупать ее по фунтам для промышленных целей. Аппарат же, простой фанерный ящиčек вроде скворешника, вы сдаете в аренду по столько то монет, получая ее вперед, а то еще лучше продаете по сходной цене в пожизненное пользование. Продали, получили денежки с сотен людей и, конечно, в те места больше уже не показывайтесь! Обработали один участок, переходите на другой, покончили с одним городом, перебрасывайтесь на другой... Но я отвлекся, не скажу, что дело именно с сажей, совсем другое, как я сказал, строительство, может быть как и у ваших маштаков — характера планетарного — между прочим гораздо легче поднять на такое дело деньги, чем, скажем, на постройку общественной бани! Но это также отход в сторону... Итак, начался сбор денег, продажа паев, усиленная кампания, собрания, резолюции, выборы правления, хвалеб-

ные речи, банкеты и все подобное, что так помогает в финансовых и общественных махинациях. Все это, заметьте, под имущество, заложенное и перезаложенное в пяти местах под те же самые бревна! Под сваи! Красота!

Лионский брат рассыпался сочным смехом, содрагаясь синими щеками, так что на его выкаченных черных глазах показались слезы.

— Под те же самые бревна, ха-ха-ха! Пять раз, вот штукари, вот подлинные мастера старой фламандской школы!

Могиленко прекрасно видел, что это был далеко не прозрачный намек, припоминая, что кто то упомянул на собрании об этих перезаложенных бревнах. Это было сказано так, между прочим, поигрывая носком ботинка и крутя на указательном пальце цепью с брелками. Лионский брат потер задумчиво лоб, стараясь вспомнить, о чем же он говорил! Могиленко знал хорошо весь этот наигрыш, но отдавал должное брату в том, что он вел разговор так умело, что самое существенное, о чем он не упоминал, всплывало само по себе.

— Так, значит, с землицей все договорено! Подписано, внесено, что надо, запито, все, что полагается в таких делах. Смотрите только, чтобы не получился компот!

— Успел Гришу Холодца обработать, — подумал Могиленко. — Когда только этот дошлый человек успевает до всего добираться!

— Ну, это как сказать! — заметил протяжно гость, и Могиленко не знал, относится ли это к его собственным мыслям или к тому, что только что сказал брат. — Нет, это не то, — продолжал тот. — Не 'то! Но раз вы подумали об

одном лице, так предостерегаю вас — не устраивайте станицы. Силы небесные вас убереги! Что угодно, только не это. У казачков только и есть в мыслях станица. А, затем, действительно, незабываемые слова: казак что малое дите, на что взглянет, то тянет!

— А другие?

— Кто же другие? Духовенство? — поморщился брат и пошевелил губами, словно стараясь сообразить, можно ли раскусить то, что попало на губы. — Что-ж, духовенство, — повторил он в раздумье, — вы же сами знаете, что у отца Павла сухие мозоли на первом месте и он только и занят ими.

— А и верно, — подумал Могиленко, — а другие? — спросил он тихо, вывертывая круто шею, чтобы сбоку, не поднимая головы, взглянуть на своего гостя.

— Кто же это такие, любопытно было бы знать! Старички ополченцы или эта, как говорится у вас — золотая молодежь, вскормленная на заграничных пельменях? Что характерно у вашего брата: в первые годы эмиграции все еще были в особом порыве, те, например, кто был гардемарином, немедленно стал с первого же года мичманом, кто штабс-капитаном, провел себя в капитаны, а некоторые из полковников сразу произвели себя своим соизволением в генералы, только вот ваш этот симпатичный майский жучок так долго страдал и раскачивался, пока не всунул сам себя в воображаемые лампасы. И что характерно, на этом и застряли, вместо того, чтобы тем, кто еще в небольших чинах, продвигать себя каждые четыре-пять лет по служебной лестнице!

Нет, ведь, так и застряли на малых ступенях. Интересно, думают ли они об этом, проливаются ли запоздалую слезу, когда пописывают статейки и на тридцатом году эмиграции все еще подписываются мичманами и капитанами! А вот еще не так давно всплыл и гражданский чин: тоже подпись под статьей — титулярный советник такой то. Это вам не хвост, извините за выражение, собачий, а особа 9-го класса, зауряд-советник, даже не советник, а вроде, но все же в особом классе! Мало написать статьику, надо ее и подписать солидно! О слезе мичманов и капитанов: интересно, проливают ли на самом деле или нет! Пожалуй нет! Отчего же это происходит?

— Отчего? — спросил Могиленко, подумав о тех, кто в Обществе остался на старом положении.

— Отчего? — переспросил брат. — От того, что задор прошел. Задор юношества, даже, пожалуй, младенчества! Вот почему они и не продвигают себя дальше. Прошла безвозвратно острота зарубежной жизни...

— Осели, значит, надо понимать.

— Осели? — встрепенулся живо лионский брат. — Ну, нет, не скажу. Совсем не скажу! Взять, например, то, что затевается у вас! Так куда до того, что осели! Наоборот. Взлет в такое планетарное пространство, что и не остановишь. Подумать только, до чего добираются — зарубежное лимитрофное государство устроить! И все своими силами!

— У нас, правда, — не без гордости заметил Могиленко, еще не зная, куда вел лионский

брат, — есть толковые люди. Взять хотя бы Ряшкова...

— Это тот, что с малиновыми щеками? — поинтересовался брат. — Кажется знаю, как то, помню, приглядывался. Насчет того, чтобы выпить и закусить, особенно, прилгнуть так, действительно, толковый человек. Смотрите, как бы не сорвалось у вас это дело.

— Из за Ряшкова?

— Нет, зачем же только из за него! Из общей обстановки, как я давече упомянул о перезаложенных бревнах. Вот этого надо опасаться.

— Спасибо, что научили, — кротко заметил Могиленко, явно поддакиваясь под своего гостя.

— Ну, — ухмыльнулся тот, — вашего брата учить, только портить!

Могиленко не мог не отметить, что такая фраза как «перезаложено в пяти местах под те же самые бревна», никак не могла бы принадлежать иностранцу, как хорошо он ни знал бы русского языка, и могло означать только то, что брат тайно и невидимо присутствовал при закрытых заседаниях, куда не допускали даже рядовых членов Общества. Это отчасти пугало его, и он подумал о том, что нужно будет предупредить других, чтобы не произошло чего либо непоправимого; с другой стороны, ему было приятно, что его гость так свободно делится с ним всем, что у него на уме.

— Мне совсем не так следовало бы говорить с вами, — после некоторой паузы продолжал нежданный гость, — как ни хотелось бы мне сделать такого признания, факт остается фак-

том. Если нет возможности изменить положение, лучше всего смириться с ним на время...

— На время?

— Да, пока обстановка не выработается так, что само по себе подскажет. — Он принял рассейанный вид, посмотрел вдаль, словно не желая дальше развивать мысль о том, как могла бы выработать обстановка. — Какая превратность судьбы, — в раздумья заметил он, — давеча чуть не схватились с вами на коротких мечах, а сейчас сидим и так славно беседуем. А все отчего, хотели бы вы знать?

Могиленко не знал, ответить или нет, так как трудно было распознать, куда вел лукавый брат из Лиона.

— А, ну! — вспомнил он старика Молибога и так же вытаращил глаз на своего гостя.

— Сказать или нет! — словно дразнил брат, — да уж видно, вы и сами давно знаете об этом. Повторяю, что я не разговаривал бы с вами, если бы это было не так.

— А все же? — переспросил Могиленко, чувствуя, что тот скажет ему что то особенное.

— Должен вам сказать, что совершенно незаметно для себя я начинаю чувствовать, что сам подпал — как бы это вам сказать! — под струю вашего энтузиазма, как то невольно чувствую, что не на шутку начинаю увлекаться планами вашего строительства! И знаете, что? — вкрадчиво и вместе с тем заискивающе сказал брат, — вы не поверите, а если бы у нас в совете узнали, так того бы, — и он сделал резкое движение ладонью поперек своего горла.

— Что же это?

— А вот что! Я с удовольствием поступил бы к вам в Общество, с тем, чтобы так же рьяно принимать участие в прениях по поводу устройства русской деревни, забот о родных могилках, создания одного центра Зарубежья, вплоть до великого переселения народов.

-- А, верно, -- подумал Могиленко, — не плохой был бы работник. Такого толкового человека со временем можно было бы провести и вице-председатели.

— А я бы и не гнался за должностями и почетом, всецело предоставил бы это другим, более достойным и честолюбивым. А так, ради идеи, просто ради беззаветного служения...

— Ну, это что то того, вроде Корявки, — Могиленко украдкой кинул взгляд на гостя, чтобы посмотреть, не прочел ли он его мысли.

— Ради простого служения людям... Не знаю, вот как то сразу промелькнула мысль! Перейти то и можно, да вот в чем дело то...

— Не пустили бы?

— Само собой разумеется, что нет! Но дело не в этом, что не пустили бы! Начали бы так притеснять, могли бы и до гибели довести, у нас строго на этот счет! Но не в этом.

- Так в чем же?

— А вот в чем! Начнешь служить общественному делу, посещать собрания, работать на нужды Общества, пописывать статейки в газете — нет только ни чина, ни звания! — нежужели преспособить себе чтонибудь подходящее слушаю, вроде того же титулярного советника! Но это все еще ничего! Начнешь, говорю, а потом как то с годами выйдет так, что будешь говорить — ведь говорят же у вас об этом

другие! — что, мол, поработал на общественном поприще, да так намучился в нем, нужду перетерпел, перенес страдания, пострадал за свои святые убеждения и прочее...

— Ну, теперь дурака валяет, — решил Могиленко. — То был серьезен, а то балаганит.

Брат из Лиона громко рассмеялся, наливаясь в лице краской, ясно выдавая себя в том, что это была шутка.

— Вот ведь в чем несчастье с вами, людьми общественных организаций, — произнес наконец он, все еще смеясь и вытирая слезы на глазах, — несчастье все в том, что вы все не только заседаете беспрерывно, но еще так изощряетесь на них в планах и проектах на будущее, что по значительности и весу протоколы эмигрантских заседаний давно перегнали протоколы Сионских Мудрецов!

Сказав это, он стал смеяться еще громче, так что Могиленко подумал, не лопнут ли у него надутые щеки.

Но брат из Лиона внезапно замолк, вытер насухо глаза и принял серьезный вид.

— Начал я с того, что высказал давнишнее пожелание перетянуть вас к себе, на нашу сторону, а закончил признанием, что сам готов перейти к вам. Нельзя так кидаться, я даже не говорю о том, что мне преподнесут в нашем главном совете за это, ведь от нас ничего не скрывается, даже наши собственные промахи... Мне самому по рангу не полагается так поступать. Вот, что я хотел бы сказать вам: вы считаете, что мы враждует с вами, что не можем поделить чего то. На это может быть такой ответ: богово богове, а кесарево сечение

кесарю! Нам то с вами враждовать нечего, а насчет дележа, ну, это дело десятое.

Сделав такую подготовку, высокий брат перешел решительно к своей главной цели, развернув обстоятельно перед Могиленко сложный план мирового владычества. При этом он сделал довольно прозрачный намек на одно печальное для ордена обстоятельство, на препятствие на этом пути, придав голосу особую вкрадчивость. Он сделал особое ударение на словах «несовратимое препятствие», хотя Могиленко и так знал, о чем и о ком шла речь. Он слушал своего гостя терпеливо, не меняя позы, с неловко выгнутой шеей, которая позволяла ему время от времени кидать на вкрадчивого пришельца пытливый взгляд. Все это время он старался не выдать даже малой части своего интереса к разговору, словно его гость обращался к стене, но от того ничто не могло ускользнуть, даже то, что при последних словах Могиленко настороженно повел ухом и что на его лице проскользнуло мимолетное выражение довольства.

Отметив в себе с удовлетворением эффект своих слов, брат опять вернулся к мелким земным делам, вспомнил, что не успел утром завести часы и посмотреть на барометр, как погода, и ухмыльнулся в ответ на свои мысли.

— Вопрос вот в чем, — начал он, и Могиленко почувствовал, что тот перешел к серьезным вещам. — Как ни хотелось бы принять меры предосторожности, чтобы помешать, спутать ходы и навести на ложный след, короче говоря, сорвать всю затею...

— Это что же, — невинно спросил Могилен-

ко, — не то ли, что у нас правление раскачивает?

— А какое же другое дело может представлять больший интерес для нас в это критическое время? Эта самая затея и есть, что не дает покоя не только нам с вами — хотя мы и на различных полюсах!, но и многим, многим другим, занимающим вы-ы-ы-сокое положение в сем мире, которые много дали бы, чтобы успеть во время приложить свою крепкую руку для... ну, понятно, для чего! Вопрос, как я вижу, вот в чем: вдруг, допустим, у вас в Обществе правление справится и на самом деле начнет такое дело, что страшно будет подумать! И спрявятся на славу, на-ять, даже на контр-ять! Не только весь мир поразят, а и самих себя приведут в немалое изумление. Что тогда получится, хотел бы я вас спросить!

— А что?

— Ведь вы тогда так осилите нашего брата, розенкрайцеров, что нам хоть со света сходи, а этого мы никак не можем допустить. Никак!

— Значит, так выразиться: сила у нас есть! — тем же невинным тоном заметил Могиленко. — А что выйдет? Думаете, вашего брата через мясорубку пропустят?

Брат из Лиона неприятно поморщился и потемнел в лице. Он замолчал, пытливо впиваюсь взглядом в Могиленко, который знал, что поддел не только за живое лионского брата, но и напугал его так, что тому трудно было ответить на вопрос, что было бы равносильно мучительному признанию.

— Жарко как то, — наконец глухо проговорил он, похлопав себя по груди и бокам, чтобы

убедиться, при нем ли свитер. — Да и воздуха как то маловато! — добавил он растерянно, и Могиленко, человек не без чувствительности, вскинул на него сострадальческий взгляд, по-думав, а вдруг человек борется за чужие идеи против своей воли.

— Через мясорубку, а? — наконец проговорил он глухо, тоном, в котором был ни то сарказм, ни то страх. — Это еще что! От вашего брата можно ждать и худшего.

— Вроде?

— Конечно, если перевес на вашей стороне, боюсь, что к этому клонится!.. Что ждать худшего, а? Многое. Так обработаете нашего брата, что от него ничего не останется, даже простого воспоминания. Заставите обязательноходить на свои собрания.

— Это у нас первым делом, чтобы не пропускать!

— Ну, вот, видите! Этот ваш Холодец так раскашляется, так зашумит, а проведет вопрос о приписке нашего брата к станицам. А туда только попади: заставят трястись на конях — это нашего то брата, солидных людей, на казачьих седлах! От одного этого можно уйти, как говорят у вас на родине, в пузырек. Это еще дело мужское — посадят, ничего не поделаешь, кое кто, понятно, погибнет от тряски и от набоя кобчика, а кто и выживет.

— А есть и похуже?

— А как же! Представьте, посадят лепить пельмени, во сколько пар рук у вас лепят — шестьдесят, а?

— Последнее время неправляются никак.

— Вот видите! Значит, обязательно засадят

за это занятие нашего брата, а ведь среди нас есть бакалавры, магистры, доктора философии и прав, есть и такие, что рукой не достанешь. Усмирят, обрабатывают, сделают кроткими — что для вашей общественной нагрузки нужно иное, кроме проворных пальцев! Нет, этого мы никак не можем допустить... Никак.

Могиленко не мог не видеть, что важный лионский гость внезапно сдал, и что он сам мог взять на себя больше смелости. С другой стороны, он хорошо знал повадки и приемы своего незванного гостя, чтобы легко поддаться на них. От желания ли подразнить опечаленного брата, или его самого подтачивал этот вопрос, он спросил его:

— Вы как то сказали, что от вас, розенкрайцеров, ничего не скрыто, что вы настолько зорки, что даже сквозь перезаложенные бревна видите. Так это или нет?

— Ну, предположим, так, — поморщился брат, не зная, куда вел Могиленко, но ожидая от него какого то казуса.

— Как узнать, выйдет у нас или нет наше дело, которое так неприятно встает поперек вашего горла?

— Выходит или нет? Если выйдет, какой же тогда может быть разговор: тогда нам, розенкрайцерам, капут, крышка! Ваши не дадут нам жить, просто сведут со света... А не выйдет?.. Как узнать, вы спрашиваете. Все еще может раскрыться само по себе.

— Как?

— А вот как, припомните мои слова: если дадите еще маху, упустите кое кого, то все раскроется при ярком белом свете!

### XIII

#### ПЛАНИРОВЩИКИ, ВПЕРЕД

После чрезвычайного заседания все было выяснено, решено и подписано. Оставалось только выработать детали. Для этого и было созвано экстренное заседание, но уже без обмена мнений «в общем и по существу», а для выяснения окончательных подробностей. Все же не обошлось без того, что некоторые из членов правления не могли не воспользоваться случаем и высказаться хотя бы частью «в общем», в чем остальные видели допустимое общественное рвение, никак не идущее в ущерб общим интересам. Таков был порядок, что не поговорив, ничего нельзя было решить.

Председатель Пушкарев оглядел собравшихся, выисматривая, кто хочет высказаться. Ферапонтов поднялся, провел энергичной рукой по ежику головы и обвел всех ясными глазами.

— Господин председатель, господа члены правления! Если проследить внимательно, то всем ясно, по крайней мере для меня, что за довольно короткий срок мы прошли через три, так сказать, этапа. Прошу заметить, исключи-

тельно ради ясности!, что начинаю я счет не с того времени, когда обосновалось здесь Общество, была устроена карточная, поставлен биллиард, открылся русский уголок Коли Усова. Все это, так сказать, только подготовка, и не с того времени я хочу начать счет, а с того, когда...

Он слегка замялся, и все подумали о том, что он вел счет с того знаменательного для себя дня, когда появился сам.

— Об этом не стоит и распространяться, но упомяну здесь, что одним из трех этапов были, — он остановился и поднес руку к глазам, словно желая показать, насколько тяжело ему было говорить об этом, — «родные могилки». Заметьте, что я выражаясь figurально, господа, хотя само выражение, как вы заметили, я заимствовал. Оно, — Ферапонтов поднял пальец и принял торжественный вид, — было произнесено здесь, в этих самых стенах! С хорошей целью произнесено и я отнюдь не оспариваю того знаменательного значения, что скрывалось и что еще скрывается за этими словами... Но опять же, ежели присмотреться внимательно, что в сущности представляет этот хотя и дорогой нашей памяти предмет, если только по настоящему разобраться в нем! А ничего, нуль, одно дуновение: был и нет и ничего от этого не осталось...

— А родные могилки? — спросил председатель, не зная, куда клонил Ферапонтов. — Могильные плиты, ограды, памятники, венки?

— Я и говорю, в сущности, в самой что ни на есть сути. Не думали же мы перевозить могильные плиты и венки в свое время на роди-

ну, ведь нет! Значить только суть, а что же она есть, если вообще от нее ничего не осталось? Тлен и прах!

— Х-м! — протянул недоверчиво председатель, думая о том, что из этого получалось, и высматривая, кто мог бы ответить Ферапонтову.

— Если так ставить вопрос, — сказал Ряшков, поднимаясь на предложение председателя высказаться, — и чтобы не обсуждать больше, предлагаю перехоронить родные могилки в наших сердцах.

— Верно, верно, совершенно верно, — подхватил радостно председатель, — именно там, в наших сердцах на вечное их там пребывание!

— Это я все к тому, — продолжал Ферапонтов, терпеливо выслушав председателя и Ряшкова, — чтобы коснуться самого развития. — Он остановился, обвел глазами собравшихся, ожидая, не скажет ли еще ктонибудь. — Так вот, один из ранних этапов, родные, так сказать, могилки для нас уже в таком отдаленном прошлом, что и сказать об этом с какой либо ясностью невозможно. Это раз. Другой этап, более ранний, русская деревня, трема, колодец с журавлем, древонасаджение, артель кустарей, верстовые столбы... Об этом также было сказано много в этих высокоторжественных стенах, и сказано отлично, с толком, понятием, чувством. Я говорю об этом не потому, что сам, так сказать, приложил к этому плану значительную разработку, главным образом, в предметах искусства. Да и прочие господа члены правления не мало потрудились в деле оформления его. Но теперь, в дан-

ное, так сказать, время, на огромном фоне того, что предстоит перед нами, нельзя не осознать, что и этот план, по меньшей мере, ограниченный! В чем его органическая слабость — мы бы замуровались в нем со всем нашим Обществом. Конечно, этот план лучше, чем «родные могилки»...

— Отставить могилки, — крикнул секретарь, не переставая размашистым почерком водить по листам протокола.

— Теперь о нашем третьем этапе. — Ферапонтов подождал, не крикнет ли что нибудь еще секретарь, повернув к нему терпеливо голову. — Трудно говорить о нем даже тем, кому издавна была ясна вся грандиозность, кто видит отсюда, с этой, так сказать, позиции все отдаленнейшие перспективы этого великого задания. Что меня лично радует в этом этапе, это то, что он вырос из нашего предыдущего плана посадки на землю, но, понятно, никакой иной связи между ними нет и просто не может быть. Подумать крепко, может ли быть?

Ферапонтов остановился, чтобы передохнуть и собраться с мыслями, чтобы как можно обстоятельнее ответить на этот вопрос. Но так и не собравшись с ответом, он продолжал говорить, не столько развивая самий план, который, как знали все, был на правильном пути в толковой разработке самого правления, сколько наслаждаясь и захватывая своих слушателей размахом его.

— Что же, господа, — сказал председатель Пушкирев после того, как Ферапонтов сел на место, — прекрасный доклад. Ничего не при-

бавить, ничего не убавить, все на месте и по сути и в целом... Можно остаться при своем мнении насчет... но царство им небесное! Здесь, действительно, такое начинается, что не до усопших, не до выбывших на вечное, так сказать, поселение, и я, как ваш председатель, обязан вести вас по этому пути, который требует жизни! Прошу желающих высказаться еще по этому вопросу в общем и в частном.

В живых прениях приняли участие все дружно, тепло и радостно. На всех покоилось ровное чувство уверенности в такой значительной работе, с которой ничто другое нельзя было сравнить. Казалось, что каждый видел на себе перст судьбы, сделавшей его избранником в таком великом деле, и неизвестно отчего, от плавной ли речи Ферапонтова или от сознания своей важности и ответственности, но все стали мягче, приятнее и обходительнее. Прежде чем обратиться с чем либо, желавший высказаться смотрел с приятной улыбкой на своего председателя с тем взором, в котором чувствовалась внимательность и любовь, и начинал свое слово так: «а позвольте и мне, так сказать, заметить на этот счет», или «как совершенно правильно изволил заметить Алексей Григорьевич!»

Все слушали друг друга с особым чувством напряженной внимательности, боясь проронить хотя бы одно слово, даже такое, как «так сказать», поворачивали головы в сторону говорившего и часто кивали головой в знак полного и единодушного согласия со всем сказан-

ным, делая это даже прежде, чем оно было высказано полностью.

— Так позвольте мне, господа, как вашему председателю, после такого живого обмена мнений резюмировать все сказанное. Почему было решено в Главном Правлении переместить центр Зарубежья именно к нам, какими причинами и высшими соображениями руководилось начальство в этом исключительно важном вопросе, дело не наше, а его. Оно поставлено на верхи жизни, над нами, оно распоряжается и правит, и не нам входить во внутренние дела его. Оставим эту часть в стороне, а устремимся на ту, которая касается нас самих. Это, как бы выразиться уместнее, э-э-э, наше предугадывание желаний и настроений нашего начальства и умелое направление наших действий параллельно его огромно-важным планам. Речь касается нашего приобретения большого надела земли, который мы предлагаем Главному Центру для его собственного использования. Не может быть никаких сомнений, что он то правильно утилизирует эту землю! Построит ли он там с нашей помощью город, в котором уместится весь центр Зарубежья с его многими учреждениями, покажет прежде всего наша собственная подготовительная работа. И я, как ваш выборный председатель, зову вас к ней. Времени у нас мало, надо действовать быстро и решительно, согласовать все и выработать соответствующие планы. Кто у нас, господа, планировщики? Прошу назначать имена.

Стали думать, кто планировщики. Кто устремился взором глубокомысленно в пото-

лок, кто пытливо заглядывал в лицо председателя или водил по лицам других. Думали и вспоминали, как все это произошло быстро и неожиданно. Началось с того, что Ряшков поднялся на собрании и сказал, что ему не только не хватает времени для мертвых, но и для живых, добавив загадочно, что он еще раз должен встретиться с важным лицом. Вспомнили, как Ряшков ввел нового гостя, взглянув торжественно: Аполлон Александрович Чижиков. Вспомнили, как несколько дней позже по комнатам Общества пронесся секретарь-холерик с надсаженным криком «наезжают!», и неизвестно откуда появился таинственный человек, крепко прижимавший к боку тую набитый портфель. Так как он прибыл перед началом заседания, то естественно, что его немедленно кооптировали, а потом единодушно провели в комиссию по выработке планов по устройству все-зарубежного центра. Вспомнили опять Ряшкова, как на собрании он вытащил из заднего кармана брюк портсигар, поиграл с ним, открыл, заглянул внутрь, и сказал веско, скрутив верхнюю губу: «представьте себе, намечается великое переселение Зарубежья!», и как на эти слова в наступившей внезапно тишине, у каждого в головах пронеслась одна и та же мысль, что это не пустынь Мити Плющина для расслабленных и страдающих грудной жабой, и не «родные могилки», а проект для исключительно живых людей. И тотчас же вспомнили пророческие слова, сказанные Чижиковым у стойки Коли Усова: «вы не знаете, что ждет вас!».

Чем больше думали члены правления, обводя друг друга пытливо-глубокомысленными взорами, чем глубже бороздили лбы ответственными думами, тем все тверже и увереннее подходили к единогласному выводу: а кто не планировщик?

А и верно, кто не планировщик! Вопрос только в подходе и степени, а, следовательно, и в результате. Один так планирует игру на биллиарде, так водит шаром, словно заговоренным, что противнику только и остается нырять под биллиард, при чем даже и от кия-самоклада никакой помощи нет. Другой еще с понедельника, с раннего утра, только встав за работу, планирует, как ему приняться за карты в субботу вечером, и так тщательно разрабатывает в голове все ходы, что не только на плотный ужин у Коли Усова с графином водки, но и хватит что унести домой. Этот планировщик, да и про того нельзя сказать, чтобы и тот не был таковым. Нет, не скажешь, далеко нет! Вопрос только в степени и размахе, да еще в темпераменте, как у настоящих артистов. Планировщик и Райковский, по выбору и обстоятельствам то скептик, то энтузиаст. Планировщик и Митя Плющин, прекрасно устроившийся со своей грудной жабой. Неплох и фон Мюллер, притворяющийся дурачком, когда дело касается работы. А Григорий Холодец, разве это плохой планировщик? Чуть что — прикроется неотложностью казачьих дел, а если не сможет, то на собрании встанет, задерет голову, так раскашляется, что невольно думаешь, такой скажет обязательно что то веское и значительное, кроме

обычного «компот получится». Если что не по нему, так будет часто подносить руку ко рту, что лучше уступить. А уж совсем хороший планировщик Могиленко! Природный, неповторяемый планировщик! Что хорошее, так это от него самого, а что дурное, то от происков розенкрайцеров, да от козней лионских братьев. Руки неумелые, просыпал, не донес, розенкрайцеры под руку дернули, не допускают, чтобы унижался до такой работы, как носить кому то мешки с провизией; просчитался в деньгах, потерял, лионские братья заставили сунуть их в рваный карман; забыл что нибудь, и на это ответ: все хорошо помнил, а они взяли и щелкнули пребольно по голове через электрическую лампочку и отшибли память.

Но это все планировщики мелкотравчатые, плаватели неглубоких вод, и планируют только для себя и то на укороченном отрезе.

Вот секретарь, например, куда поважнее планировщик. У этого все в планах и рассчетах в масштабе всего Общества: кого ввести в правление, кого забаллотировать, что провести через повестку дня и не только вписать, а словно по камню высечь размашистой рукой в протокол для руководства грядущих поколений. При этом может и постучать угрожающе по столу и повопить, что «надо же так опуститься!», очками зловеще посверкать, заговорить с насекомом, с надсаженностью, а смотришь, все, что ему нужно, проведено и вписано в протокол.

Неплохой в этом разряде планировщик и Ферапонтов, неплохой, а для себя полезный,

ну! и не только потому, что хочет, чтобы все было ясно. Взять хотя бы то, как появился в Обществе и развернулся в нем. Особенно с дном, как провел ремонт удачно для себя, что даже бесплотный шотландец на чердаке не мог прийти в себя от изумления и тревоги, и несколько ночей подряд изливался такой острой жалостью, что только один Ферапонтов, со своей спокойной совестью, мог спать крепким сном. Без правильной планировки так не проведешь дела, как провел Ферапонтов. Он обошел весь дом, бегло заглянул в каждую комнату, обронив несколько скучных слов — здесь немного помыть, там почистить!, а дойдя до отвоеванной себе квартиры из двух комнат с отдельной кухней, приотворил две-ри и, не глядя, сказал: «тут, понятно, нужен основательный ремонт!» И так получилось все хорошо при таком опытно спланированном и проведенном ремонте, здесь не додав, там урезав, с того сняв, тому не уделив, накинув на краске, не заплатив полностью подрядчику, что до сих пор сам не нахвалится! И все так твердо, веско, ясно, что если и нужно кого к ответу, то первый вопрос: «а кто уполномочен правлением заведывать домом, кому поручен присмотр за ремонтом? Кто за все отвечает? Ерофей Исаич Гроза. С него и спрашивайте!». А что спросить с Грозы, у которого на такой вопрос только один ответ: «ну, знаете, за такие слова и под суд можно отдать!»

Опытным планировщиком оказался и Гроза: появился недавно, только и хватило слов на «родные могилки», щуплый, со слезящимися глазами, единствено что еще было крепкого

— голос, «на две октавы ниже самого», а не успел пробыть и несколько недель, как оправился, стал гладким и требовательным. Если надо работать для Общества, то на это у него ответ: «еще не так низко пал, чтобы работать под русское Благовещение!». Попросил кто то его постоять у кассы, а на это его ответ: «Стоять в очереди? Ну, я еще не потерял уважения собственного достоинства!».

Планировщик и председатель Пушкирев, но по своему: все под начальство и все ради него. Без начальства ни шагу, все по его указанию и за его ответственностью. Начальство надо слушаться и подчиняться ему беспрекословно, оно за это вознаградит и не забудет. А если промах, начальство милостивое, разберется во всем, войдет в обстоятельства, все, что для этого надо — раннее послушание и готовность пойти за него в огонь и воду. Когда идет все хорошо, он слушает каждого, соглашается охотно, перекладывая с плеча на плечо круглую голову, ласково поглядывая сияющими глазами от одного удовольствия — я ваш председатель! А если что нибудь не так, то «в чем дело, никак не пойму, что такое у вас случилось!» А если что нибудь такое, в чем даже начальство бессильно, то и на это ответ: «сидем под иконы и расскажем всю правду!»

А как жизнь Ряшкова хорошо спланирована, на все хватает времени, всюду успевает, не пропускает ни похорон, ни свадьб, там кутьей слегка подзаправится, а потом основательно сядет за поминальные блины, здесь на запеченного поросенка успеет, не пропустит вечера или вечеринки, заглянет на доклад, по-

бывает на банкете. Но не только этим занята его жизнь, не забывает он и другого. Добрался до Ферапонтова, когда тот переправлял счета за краску и ремонт дома, и заметил просто и доверчиво, а почему и его не включить в разницу? Давно добрался и до Корявко и ходит к нему на рыбные дни, но не только ради селянки, а справиться, как черпает своим удачным ковшем Максим Максимович.

Планировщик и представитель именитого купечества Головков. Все, что приносит доход от работы со своими и чужими деньгами, это польза, и, главным образом, для себя, а что потеря, преимущественно, чужих денег, то на это ответ: «польза была, да не взыщите, женский пол разнюхал, добрался и все забрал!». Планировщик и этот член правления, открывший вторую мелочную лавочку и поставивший туда своего престарелого отца: «старику надо же с чего то существовать!» А какой толковый планировщик Корявко, Максим Максимович, ах, какой опытный планировщик этот золотой человек! Сидит сутками, не вставая с места, а всюду успевает поспеть первым, не забывая ни общественных интересов, ни своих! Сразу же по прибытию на место зарубежного житья отдал на шитье жену и свояченицу на сдельную работу, не зря учтя проворство их рук, чтобы развязать свои собственные, и сел основательно, чтобы было удобно думать. Сидел Корявко и думал, соображал, подсчитывал, планировал, пока шустрые пальцы стучали на швейных машинках, и как то додумался до одного деревянного домика, затем до другого, тоже деревянного, но чуть побольше,

попросторней, с большим числом квартир. Корявко же все сидел, крутил пальцами, поглядывал для счета кроткими белками на потолок, прикидывал, что заложить, кому дать деньги под хороший дом, как получить обратно не деньгами, а домом, что купить здесь, продать там, прибрать к рукам в третьем месте, скомбинировать в четвертом, загребнуть полным ковшом в пятом! Так само по себе стало приплывать к рукам и прибираться к корявкинскому креслу все, что лежало неприbrane и бесхозяйственно, включая сотни десятин земли, ставшей ныне общественной землей для исторического переселения зарубежных народов.

Как ни думали умудренные опытом члены правления, всматриваясь друг другу в лица, невольно приходили они к одной мысли: все планировщики. В разных классах, правда, кто поменьше, кто посолиднее, а кто и совсем в завидных масштабах, но все планировщики!

Присматриваясь друг к другу, каждый думал об одном и том же: а почему не планировать? Особенно в таком важном деле, которое подвертывается далеко не каждый день! Выйдет что либо из этого исторического предприятия или нет, дело другое. Не выйдет, каждый останется при своем. А что из того, что деньги общественные, и дело то ведь общественное, как не отозваться на него! Да не может не выйти такое хорошее дело, если умеючи взяться за него и не пожалеть тех же общественных средств. С другой стороны, почему не допустить, что возможно и даже практически создать зарубежный центр и слить в него все

великое российское рассеяние по всем материкам и странам земли. Почему, спросят, центр в их местах? А почему и нет! Ряшков прекрасно описал места — вон, как восторженно рассказал о своей поездке, не каждый день, говорит, такая выпадает! — все, что нужно для такого великого переселения, есть: пространство, леса, река, за это они горой станут, что лучше не найти нигде. Сами же они опытные, искушенные общественные работники, не из последних рядов Зарубежья, а если скромность позволит сказать, то чуть ли не из самых первых, какую угодно общественную работу проведут таким образом, что одно удовольствие, подебатируют, поспорят, планы разработают, схему наметят, проголосуют единодушно, все, что требуется, сделают самым образцовым порядком.

Не мог же Ряшков выдумать всю историю из пальца или из своего волшебного портсигара, когда столько неопровергимых фактов говорит за то, что на самом деле происходят значительные сдвиги. Если собираются сосредоточить все Зарубежье в одном месте, значит высшие сферы пришли к этому решению, а «если начальство проводит такую меру, оно знает, что делает», говорил председатель Пушкиарев, с чем, понятно, нельзя не согласиться всему правлению. Смелая мысль, даже дерзкая? А кто сказал, что не смелая! Так уж устроен русский человек, этот по рождению и судьбе мечтатель, ударник и планетарный энтузиаст строительства, что чем невероятнее мысль, чем смелее и дерзновеннее дело, чем дальние границы достижения, тем слаще, фа-

натичнее, яростнее, не щадя ни себя, ни других, ухватывается он за него!

А как много соблазнительного и увлекательного в подобном грандиозном предприятии! Пусть даже не все Зарубежье двинется сюда, Бог с теми, кто пустил такие глубокие корни на новой почве, что их уже ничем не выкорчевать! Была же фотография в одном из зарубежных иллюстрированных журналов, на которой был изображен русский врач с женой негритянкой за мирным занятием послеполуденного чаепития. Весь был русский: косоворотка, веранда с резными столбиками, стол с самоваром и кренделями, чай в прикуску, крылечко с дремлющим котом-Васей, полуночь Ванюшка в лаковых полусапожках гоняет голубей; остановка только за тем, что действие происходит где то в дебрях Африки! Как такого выкорчуешь, когда у него своя веранда, православный календарь с билибинской картинкой, налажено снабжение гречневой круppой, балыком и красной икрой, когда у него такой теплый, кустодиевский быт! От добра добра не ищут. Правда, не все так хорошо устроились, не все успели не только обзавестись такой благодатью, но и привить ее тем, кому она никогда и не снилась, но не в этом суть и цель жизни! Пусть только Главный Центр двинется сюда со своими учреждениями, штабами, службами, а быт русский сам по себе обрастет вокруг него со всеми особенностями прошлого, к которым с неудержимым влечением стремится неисправимый мечтатель.

Что можно сделать на новом месте со све-

жими силами, какой город можно создать с миллионным населением при такой отличной закваске, какая имеется здесь! Разве нет на этом собрании энергичных людей? Ряшкова нет на собрании? Ферапонтов только что не выступил со своим словом «в общем и в частном»? Председатель Пушкарев не наставил мудро на путь, провозгласив, «планировщики, вперед»? Елизаветы Воробей нет на собрании? Могиленко отсутствует? А Холодец, а фон Мюллер? А Псицин не хлопает строго веками, обдумывая, кого назначить в планировщики? Старик Молибога не поможет? А на кухне однорукий инвалид Гаврилов не пойдет в общую работу?

Действительно, как ни думай, как ни пытай свою голову в поисках, как ни всматривайся пытливо в лица других, все планировщики! В разных классах, формах и масштабах, об этом и говорить нечего, но все планировщики.

Мелкие из них думают: а почему не съездить на землю, не проехаться за общественный счет и не подышать свежим воздухом? Почему не устроить приятное с полезным и не связать пикник с делом? Молибога обязательно загнет рыбный пирог, он на это отменный мастер, Елизавета Андреевна напечет кренделей, а тихий Митя деловито распорядится выпивкой. Да и другие не поедут с пустыми руками, разве только фон Мюллер, да Могиленко, которому розенкрайцеры не позволят этого.

На то они и мелкие планировщики, чтобы думать только о своем удовольствии, пироге и выпивке, не отягощая себя заботами о круп-

ных делах. На это есть другие планировщики, серьезные, солидные, в мыслях которыхпрочно сидят комиссии, правления, поставки, ремонтные дела, подряды, концессии. Много ли спланируешь, работая в «щетоводах» или по случайным делам, даже если иногда и удается черпнуть полным ковшом? С этого ни чинов, ни положения, ни капитала не создашь. Только и можно развернуться во всю при таком исключительном случае, как перемещение Зарубежья и сосредоточение его в одном месте при самом близком участии опытных планировщиков большого масштаба.

Какие только возможности не представляются в таком огромном предприятии! Какие поставки, подряды, положение, нажива, какое богатство, за которым последует почет, проведение в попечители, наречение их именем городской больницы, богадельни, увековечение в преклонении и славе их имен для умиления облагодетельствованных и в назидание будущих поколений.

Пока представляется сама по себе пышная жизнь, до поразительности похожая на ту, что давным давно отмелась у себя на родине, мысль неудержимо рвется вперед от дел и забот к самому себе, к своему собственному благополучию и счастью. Тот, кто до сих пор мог только поместить престарелого отца в мелочную лавку («надо же старику с чего то жить!»), так размечтается о будущей жизни, так спроектирует себя на мысленном экране, что сам не будет знать, в мечтах ли это или на яву. Мысль так разбежится, что нельзя будет не поверить ей: тут и жизнь полная дел и доволь-

ства, тут и «ангел души» для отдыха и утешения, которому можно пожаловаться: «Другой раз устанешь, измучишься, переводя жено-нино состояние на свое имя, и рад бы гденибудь голову преклонить и отдохнуть, а пока нет тебя, ангел-душенька, около меня — и негде! Ну, да не за горами то время, когда Отец Праведный приберет жену к рукам и ты фактически будешь моей... Уверен, что и тебе, моей цыпушечке, будет со мной хорошо, ибо делать любимому человеку приятное и полезное для каждого человека большое удовольствие».

Не отстанет в своих мечтах и мыслях от него и другой, пожалуй еще более крупный пла-нировщик. В таком новом все-зарубежном городе, после многих лет и больших трудов, пройдет в попечители, купол храма вызолотит, царские врата с новой резьбой поставит, часовню имени своего небесного заступника воздвигнет, и уходя от забот и трудов праведных, окруженный любовью родных и уважением остальных, не раз пройдет в умиляющих сердце воспоминаниях через всю свою долгую и так умело спланированную жизнь. Вспомнит и крепко задумается, и в минуты особо глубокой прочувственности не утерпит, чтобы не признаться в своем недоумении: «малый я человек, простой и бесхитростный, а вот до сих пор не могу уразуметь, как и за что Господь Бог в преблагой своей премудрости надоумил меня открыть ломбард!» И все родные, друзья и облагодетельствованные им начнут неистово вздыхать и восклицать хором: «ох, и мудр же Создатель!»

А сам благодетель, окруженный за банкетным столом родными, друзьями и почитателями, расчувствовавшись от своих слов, пройдет вновь через долгий путь своей трудовой жизни, вспомнит и порасскажет для назидания окружающих, как не покладая рук трудился, объезжая на извозчике по своим лавкам и ломбардам, как прохаживался позади приказчиков, прихлопывая сухонько в ладоши и покрикивая: «ребята, работать», ибо, получал он, «со дней первородного греха и родительского непослушания заповедано человекам трудиться в поте лица своего».

И подивятся словам его собравшиёся отметить большую трудовую жизнь благодетеля и повосклицают: «ой, и мудр же Создатель, да и наш благодетель, ой как мудр!», и так умилятся от его поучений, что даже отец благочинный левым перстом утрут правый глаз — ни то от умиления, ни то от пыжика, по-ряшковски густо помазанного горчицей. А тут реchi хвалебные и приветствия ото всех, кому приятно и полезно высказаться. Здесь и председатель Пушкарев, крестясь на иконы и нагоняя на блестящие глаза слезу, скажет, что не упомнит другого назидательного случая, чтобы все сказанное так западало в душу каждого и заставляло умиляться его! Здесь и Ряшков, нетерпеливо помахивая рукой, чтобы обратили на него внимание, поднимется и скажет: «позвольте, так сказать, и мне вплести несколько цветков в пышный венок достопочтимого юбиляра!» Еще будут звучать в ушах юбиляра хвалебные речи и адреса, еще будут прислушиваться к ним все, и сам благодетель,

раскрыв рот и повернув прикрытое ковшиком руки ухо, не оторвется от них, и все, сколько их ни собралось на банкете, будут пребывать в великом умилении от всего сказанного.

Тем же временем, смотришь, полная жизнь и пришла к своему концу. И опять соберутся родственники, друзья и облагодетельствованный народ, но на этот раз не у банкетного стола, а у смертного одра своего благодетеля. Съедутся со всех сторон важные особы, на площади перед особняком покойного или перед собором появятся квартальные в лаковых голеницах, городовые, бравые кавалеры с шашками-селедками; на санках, на ходу отстегивая медвежью полость, подкатит бодряга Ряшков с подусниками и баками, ни то полицмейстер, ни то вице-губернатор. С окрестных кварталов набегут старухи-салопницы, чтобы у гроба благодетеля, подперев ладонями щеки, в старушечьем умилении при виде смерти восклицать: «какой красивый покойник, право, не наглядеться!»

Кругом лица высокого ранга, Пушкирев, уже не прежний гладкий майский жучок, а убеленный сединами фельдмаршал, в медальях, орденах, с голубой муаровой лентой. Ферапонтов, пожалованный потомственным дворянством за проворство и заслуги, — неизвестно перед кем и перед чем — в расшитом золотом мундире с тугим воротником. Бессмертный Корявко, еще более тучный и хрипучий. Пожалуй только не будет старика Молибога, отдавшего в положенное ему время душу на вечное успокоение, инвалида Гаврилова, да купца Головкова, также отошедшего

в тот мир, где нет ни скорби, ни воздыханий, ни пользы, ни певичек, ни удачно застрахованного имущества.

Придет к концу и прощание с благодетелем, и Ряшков по прежнему прыткий — уже будет пробираться через толпу, чтобы ухватиться за ножку гроба для выноса покойника.

На поминках же по человеке, так полезно спланировавшем свою жизнь, родственники, друзья и облагодетельствованные растекутся ручьями, реками, а то и морями слез, воздыханий и стенаний — каждый по мере сил и способности, а добрые родственники и по надежде на благоприятный раздел наследства.

Верный себе Ряшков, проворно завернув в блин добрый кусок сельди, икры, груздя, и полив все это обильно сметаной и маслом, успеет порассказать, как они с покойником планировали большое дело, как умело провели его, до чего дослужились, до каких чинов, богатства и положения, все за умелое планирование. И прилгнет при этом изрядно, что сам слышал, как небесная сила надоумила покойного благодетеля и навела на доходное дело, и себя пристегнет к нему, как такого же доброго советника. И тот же председатель, фельдмаршал Пушкарев, или другой, до странности похожий на него, встанет, утрут досадливую слезу и поминутно крестясь то на иконы, то на траурный портрет, скажет растроганно: «Захожу я сюда, и все то мне чудится Иван Васильевич! Словно и не уходил от нас наш чудный благодетель!» Встанет и другой, похлопает строго веками, проведет щеточкой по седым усам, потрясет скорбно головой, словно

еще не в состоянии прийти в себя от тяжелой потери, и скажет прочно: «друг наш, отец и благодетель! Зачем и куда ушел ты от нас осиротелых!» и тяжело опустит голову и так проникновенно посмотрит в пол, что как не догадаться, куда ушел благодетель! И от этих слов зашевелятся родственники, скованные до этого скорбью и своими заботами, и придут в немалое умиление, возвеличенное предвкушением того, что достанется каждому от плодовитой, так ладно спланированной жизни благодетеля и заговорят на разные голоса, но хорошо спевшимся хором:

— Иван Васильевич, — скажет один, — это наша свеча!

Другому это покажется малым. — Иван Васильевич, — скажет он, — наш возженный факел.

Третий обязательно захочет прибавить к этому и задумается, как бы ему выразиться пoyerче. И уже соберется, а какая нибудь солопница перебьет его и скажет: — Не покойник, а чисто люстра!

— Иван Васильевич — это наша электрическая станция! — и сам поспешит зажмуриться от своих слов.

Так думал каждый на собрании в ответ на слова председателя: прошу назначать планировщиков! И чем больше, чем глубже бороздили по извилинам мозга, перебирая прошлое каждого и заглядывая в будущее, тем тверже подходили к одному и тому же ответу: а кто не планировщик.

— Тут и выбирать нечего! — сказал, наконец Молибога, набрав на лбу невероятное количество морщин, пока все еще продолжали думать в упорном молчании. — Кого же выбирать? Каждый на своем месте. Ехать всем, вот что, а иначе нельзя — все планировщики!

— То есть, как же это всем?

— Всем причтом, как по эпархии, — отозвался небрежно Райковский.

— С председателем? — переспросил озадаченный Пушкарев.

— Всем, как есть.

— До чего же надо опуститься, — завопил яростно секретарь, вскакивая и снова опускаясь на стул, — чтобы председатель ехал вместе с планировщиками.

— Как то это не делается, — заметила озабоченно и председательница Воробей. — Узнали бы об этом в столице, вот подняли бы нас на смех.

— Да это просто не принято! — быстро заговорил Пушкарев, поднимая плечи и разводя руками. — Просто не принято.

— Отставить, отставить, — вопил секретарь, — после, когда все спланировано, намечено, обозначены улицы, здания и прочее...

— С отцом Павлом, с крестом и водосвятием...

— Вот именно, с крестом и водосвятием, с благодарственным молебном, с окроплением углов нового строительства.

Долго еще восклицали бы члены правления после продолжительного пребывания в глубоких думах, придя опять в обычное живое состояние, если их энтузиазм не был бы вне-

запно прерван. В зал собрания вошел Ерофей Исаич Гроза, обводя строгими глазами собравшихся, словно выискивая кого то среди них, и спросил, не видел ли кто таинственного ста-ричка?

— Нет, — ответили ему, невольно поддавшись на странный тон его вопроса. — А что?

— А что? — переспросил зловеще Гроза. Он провел платком по глазам и все вдруг почувствовали что то недобroе в воздухе. — А то, как бы чего не вышло!

Гроза направился к двери, открыл ее, остановился, повернулся лицом к собранию:

— Как бы с ним не вышло ошибки, сдается мне, что борода из местных. — Он помолчал, затем добавил веско: — А вовсе не оттуда!

— Да, ну? — воскликнул изумленный до крайности Молибога.

— А вот тебе и да, ну! — добавил значитель но Ряшков.

## XIV

### СЕРДОБОЛЬНЫЕ БРАТЬЯ СМИТ

Опять дорога, но на этот раз развернулась она не для Ряшкова, а для планировщиков, выехавших для внимательного осмотра своей земли и установления вех будущего строительства.

Как радостно веселит душу человека она, унося его вперед, вперед, в непрестанную погоню за убегающим горизонтом, за чем то новым, за что никак нельзя ухватиться!

— Как чудесно, господа, — повторяла Елизавета Воробей, — вместо того, чтобы дуться в карты в накуренной комнате или гонять идиотские шары на биллиарде, выехать за город, к своей земле, смелые строители культурного дела!

С этим охотно соглашались все остальные, что поездку на свою родную землю не сравнить с игрой в карты или на биллиарде. Другие же, наиболее одержимые азартной страстью, прибавляли для своего оправдания, что потому то они и сидят в прокуренной комнате годами, почти не выходя, что до сих пор не

удавалось выполнить свою старую мечту о посадке на землю.

— А вы и пирог с собой захватили? — добродушно спросила Молибогу председательница.

— Захватить то захватил, — ответил озабоченный Молибога, — вчера еще из рыбы завернул, да боюсь не вышел, визиги настоящей никак не достанешь, вот ведь несчастье в чем, все оббегал, а нет!

— Подожди, старик, запасись немного терпением, вот устроимся на новых местах, так заживем, все тебе будет, и визига, и налимы, и сомы, все, что только захочется твоей душе!

— Дай Бог, дай! Намедни бегал, искал, да что! Много чего у них здесь нет для настоящего русского потребления, взять, хотя бы...

Молибога еще долго перечислял бы чего нет, если бы в это время не подали автобус, куда после небольшой возни с провизией, чайниками, уселась группа планировщиков. Все были настроены радостно и приподнято, и не только потому, что был весенний день! Выражение торжественности на их лицах говорило о сознании важности момента. Таких весенних дней было много в жизни каждого из них, но это был первый день, когда они так близко подошли к своей заветной мечте, что выехали на свою землю! Как же не быть приподнятым в такой важный момент!

— Итак, господа, значит все в порядке, мы знаем, где сходить, но все же пусть ктонибудь сядет поближе к шофферу, чтобы не проехать мимо нашей земли. Подумать только, как много работы надо провернуть сегодня!

Это вам, господа мужчины, не в покер играть, и если бы я в один критический момент не настояла бы, не было бы у вас этой земли и большого культурного русского дела!

— Когда это она успела повернуть так дело? — подумал каждый, — как будто все участвовали поровну, одинаково вкладывая свои способности и работу в общее дело! Ну, женщина, понятно, всегда рвется настоять на последнем слове.

Было очевидно, что председательница Воробей была не очень высокого мнения о мужчинах, и не придавала большего значения, что было у них в мыслях. Скоро, думала она, из Центра понаедет настоящий народ, интеллигенты, начитанные, культурные люди, общественные деятели с университетским образованием, какая начнется жизнь, как много можно будет провернуть работы каждый день!

Автобус давно выехал из города и катил, шурша успокаивающие шинами, по широкому бетону шоссе, разворачивая перед пассажирами весеннюю панораму полей, рощь, селений, спускаясь с горы, пересекая по гулкому мосту реку, все ближе и ближе к заповедной земле.

— Как хотите, господа — сказал один из них, поворачиваясь ко всем и обводя их затуманенным взором, — как хотите, но вы должны обязательно обещать мне, что все непременно будет в русском стиле, а, главное, в середине колодец с журавлем. Без этого я не мыслю русской деревни!

— При чем тут русская деревня! — воскликнул Ферапонтов. — Эк, чего хватили, батенька! Да это давно в прошлом.

— Вы что, на последних собраниях не были? — старался перекричать других секретарь, — ведь эдак легко того, знаете, если не посещать...

— До чего же отсталые есть среди нас! И как умудриться такому попасть в планировщики, вот чего никак не могу понять!

— Давным давно в прошлом! Можно сказать, в ветхом завете... Вы на самом деле отстаете! Вы еще и верстовые столбы вспомните, если на то пошло!

— А и, верно, я что то того, запамятовал, что ли, не пойму! Мне все как то казалось, что мы еще около русской деревни вращаемся, признаться, не заметил, что так сильно продвинулись вперед... А насчет верстовых столбов вы сделали замечание, так будьте поосторожнее — что бы ни было, деревня или город, а без них не обойтись, сами еще к ним вернетесь. Не очень, то!..

Все невольно задумались над его словами, но задумались с пониманием и даже симпатией: в самой передовой стране есть отсталые люди, ничего с этим не поделаешь! Хотя, отчасти, такая привязанность к своим убеждениям не может не быть похвальной.

Задумавшись о привязанностях к своим убеждениям, каждый стал вновь перебирать в голове — в который уже раз! — как все это произошло. Вспомнили собрание, на котором Митя Плющин высказал робкое пожелание об устройстве обители для слабогрудых и недугующих. Вспомнили, как в задних рядах поднялся странного типа человек с красным платком в руках у мокрых глаз, и неожидан-

но поразил всех словами о родных могилках. Некоторое время позже, перед концом собрания, Ферапонтов вывел его перед собранием и сказал: «вот, привел нового члена, Ерофея, как его, Исаича Грозу. Делайте с ним, что хотите». Но как то вышло само по себе, что Ферапонтов сразу же провел Грозу в хозяйственный комитет в свои помощники. Вспомнили, как Ряшков упомянул о приехавшем человеке, встревожив правление тем, что у Чижикова имеются особые полномочия по поводу крупных зарубежных дел. Подумали с особым удовольствием и о самом Чижикове, о своей встрече с ним и о том замечательном впечатлении, которое он оставил у всех. Вспомнили и о неожиданном появлении нового человека, который в первые секунды своего пребывания успел пробуравить всех своими невероятно жгучими глазами. Вспомнили о том, как окружили Чижикова в понятном людопытстве узнать, тот ли самый, о котором он упоминал, и как на это последовал решительный ответ: «ничего не могу сказать, лучше и не спрашивайте, все определится в свое время», что было совершенно достаточно, чтобы решить, что новый гость именно тот, о ком упоминал Чижиков.

Вспомнив обо всем этом под ровный шелест торопливых автобусных шин, каждый задумался крепко и о себе, как и почему в этот весенний день он едет на землю, которую уже может назвать своей и на которой ему суждено будет строить новую жизнь.

Председательница Воробей задумалась о том, о чем задумывалась всегда — о создании

культурной жизни с новыми людьми, прибывшими из столицы, образованными, утонченными, с которыми можно поговорить о библиотеках и читальнях. Кому как не ей суждено сделать так много в зарубежном культурном центре! Такой образовательный центр развить, такую головокружительную работу провернуть, что высшие сферы не нарабатываются!

Думал ли о чем либо, связанном с центром, фон Мюллер, стратег и вольнослушатель Зарубежной Академии Генерального Штаба, трудно сказать! Его мысли не отличались определенной точностью, он думал как и говорил, быстро, переносясь с одного предмета на другой, в выражениях пространных и неопределенных. Неизвестно, думал ли он в то утро о седых легионах или о рыбном пироге на коленях сидевшего рядом Молибога, но при малейшем поводе он готов был выпустить поток торопливых слов о необходимости создания плацдарма для будущих оперативных задач. Каких? — он сам бы не сказал точно, но весьма просто коснулся бы священных заветов, о благородном споре, решенном оружием. Если же кто нибудь возразил бы ненароком, что не для какого то плацдарма покупали с таким трудом землю, или что легионы совсем седые, то был бы сам не рад, так как этого именно и ждал бы фон Мюллер, чтобы тотчас же перескочить на историю перед ошарашенным Молибогом или Грозой и понести историческую смесь, нахватанную из календарных листков, случайного чтения, вроде того, что Македония была крохотная, а побеждала сво-

им духом и что таких примеров так много, что и не рассказать. Да и трудно было бы в то утро во время поездки порассказать о чем либо, так как мотор автобуса заглушал речь, к тому же Молибоге было не до слушания из за волнения, что не было настоящей визиги и что от автобусной тряски можно было помять пирог.

О плацдарме думал и Могиленко, но как о плацдарме, готовом быть захваченным кознями проворных лионских братьев для срыва дела Общества, и он пытливо оглядывал плацировщиков, не скрылся ли за кем либо один из вероломных братьев, особенно тот, который бреется дважды в день. Он хотел поделиться своими опасениями с сидевшим рядом Головковым, но дело было тайное и он мог сделать только прозрачный намек, на что последний, не вслушиваясь в слова, но улавливая, что дело касалось чьих то козней, ответил, что «иногда и не заметишь, как продадут, как кота в мешке».

Пребывали в глубоких думах и другие плацировщики, каждый по себе, каждый в тех, что интересовали его самого. Гроза думал о прошлогодних фрахтах и тарифе, который он установил бы на товары, за что его назначили бы не только старшим весовщиком, а пожалуй и заведующим всем тарифным отделом. Ферапонтову мерещились гербы и родословные, и в своих мыслях — если только прочесть их — он успевал добраться до предводительства новых зарубежных дворян, об отличном, барском особняке на главной улице нового города, где он устраивал бы большие приемы.

Думал и шоффер автобуса, привыкший ко всему, но не перестававший поглядывать с наростающим удивлением на своих пассажиров, которые или так шумливо перекрикивались, что не было слышно мотора, или вдруг впадали в такую молчаливую оцепенелость, от которой ему становилось не по себе. А впрочем, думал он, как хорошо, что эта группа взволнованных людей вырвалась на свежий воздух и едет на пикник с таким большим запасом провизии, что может говорить только об их запасливости и заботливости друг о друге. Но куда на пикник, ломал себе голову шоффер, зная, что на мили и мили вокруг ничего не было такого, куда можно было бы заманить людей, даже если они столетиями не дышали свежим воздухом.

Сидевший рядом Ферапонтов считал мили по счетчику и проверял их по часам. Он беспокойно зашевелился, прервал ход мыслей шоффера, и показал выразительно пальцем на внезапно выплывшую впереди вывеску с изображением двух бородатых братьев Смит, рекламировавших патентованные средства от всевозможных болезней. Шоффер вспомнил, что около этой вывески его пассажиры просили остановиться и ссадить их. При виде вывески Молибога с часами Павел Бурэ в руках для проверки, пришел в неописуемое волнение, ради которого нагнал на лоб все запасы кожи, которые только мог собрать со всего тела.

При виде вывески пришли в подобное же волнение и другие. До сих пор земля была еще только в мыслях и планах, без того щемящего

ощущения, которое так хорошо знакомо каждому, кто давно ждал и наконец дождался самого радостного во всей своей жизни. Здесь, при виде этого отличительного знака, начала границы своей земли, они вплотную подошли к важному моменту своей жизни, в котором сливались все чувства и стремления, придавленные годами жизни на чужбине.

Здесь, в восьмидесяти милях от города, стояла одинокая вывеска, с которой с чувством глубокого интереса к своим возможным соседям смотрели бородатые братья Смит на группу взъявленных людей, высаживающихся из автобуса. Что могло привлечь их сюда, какая необъяснимая сила или трагическая решимость заставила их прибыть в эти одинокие места, так и не могли разгадать сердобольные братья Смит! Зато у них с первого же момента встречи возросло к этим странным людям столько чувства симпатии и сожаления, что они невольно задумались, могут ли в таком сложном деле помочь их магические средства, применяемые успешно во всех других случаях, но решили, что нет, ничто не может помочь и исцелить людей, охваченных таким тяжким недугом. Не с меньшим удивлением смотрел на высадившихся людей и шоффер, все никак не додумавшийся, для чего они прибыли сюда. Не для того же, чтобы взглянуть на изумленные лица братьев Смит, которые смотрят с патентованных коробочек в любой аптеке! Нет, не из за этого, и лицо шоффера выражало не меньшие чувства симпатии и сожаления к этим людям, вероятно севшим не

на тот автобус и проехавшим напрасно эти восемьдесят миль.

Но далеко не напрасно проехали планировщики эти мили! Нет, далеко нет! Сейчас они были у порога отделяющего их от прошлого. Каково оно было, они знали, и мало что хорошего могли сказать о нем. О будущем же, как каждый русский человек, могли помечтать и о многом порассказать.

— Итак, господа, — торжественно обратился к остальным планировщикам Ферапонтов, — сейчас, за этой грядой, начинается для всех нас новая эра жизни. Подойдем к ней с полным сознанием важности, чтобы для всех нас оно стало ясным и радостным.

Высадив своих странных пассажиров у вывески бородатых братьев, шоффер автобуса поехал дальше, не переставая думать о том, что могло привлечь этих людей пожаловать на пикник в такие глухие места. Но мысли о загадочности человеческой натуры сменились другими, и шоффер стал думать о том, как хорошо, даже на выезженном месте, прилечь у разостланной скатерти, и с хорошим куском в одной руке и со стаканом в другой поговорить, поспорить, посмеяться с приятными людьми, забыть на время возню пассажиров при посадке и высадке, скрежет шестеренок, запах перегорелого машинного масла, отправленный газолином воздух, встречные автомобили.

Весь остаток пути до конечного пункта маршрута шоффер не переставал думать о своих недавних пассажирах и пикнике. На по-

следней станции он зашел в конторку автобусного агента, где сидело несколько шофферов, ожидая смены, и там рассказал о группе людей, высадившихся у вывески братьев Смит на 86-ой милю. Делать ли было нечего на станции, или событие само по себе показалось необыкновенным, но вскоре к агенту и шофферам присоединились механики, возившиеся с автобусом, так что шофферу снова пришлось рассказать свою историю. Выслушав ее, каждый задумался над тем, что, в действительности, могло привлечь людей в такие глухие и скучные места. Механики все никак не могли приняться за прерванную работу и после совещания друг с другом вернулись в конторку, где высказали свое мнение. Один из них решил, что приехавшие должны быть золотопромышленниками или нефтеискателями, так как он припомнил, что в старое время кто то что то искал в этих местах — ни то золото, ни то нефть, а то может быть и медь, но не найдя ничего, прожился, махнул рукой на все и больше не показывался. Другой механик решил, что это группа бродячих артистов в поисках места для киносъемок.

На это возразил шоффер, что его недавние пассажиры не золотоискатели и не бродячая труппа артистов, хотя и весьма похожи на них. У них с собой не было ни инструментов, ни кино-аппаратов, что могло бы их причислить к первым или ко вторым, и единственное чем они были нагружены и довольно основательно, это провизией и чайниками. Кроме того, они были иностранцы.

Это заставило всех глубоко призадуматься,

особенно автобусного агента. Шоффер вернулся к своему автобусу, а крепко задумавшийся агент два раза выходил из своей кабинки, чтобы узнать дополнительные детали. Когда он вышел в третий раз, после того, как хорошо поразмыслил надо всем, он позвал шофферов и механиков и сказал им, что он раскусил в чем дело, что хотя и не видел их, но судя только по приметам, он готов был клясться, что это — русские. На этом и было решено и укреплено общим мнением, что проезжие — русские. А если так, то от них можно было ждать всего.

— Откуда здесь может быть река, никак не пойму! — спрашивал озабоченно Холодец, спеша первым попасть к перевалу.

— Река — что, а вот где лес, что то не видно никакой растительности.

— Подождите, господа, не накличьте чего нибудь дурного, я начинаю нервничать. Вы, мужчины, всегда что нибудь найдете плохого, даже еще и не видя ничего!

— Постой, постой, — повторял Молибога, стараясь поспеть за остальными, несмотря на пирог, покоившийся на его вытянутых руках.

— Так еще раз, господа, это твердо, при вступлении в деревню, ближе к середине — колодец с журавлем...

Человеку с плохой памятью так и не удалось договорить, так как в это время они подошли к гряде, и что бы ни говорилось, все это потонуло в неожиданных восклицаниях разочарования, испуга и даже отчаяния. Так

после многих лет поиска за кладом человек наконец находит место, где он должен был бы зарыт, спешно роет землю, горя нетерпением, с сердцем бешено бьющимся в груди от предвкушения того, что его должно сейчас ослепить. Его заступ стучит по крышке кованого железом сундука, он с еще большей лихорадочностью спешит, сердце его готово разорваться, последним напряженным усилием он разбивает крышку, кидается вниз, и видит на дне сундука гниль и мерзость.

Особенно поразила группу планировщиков, резанув остро по сердцу, беспросветная унылость места. Не то, чтобы не было солнца, нет, оно было и так же сияло, как и по ту сторону гряды. Но там была шоссейная дорога, обсаженная по сторонам деревьями, и она устремлялась куда то. Тут же были одни выжженные места, что то вроде солончаков, бурые пятна, которые если и уносили куда то, то только к другим бурым пятнам. На огромном пространстве, кончавшемся чем то вроде рыбьего болота, выгоревшего на солнце, не было видно ничего, кроме кое где прибитого к земле серого кустарника.

При виде унылого зрелища Молибога набрал на лбу такое количество морщин, что у него невольно опустились руки и вывалился на землю рыбный пирог. Затем заговорили все разом.

— Постой, постой, что же это!  
— Где же если не река, то хоть вода?  
— А где же лес или какая нибудь растительность?  
— Что же это такое! Мошенничество!

— Даже не разберешься в почве, не понять, суглинок или просто дрянь! — заметил расстроенно один из почвоведов.

— Какой же тут колодец с журавлем, — воскликнул забывчивый член правления, — если не вода, а одна ржавчина!

— Да что вы все со своим колодцем, на самом деле! — тут такое делается, что и в жизнь не разобраться, а он все твердит о своем!

— Что же нам теперь делать, вот что мне не ясно, пожалуй впервые за всю жизнь! — повторял Ферапонтов, поднимаясь на носки и задирая голову, словно пытаясь рассмотреть, не лучше ли будет картина дальше.

— Если это мошенничество, то за это и того, под суд можно отдать!

— Компот получился, я вижу это сразу, — заметил Холодец без особенного интереса, даже не наливаясь краской в лице для кашля.

— Что скажет председатель и правление! Это еще не так страшно, а вот что скажет все Общество! У меня только от одной мысли ледяният душу! Без председателя не решить, похоже на то, что мы сесть то сели на землю, но не так, как намечалось по планам!

— Мне, как скептику, картина сразу стала ясной. Посадку то мы сделали, но как! Вот об этом нас спросят, да еще как!

— Похоже, что на самом деле сели.

— Что же нам теперь делать! Вопрос не только в том, что сели, как вы говорите, а в том, что из за вас, господ мужчин, кто то не доглядел и втянул других в это дело...

— Втянул во что?

— А в потраченные средства.

— А, средства! — повторил без особого интереса Ферапонтов. — Об этом надо позабочиться прежде всего председателю и Ерофею Исаичу Грозе. А где секретарь, его что то не видно?

— Вон там носится как осатанелый, — ответил почвовед, все еще глубокомысленно мявшись сухой ком земли. — Да и Молибога того кажется, не все у старика в порядке от сотрясения мозга.

— Почему же Ерофею Исаичу? — спросил Гроза, строго поглядывая на председательницу Воробей.

— А кто деньгами распоряжался? — так же строго поглядывая, как и он, отозвалась Воробей.

— Ну, это, знаете, можно и того...

— В общем, господа, позвольте мне выразиться на счет земли: она подходящая, как нельзя лучше, — заговорил быстро фон Мюллер, отходя от сваленных на землю свертков, около которых возилось несколько человек. — Для применения к местности может и не совсем подходит, но просто как случай, о котором долго будут писать во всех крупных газетах мира...

Его нельзя было перебить, он так понесся быстро, перескакивая с одной истории на другую, припомнив славные савинковские дела, мошенническую продажу губернаторского дома в Бомбее, примешав сюда аферу с голубым африканским бриллиантом, кражу архиерейского облачения, осыпанного драгоценными камнями, в которое облачился столичный аферист примерки ради и в нем вышел, благослов-

ляя народ, мимо самого полицмейстера. Он хотел напомнить еще несколько случаев, имевших по его мнению прямое отношение к их случаю, но от него давно все отошли, и только почтовед, все еще с куском земли в руке, от нечего делать слушал его, но и тот скоро бросил, отмахнувшись рукой и сказав при этом: «ну, вы что то того, уж так зарапортовались, что и не разобраться!» Фон Мюллеру ничего не оставалось делать, как опять вернуться к группе мелких планировщиков, спасавших остатки молибоговского пирога, и где Плющин уже возился со своей пересохшей жабой.

— При чем тут международные мошенничества! — воскликнула с досадой Воробей. — Дело общественное, а он пристал с кражей архиерейского облачения! Действительно, кого только не набрали в планировщики!

— Теперь уже поздно решать, кого назначали. Получилось то, что Холодец верно называет компот! Без председателя и Ерофея Грозы не выпутаться.

— Причем опять Гроза, хотел бы я знать!

— А кто деньги из рук выпускал?

— А кто решал на общем собрании?

— Господа, не время и не место сводить личные счеты. Оставим это до чрезвычайного общего собрания. Давайте ка лучше подумаем, что нам делать, как нам выправиться из этого положения. Постойте! — Председательница Воробей обвела всех пытливыми глазами. — А, может быть, мы просто не туда попали?

Ничего не было особенного в том, что, стolknувшись лицом к лицу с такой неудачей, они совершенно забыли о своих еще недавних пла-

нах о переселении главных управлений Зарубежья и теперь думали только о том, как выпутаться из положения.

— Как же это вы просто не попали куда надо? — насмешливо спросил Райковский. — Ряшков же объяснил вам, как ехать, да и в бумагах о земле точно указано место. Вот тут, неподалеку от симпатичных братьев Смит, на восемьдесят шестой милю от города Молибога по своим знаменитым часам-луковице прове-рял. Как же это вы «просто не сюда попали!».

— Подождите, одну минуту! Вы говорите, что Ряшков объяснял. И Ряшков лично объе-хал эти места на прошлой неделе. Роши кора-бельной, говорит, нет, а растительность густая, почвой просто не нахвалишься! Говорил?

— Говорил.

— И о реке говорил, что течет, и воздух от нее как на родине. Говорил?

— Да еще как говорил.

— Выходит, что врал?

— Выходит так.

— Одного не могу понять, это мне совершен-но не ясно: почему же тогда у Ряшкова глаза были такие чистые и правдивые?

— Старая привычка, многолетний закал, не-бось с детства перед зеркалом тренировался и врал при этом.

— Да ну? — воскликнул пораженный Моли-бога.

— Так, значит, он все это сделал! Ряшков всему виной, а?

— Зачем же только Ряшков, Елизавета Ан-дреевна! Вот выловим сейчас секретаря, пусть он хотя бы по памяти передаст последние про-

токолы. Кто о прогрессе говорил, людей интеллигентных из Главного Центра собирался привлекать — своих дескать нет!, — культурную работу на новом месте зарубежного переселения проворачивать?

— А кто из кожи вон лез, теплое местечко устроить себе при Главном Центре, поближе к доходным источникам?

— Да помилуй Бог! Не понимаю, что с вами случилось, Елизавета Андреевна, что вы с большой головы да на здоровую! А для чего, позвольте вас спросить, вы деньгами Дамского Кружка так легко распорядились? Неужели только ради прогресса?

— Да что вы, право, ко мне пристали! Лучше подумайте, как нам распутаться теперь.

— Распутаться, а? — воскликнул Райковский. — Теперь зачинщика взялись искать. Ряшков, мол, с дуру подбил, не могли устоять, пошли как мухи на мед!

— Не знаю, Ряшков или кто другой, а вот то, что высмеют нас, знаю, да еще как высмеют! Живого места не оставят!

— Вас это теперь больше беспокоит, что высмеют, а? Не понять мне вас, Елизавета Андреевна! Что важнее, что высмеют, или что деньги общественные, так сказать, того... Высмеют то высмеют, и вы правы, что живого места не оставят, а кто и отчета кое в чем потребует...

— Я вот что скажу вам на это, бросьте спорить кто и что! Постольку же поскольку это случилось и мы приехали на купленную нами общественную землю, давайте ка лучше используем случай и развернем легкий пикни-

чек, пока та компания, — показывая головой на Холодца, фон Мюллера и Плющина, — не закончила всех припасов.

— А, верно, что другое остается? Пикник, так пикник...

— Как, Ерофей Исаич?

— Я еще не так низко пал, чтобы на выжженной земле пикник устраивать! — ответил строгого Гроза. — А что Ряшков врал...

— Ряшков вовсе не врал, — таинственно, оглянувшись вокруг, сказал Могиленко таким голосом, что невольно все повернулись к нему.

— Как не врал? По вашему и лес был и почва подходящая, и река, и воздух, все это было?

— Лес и река и все остальное, все это было, — приглушенным голосом ответил Могиленко.

— Где же все это? Исчезло таинственно?

Могиленко еще раз осторожно обвел глазами вокруг себя, остро всматриваясь, нет ли кого нибудь за спинами планировщиков, и снизил голос до зловещего шепота. — Все это было, да накануне нашего приезда лионские братья смели. Работали день и ночь и даже больше.

— Да ну? — поразился Молибога. — День и ночь, а?

— По всему видно, работали полтора суток. Сперва все думали, с какого угла начать, а как решили, так насквозь и пропололи в чистую, все выровняли...

— Ну, это, знаете, уж совсем что то такое...

— Мало того, — продолжал Могиленко, — напакостили еще, траву бурью понасадили,

воду ржавую направили... Так подчистили, что не узнать...

— Подчистили, не подчистили, — заговорил подошедший Холодец, значительно навеселе и поэтому более словоохотливый, — важности не играет. Для станицы не имеет никакого значения, наши казачки народ непрятательный, пристроются и на ржавой земле. Для конного учения хорошо, пройтись, к примеру сказать, лавой с шашками наголо, одно удовольствие!

— То же самое можно сказать и о сёдых легионах, — вмешался фон Мюллер, присоединяясь к компании, и так же как Холодец навеселе, — они настолько закалены в боях и испытаниях, что маленькое неудобство, как ржавая вода и бурье пятна, их не смутит. Главное, как плацдарм...

— А ну вас всех, право, в болото, в эту самую ржавую воду! — с досадой проговорила председательница Воробей. — Один с лионскими братьями, другой со своей станицей, а третий с плацдармом! Выбрали же мы планировщиков, нечего сказать!

— Действительно, что то вы все того, — не утерпел не признаться и Ферапонтов. — Что же остается делать, пикник не состоится, да и та теплая компания успела растереть между собой все, что было в бутылках. Надо только секретаря выловить, а то он совсем разума лишился... Да и почтовед что то того, все землю мнет, пожалуй тоже в голову ударило...

— Так ударит! — сказал твердо Молибога, — как сказать еще, отойдешь или нет!

Каково же было изумление пытливого шоффера, когда через час с небольшим, подъезжая из за поворота к вывеске симпатичных братьев Смит, он еще издали на пустынном шоссе увидел группу людей, при виде его нетерпеливо замахавших руками. «Неужели это они», думал он, «никого другого не может быть! Так настойчиво спрашивали меня, когда последний автобус, и вот, нате, через час едут обратно!».

Пока размышлял шоффер, усаживая в свой автобус пассажиров, он не мог не заметить резкой перемены в их лицах. Не мог не заметить он, что и лица братьев Смит так же изменились в выражении глубочайшей симпатии и сознания совершившегося несчастья, придавившего еще недавно такую жизнерадостную группу людей.

— Они, — все думал шоффер, — подделки не может быть! Но что случилось с ними, что так резко изменило их за это короткое время, какое горе сокрушило их, уничтожив совершенно тот увлекательный пыл восторженности, что был у них за восемьдесят шесть миль пути!

Давно исчезли изображения бородатых братьев Смит, а шоффер, любящий задумываться, все пытался разгадать загадку таинственной группы людей. Что могло случиться с этими еще так недавно живыми, разговорчивыми, счастливыми людьми, так славно и светло, с такой любовью поглядывавших друг на друга! Солнцем их разморило? Не тот автобус взяли, напрасно проехали и попали по ошибке в эти унылые места? Что могло их так

пришибить и заметно состарить чуть ли не на четверть века сразу? Или — тут пытливого шоффера охватила жуткая мысль, — не случилось ли так, что он сам не заметил, разъезжая на этом перегоне каждый день, как прошло полжизни, и он сам состарился, только не мог заметить этого на самом себе, а заметил на своих пассажирах, которых он как то вез сюда давным давно в один из прекрасных весенних дней. И вот прошли бесследно эти годы, и по странной прихоти судьбы он опять везет их в той же повторившейся комбинации, т. е. таким же автобусом, столько, сколько вез полжизни назад, одетыми в такие же костюмы, только так жестоко поддавшимся давлению неумолимого времени! Нет, не может быть, говорил он себе, поспешно проводя рукой по лицу, чтобы убедиться, нет ли морщин старости. Нет. Он посмотрел внимательно на себя в зеркало, видя в нем вместе с собой и своих пассажиров. Его собственное лицо было таким, каким оно было, когда он подъезжал к вывеске братьев Смит, таким, каким он видел его утром, бреясь, не моложе, но и отнюдь не старше. Да и лица его пассажиров казалось не несли на себе уж очень большого бремени лет, кроме обычного, что полагалось людям, перевалившим за средний возраст. Но тут он вспомнил слова автобусного агента, человека опытного во многих отношениях, которого внезапно осенила мысль, что это были русские, попавшие по какому то странному движению своей непонятной души в эти места. Тогда шоффер задумался вообще о человеческой судьбе и о неисчислимых странностях, связанных с ней.

ных с нею, а особенно о душе, совсем уже странной и никем еще неразгаданной. И он так глубоко задумался над этим, чувствуя, что и его придавила необъяснимая тяжесть, что чуть не налетел на вылетевший из за угла грузовик. Внезапный толчок вывел из глубокого оцепенения пассажиров, они обвели вокруг головы, оглядывая с удивлением друг друга, словно не узнавая никого. Все они продолжали молчать — заговорили они много и возбужденно несколько позже, когда добрались домой!, но здесь, в автобусе, только один из них сказал с глубоким вздохом и немалой долей удивления:

— Что Ряшков не врал, так это то, что нет корабельной рощи... Там даже кобелю ноги не на что задрать!

## XV

### ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

— А, ну-те, ну-те, что вы тут все враз говорите, я что то никак не могу понять! А, ну-ка, вы, — обратился председатель к Ферапонтову, — начните вы сперва, вы tolковее всех расскажете!

Но голоса возбужденных людей, только что вернувшихся после своей неудачной поездки, продолжали подниматься выше в стремлении перекричать друг друга.

— Река, сказывал, и рыбы, не переловить! Еще врал, земля мыском выдается.

— Воздух, сказывал, чистое благоухание!

— Что не врал, то не врал, это надо сказать! Корабельной рощи, говорит, не ждите, чего нет, то нет! Там даже псу ноги не на что закинуть, хоть бы куст какой!

— А про почву как врал! Хоть на выбор, здесь одна, там другая, какая кому нравится, не нахвалишься!

— Для наших казачков подойдет, мы жаловаться не будем. А насчет посадки на землю ничего не скажешь, получился компот!

— Уж так просмеют, так разберут по ко-

сточкам, что лучше и не показывайся на люди. Ой, как просмеют, в столице особенно!

— Лучше бы тогда остановились на митиной обители, да на деревне с колодцем-журавлем, поговорили бы и оставили до следующей весны.

— А, ну-те, ну-те, поочереди, право, никак не понять, что такое со всеми вами случилось!

Пока председатель Пушкарев пытался добиться ответа от расстроенных членов правления, некоторые из них бросились в карточную комнату. То, что произошло там, долго служило оживленной темой подробного рассказа Молибоги, даже после того, как закончилась история с землей. В карточной комнате, нарушив бесцеремонно покой мирной компании, сосредоточившейся на девятке, они яростно насели на Ряшкова, перевернули стол с картами и костяшками и выволокли его за отвислые щеки, или как Молибога говорил, «за мяса». Рассказывал немало об этом и сам Ряшков, но по его версии выходило так, что он был премного рад, что его вызвали по срочному делу из карточной сразу же после неудачной прикупки шестерки к четверке, и ему пришлось бы потерять весьма крупный куш, что он поставил во-банк. — Если бы не эта замазка, — прибавлял он, — ни за что на свете не дал бы себя выволочь «за мяса».

Ряшков сразу стушевался перед грозно настроенным правлением, сдал тон, поднял руку для защиты, не на шутку опасаясь, что его прибьют. Сперва он прикинулся, что ничего не понимает, и сразу отрекся от всего, стал нещадно божиться, обещая даже покляться пе-

ред иконой своего небесного заступника, который никогда так не был нужен ему, как теперь. На него продолжали наседать, схватили за галстук, задрали вверх подбородок, и уже принялись мять ему бока, пока он, прикрываясь как мог и тяжело отдуваясь, повторял:

— Ситуация так сложилась, что надо искать выхода...

Подбодренный собственными словами, он вскоре оправился и уже другим тоном, даже с оттенком обиды, добавил:

— Не время и не место сводить личные счеты. Надо сперва выяснить, а потом...

— Выяснить, а? Ты про землю говорил, что одно заглядение, что лучше нет? Врал, что как водка, двух сортов...

— А про реку не врал?

— А как относительно леса, это что же, тоже не врал, а? А про растительность, не врал, а?

— Про лес, сказывал, что корабельной...

— Насчет рощи, пожалуй, верно, не врал! А про почву что рассказывал — какая хочешь, на выбор...

— А про пятое-десятое не врал?

— Повторяю, — прикрывался Ряшков руками, — не место и не время сводить личные счеты. Можете спрашивать и требовать сколько угодно, а какой толк!

— Какой толк, а?

— Представь себе, что никакого! — Несмотря на то, что Ряшков был расстроен и помят, он все же успел при этом свернуть верхнюю губу.

Неизвестно, чем кончилась бы пренеприятная для Ряшкова сцена, если бы в это время

в зал заседаний не влетел осатанелый секретарь. Он бросился на первый попавшийся стул, навалился на стол грудью, забил по нему яростно руками и в злорадном восхищении завопил:

— Выпустили таки прохвоста! Нет, только подумать, из самых рук! Так низко пасть, чтобы упустить такого первостатейного мошенника!

— Кого выпустили?

— Какого мошенника?

— Кто прохвост?

— Так опуститься! Выпустить из под самых, что называется...

— Кого же выпустили?

— Кто же мошенник?

— Нет, до того дойти, так низко пасть, чтобы такого гада выпустить! — вопил секретарь, поднимая голову, сверкая яростно очками и снова начиная стучать ладонями по столу.

— Да кто же гад?

— Кто гад, а? Вы спрашиваете, кто? Кто, как не борода!

— Я вам говорил! — воскликнул Ряшков, расталкивая от себя навалившихся на него членов правления, отряхиваясь и поправляя на себе галстук. — Я вам говорил, что не время и не место сводить счеты, когда такое происходит, что и не разберешься в нем! А кто же выпустил подлого гада? — строго спросил он, повернувшись к секретарю.

Какая неожиданная перемена! Только что Ряшков прикрывался руками, боясь, что его прибьют. Ему и галстук выпустили, и бока успели таки намять, и за отвислые щеки по-

таскали, и он, видя перед собой грозные лица, не знал, как ему открутиться. А через минуту, смотришь, оправился, надул опять щеки, да еще строго спрашивает: «а кто выпустил гада?»

— Да кто же этот мошенник, скажите вы мне ради Бога!

— Кто как не таинственный бородач!

— А что же он сделал?

— Нет, — вопил секретарь в осатанелом лиховании, — вы спросите меня, что этот прохвост только не сделал! Главное, бежал то как, как время выбрал, чуть бы позже, выловили бы гада!

— Будьте покойны, — сказал совсем оправившись Ряшков, — такой знает, когда ему бежать!

— Что делают! — не унимался секретарь. — Нет, что делают! Так опуститься, чтобы наи первейшего прохвоста и мошенника выпустить из рук! Поди, до всего успел добраться?

— Такому да не успеть! — сказал Псицин, строго похлопав глазами. — Не знаю, как до остальных, а до Похоронной Кассы так добрался, что все повычистил.

— Я говорил, предупреждал. — Поднял голос Ряшков над остальными голосами.

— Поди, этот гад успел добраться и до других, — вопил секретарь, беснуясь в восторженном злорадстве. — Как с кассой Общества, поди тоже, прохвост, успел пообчистить?

— Не знаю еще, — ответил казначей менее уверенно, чем опытный Псицын. — С сегодняшнего утра еще не подсчитывал. Но даю голову на отсечение, что успел приложить руку.

— Успел! — неистоввал секретарь. — Этому гаду да не успеть. Поди, до всего успел добраться! Такому прохвосту чистой пробы да не добраться до наживы!

— Постой, постой, — проревел громовым голосом старик Молибога, вставая и весь собираясь в морщины, нашаривая себя по карманам.

— Снял, а? — ликовал секретарь.

— Постой, постой, — продолжал Молибога, лихорадочно шаря себя по карманам. — Нет, вот они, при чепочке, — воскликнул он с облегчением, вытаскивая свои знаменитые часы-луковицу.

— Не добрался, а! — вопил секретарь, то поднимая голову, то опуская ее на стол, колотя по нему руками и яростно блестя стеклами очков. — Не успел, гад! Во время, старик, сам полез в карман, спугнул вора! А в Дамском Кружке, небось, хапнул все, что там было накоплено, а?

— Уж если до остальных добрался, — сказала председательница Воробей, поджимая губы, — так у доверчивых женщин чего же проще!

— А, ну-те, ну-те, я, право, ничего не пойму, с чего вы все беснуетесь. Расскажите мне толком ктонибудь, что же это такое, что случилось с вами.

Вот и председатель Пушкирев, человек опытный и не только в общественных делах! Не мог же он не знать, что произошло, прислушиваясь с равной мерой интереса к каждому. Видимо, на этот раз председатель считал, что лучше ничего не знать, что случилось с

похоронной кассой, со средствами Общества и Дамского Кружка, ничего не знать на всякий случай, а вдруг, на самом деле, такое, что и не расхлебать. Сами же они выложили на стол все, что было в этих кассах для взноса в счет покупки земли. Да и сам Молибога, в жертвенному подвиге, готов был пожертвовать свои часы для общего дела, да не мог отцепить их от цепочки, а, вернее, нарочно медлил, чтобы не расставаться с ними. Теперь же вышло так, что во всем виновен один таинственный старичек.

— Прежде чем взяться за мошенника и вора — это должно быть в следующем этапе, — сказал Ферапонтов, — следовало бы сперва спросить Ряшкова, что он такое накрутил насчет земли, что теперь не только Обществу, а Бог знает, кому не распутать.

— А расхваливал то как, — подхватил Молибога, успокоившись после проверки карманов, укладывая в них свои часы, — как врал! И река, мол, и лес тебе, а рыбы, просто закачаешься, хоть каждый день загинай пирог. А приехали, взглянули, так глазам поверить нельзя, тьфу! — и старик даже сплюнул с сердцем.

— Что с землей! — отрезал твердо Ряшков, — когда у нас такое в Обществе делается. О земле разговор после, надо не теряя времени заняться более существенным.

— Подожди, Ряшков, — прервал его Псипцын, — о земле, понятно само собой, ты нам отчет дашь в свое время. А ты сперва скажи о бороде, что ты о нем слышал?

— Зачем мне о нем слышать? — удивился

Ряшков. — Ведь я его хорошо раньше знал.

— Да ну? Поди и деньги ему одолживал?

— Такому не одолжишь, сам возьмет, — отрезал Ряшков, — ты что, старик, думаешь, я прост! А ведь я его на самом деле хорошо знал. Сперва, признаться, не узнал, сколько же лет прошло! А когда услышал, что он добирался до часов Молибоги и уже отстегивал их от цепочки, мне сразу же и открылось, кто на самом деле эта борода. Почему я ничего и не мог сказать вам о земле, так как был занят им, все припоминал, кто он, этот мошенник. Думал, приглядывался, и сразу вспомнил: он и есть, не может быть никакой ошибки! Был у нас такой знаменитый варшавско-лодзинский плут и мошенник самой что ни на есть наихистейшей пробы, хорошо известный полиции обеих столиц под кличкой Раульточены-ляшки. Красавец с законченным университетским образованием, лоск, порода, ну!, любого проведет. А как я знаю его: было у нас в городе невероятно ловкое мошенничество, у супруги губернатора на балу сняли все украшения и даже ключик отстегнули махонькой прямо с грудного, извините, раздвоения, с этих, что называется... Мало, что вор снял, а с этим ключиком добрался до внутренних покоев, и там, за портретом губернатора, нашупал потайный ящичек, открыл его и прихватил в мешочек все остальные драгоценности стоимостью на двести пятьдесят тысяч, по тем временам огромные деньги! И представьте себе, вернулся в танцевальный зал, по дороге еще в буфете шампанского осушил бокала два-три, закусил, заправился, вернулся в зал и

опять к губернаторше, и не поверите, во время светского разговора одел незаметно махонький ключик и еще ногтем мизинца поправил, чтобы попал в самый грудной желобок. Когда схватились, кража, да еще какая, да где! — у самого губернатора, под самым носом полиции! Понятно, тревога, полиция, жандармерия, сыщики со всего мира, не какая нибудь там жена акцизного чинодралы, а супруга губернатора! Стали ломать головы, кто мог бы провести такое тонкое мошенничество, и додумались, что на всю Россию только и был один этот широко-известный лодзинский плут, один распронаединственный Рауль-точены-ляшки! Немедленно распоряжение послать самых опытных людей во все стороны и во что бы то ни стало выловить мошенника. Сам полицмейстер выехал на санках. И случилось так, что после нескольких дней поиска на чугунном мосту встречаются оба, полицмейстер и мошенник, а он в замшевых перчатках, шуба на енотах, гетры, вид выхоленый, это он теперь так сдал, а тогда такой был орел-Вася, что любо смотреть! Встретились, еще издали узнали друг друга, полицмейстер вываливается из санок, отстегивает кобуру, хватается за оружие, чтобы произвести немедленный арест, а только оно у него или застяло, или что, а уж больше с того дня он никогда не брался за него! А Рауль-точены-ляшки чуть приподнял локоть и из рукава на резиновом шнуре в самую его руку и выпал бульдог бельгийского завода Лефош. Он из него, не целясь, бахнул в упор и ссадил с ног всеми любимого полицмейстера Баранова. Тот падает, простой буль-

дог, а боя смертоносного, Рауль бросается бежать, погоня, стрельба со всех сторон, дворники под его ноги кидаются. Ухватились было за его еноты, а Рауль расправил плечи, сбросил шубу и уже бежит в одной визитке. А как поймали — гетрами за что то зацепился, упал, тут на него навалились, скрутили мошеннику руки и поволокли в участок. Судили, на громкий процесс съехались чуть ли не со всего света, присудили, не помню вот за что, за драгоценности ли губернаторши или за незабываемого никем Баранова. Но только припаяли ему пожизненную, а потом по высочайшей амнистии скостили что то...

— Если он известный варшавско-лодзинский плут Рауль-точены-ляшки, такой опасный жулик, то почему ты, Ряшков, ничего не сказал, не предупредил никого, чтобы были с ним осторожны и не сводили с мошенника, так сказать, глаз. Скажи, почему?

— Почему не сказал? — удивился Ряшков.  
— Во первых, ты говоришь, опасный жулик. Был, да, а теперь нет, обмельчал так, что подбирался к старику Молибоге последние часы с цепочки снять! Это раз. Во вторых, сколько же лет прошло, человек насиделся в тюрьме, пережил, перестрадал, можно было надеяться, что исправился наконец, бросил воровство и зажил примерной жизнью. А в третьих, вы сами бы не поверили, если я даже и предупредил бы вас. Не успел он появиться, как его сразу же кооптировали, помещение наверху отвели бесплатно, готовы были от радости немедленно в правление провести. Не так ли? Представьте, именно так.

Что можно было возразить на это? Все правда, кооптировали, помещение отвели, не могли нахвалиться, что таинственный стариочек такой толковый, молчит, а сделает больше, чем разговорчивый. И ведь на самом деле вышло, что за несколько дней он успел сделать так много, что одержимый секретарь до сих пор не мог наговориться об этом, все хлопал по столу ладонями, и приговаривал: «нет, так опуститься, чтобы такого выпустить из рук!». После слов Ряшкова невольно задумались и даже припомнили, что накануне прибытия таинственного стариочка особенно прескверно играл на волынке шотландец, нагоняя невероятную тоску, словно предупреждая их, что лучше не связываться с приезжим гостем; а отец Павел жаловался, что у него в ту ночь как никогда разыгрались сухие мозоли. Вспомнили, что вскоре после прибытия таинственного гостя они пытались выведать о нем от Чижикова, и что тот на прямой вопрос, не из Центра ли стариочек, весь как то замялся, закрутился, не сказав ни да, ни нет, что было достаточно, чтобы решить, что он именно оттуда. Вспомнили также, что у стойки Коли Усова Чижиков говорил о том, что он только первый закоперщик, и что за ним следуют другие, выше его и значительнее. Подумали и о том, что Чижиков мог и не знать, кто следовал за ним. Некоторые готовы были опять побожиться, что они видели, как при встрече Чижикова и таинственного стариочка они обменялись условными знаками. Какими точно, мнения расходились. Одни считали, что они только пожали друг другу руки особым обра-

зом, другие же утверждали, что рук они не пожимали, а успели обменяться оригинальными движениями пальцев в воздухе, но не так, как делал Ряшков после первой рюмки, шевеля пальцами в воздухе, а совершенно иначе, но что могло означать следующее: «С приездом. Я уже здесь болтаюсь давно. Жду дальнейших инструкций». А на это таинственный старичек якобы ответил: «Ну, и слава Богу. Пора раскачивать работу».

Выслушав хотя и бессвязный рассказ, председатель Пушкарев только теперь понял, что произошло и что заставило его глубоко задуматься. Не может быть, тревожил он себя, что между ними была какая то связь, если один из них оказался мошенником. Такой симпатичный человек Аполлон Александрович, такой заботливый, внимательный, так много сделавший с его производством, нет, не может быть никакой связи между ними!

— Конечно, могло это быть совершенно случайно, откуда Чижиков мог знать, кто едет...

— Совершенно верно, — живо подхватил Пушкарев, немало обрадовавшись этой мысли, — случайно, случайно, иначе и не может быть! И я, как ваш председатель, запрещаю проводить какую бы то ни было связь между ними.

— А не наблюдалось ли за мошенником-богодой вот этой слабости? — спросил Псицын, нарушив долгое молчание, наступившее после слов председателя, указав значительно головой на Митю Плющина.

Ряшков внимательно посмотрел на Плющи-

на, словно видя его впервые и только теперь принявшихся изучать его.

— Еще как наблюдалось! Такой мухобой и спиртоглот, только держись! — и Ряшков покачал головой в знак горького сожаления о человеческих слабостях.

— Небось, и насчет их брата тоже дока? — спросил словно с сожалением Головков, делая такое же движение головой в сторону председательницы Дамского Кружка.

Ряшков после краткого размышления и здесь с готовностью согласился, что борода был дока насчет женского пола. Все невольно вздохнули и задумались, каждому стало как то не по себе ни то от сожаления, ни то просто от грусти. Тут же вспомнили, как таинственный стариочек в первый же вечер заглянул в альбом с фотографиями купальщиц, сразу же заинтересовался ими и заметил загадочно: «есть чем наполнить руку усталого путника». При воспоминании об этом беспокойный секретарь принес с чердака альбомы, чтобы проверить истину его слов, и даже скептик Райковский, после внимательного изучения фотографий, сказал со вздохом: «действительно, есть чем наполнить!». И каждый невольно вспомнил, вздохнув вместе с Райковским, о том беззаботном времени, когда общественные собрания еще не носили стихийного характера.

— Действительно, дока, до всего дошел, ничего не скажешь!, — заметил кто то за всех и опять все вздохнули, задумавшись о многих вещах, которыми заполнена жизнь человека.

Так и закончился бы разговор о человечес-

ких слабостях, и члены правления по своей занятости и озабоченности забыли бы, за какие дела они выволокли из карточной комнаты Ряшкова, как забыли бы и красочный, но мало правдивый рассказ о Рауле-точеных-ляшках, если бы Псицын не вытащил из жилетного карманчика щеточку для усов в замшевом чехольчике, что всегда означало, что он был готов сказать что то веское. Псицын отстегнул застежку, вытащил щеточку и, скосив глаз, провел деловито по усам. Покончив с этой операцией и пофыркав немного, он повел носом, застегнул чехольчик и сунул его в карман. Он обвел еще раз строгими глазами всех и похлопал несколько раз веками. Приготовившись таким образом, он обратился к Ряшкову:

— А не был ли борода-мошенник в армии, и если был, не добирался ли прохвост до хозяйственной части. А короче всего, не был ли он интендантом?

— Интендантом? — спросил председатель, перекладывая голову с плеча на плечо и поглядывая с интересом на Псицына. — Сами пострадали от них или просто так?

— Нет, не пострадал, а мог бы! У меня это издавна, если в человеке сомнение, обязательно хочу выяснить, не был ли он интендантом.

— Х-м, как оригинально! — заметил глубокомысленно председатель, приготовляясь выслушать ответ Ряшкова.

Подумав с минуту и посмотрев на потолок, Ряшков твердо ответил, что нет, интендантом борода никогда не был. Подавал прошение о переводе, это он помнит, но в таковом ему было отказано с резолюцией «отнюдь не допус-

кать к деньгам и запасам продовольствия». Правда, шесть месяцев спустя, благодаря связям и пятому-десятому — тут Ряшков сделал движение, поясняющее достаточно, что нужно под ним понимать — борода выхлопотал доступ к интендантству, как военный чиновник, заведующий хозяйством. А это — здесь Ряшков передохнул и повторил движение рукой, потерев указательный и средний пальцы о большой — даже отцы пресвятители знают, что почти одно и то же.

— Военный чиновник, а? — оживился Пушкин, — и фамилия известна?

— Как же, военный чиновник Казнолюб.

— Ишь, ведь, какой Ряшков, — подумал каждый, ни то с любопытством, ни то с завистью, — все знает и обо всем врет, не мигнув. То был Рауль-точены-ляшки и стрелял из бульдога в любимого всеми полицмейстера Баранова, судился, настрадался в тюрьме, а то вдруг стал военным чиновником в его полку и подбирался к интендантству. Если бы не общественная нагрузка, можно было бы все проверить. А вот еще куда метнул — знают даже отцы пресвятые! Как таких проверишь!

— А не был ли он того, — начал осторожно Могиленко, опасливо втягивая в себя голову и оглядываясь вокруг, — одним из лионских братьев и розенкрейцером?

Ряшков быстро повернулся в сторону Могиленко и особенно раздельно и веско заметил, что если борода не имел бы тесной связи с лионскими братьями, то как можно объяснить ряд таких вещей, как например то, что он в короткое время влез в доверие опытных лю-

дей, успел подобрать ключи и отмычки к дежным ящикам Общества, похоронной кассы и Дамского Кружка, и чуть ли не оставил по своему нахальству записки с подписью Рауль.

Но здесь все решили, что Ряшков уж так за-врался, что сколько ни слушай, все равно не поймешь, ни до чего не доберешься, кто, в действительности, был таинственный старичек, кто Рауль-точены-ляшки, кто военный чиновник Казнолюб, кто всезнающие пресвятители, а кто и лионский брат с хорошо подобранный коллекцией отмычек. От него отошли все за исключением председателя, который сел против него, уперев руки в круглые колени и поддавшись вперед корпусом, но и тот, послушав немного, махнул рукой и пересел на другое место.

— Для меня, как скептика, вопрос в совершенно другой плоскости, — заметил Райковский, — просто втерся в доверие, взяли и выбрали его себе на больную голову.

Сидевший до этого молча Молибога, только собиравший глубокие колдобины на лбу, что будь они не у него на лбу, а на земле, так даже ряшковскому восьми-цилиндовому «кобеляку» не выбраться бы из них, пошевелил ими сразу вместе и сказал глубокомысленно:

— Дураки были, вот и выбрали!

— Вы всегда что нибудь скажете по своей простоте, а то и глупости! — обиделась председательница Воробей. — Чуть что, сейчас же за брань! Лучше бы помалкивали... Дураки!, или бы о себе говорили... Человек показался таким образованным, не чета многим здесь, прогрессивный...

— Прогрессивный! Ишь, ты, матушка, чего захотела — прогрессу! Прогрессу! — Молибога весь изогнулся, вкладывая в слово старую обиду. — Вот так тоже, в семнадцатом году, ваш брат прогрессу захотел, а они так шибанули, что когда взялись бежать, так даже польта не успели захватить!

— Польта, — презрительно протянула Воробей.

— Подождите, при чем тут прогресс и чьи то пальто! — воскликнул председатель Пушкирев. — Надо разобраться в том, что произошло теперь, а не то, что было в семнадцатом году! Может быть у господ членов правления есть какие либо существенные предпосылки и догадки?

— О чем я начинаю думать, — раздался робкий голос, — не был ли этот, так сказать, борода или кто он на самом деле есть, подосланым агентом?

Ряшков собирался открыть рот, но его опередил фон Мюллер, который, казалось, только и ждал этого вопроса. Он стремительно вскочил, отбросил стул, замахал возбужденно руками, снимая и снова оседлавая розовую переносицу пенсне, поводя носом, словно собираясь похрюкать от удовольствия, и заспешил заверить, что таинственный старик безусловно подосланный агент, и не простой, который работает по десятке с головы, а по особо важным делам, и что не может быть никаких сомнений, что подослан он с разрушительными целями, а то, что он успел добраться до средств Общества, было сделано исключительно ради отвода глаз, но что главная его задача

была совершить серьезное дело, какое никто еще не знает, но если оно не убийство, то во всяком случае похищение.

Его перебило несколько не менее возбужденных голосов. Совершенно случайно в комнате оказались балалаечники, увязавшиеся за Колей Усовым, поднявшимся проводать, почему члены правления так долго не спускаются вниз закусить и выпить после своей поездки. Все приняли самое горячее участие в обсуждении таинственного исчезновения.

Один из балалаечников, подхватив слова о подосланном агенте и узнав, что это относилось к таинственному старичку, стал божиться, что у того борода была приставная, почему он и держал все время под ней руки, чтобы никто не сорвал ее. Другой возразил ему в ответ, что в наше время трудно ходить с приставной бородой, а если кто и ходит, то это обязательно самый отъявленный мошенник и, кроме того, человек особой выдержки. Подхватив разговор двух балалаечников о приставной бороде, Коля Усов пытался сказать об этом Мюллеру, но того никак нельзя было перебить и сдвинуть с позиции. Он несся вперед, как закусившая удила лошадь, рассыпая вокруг себя, как из пульверизатора, фонтан слюны, вспоминая наспех случаи известных похищений, примешав сюда за одно и обычай кровавой мести, сицилийскую Черную Мафию, нашумевший в свое время случай похищения в Персии, и уж так закрутился и запутался, что даже терпеливо слушавший его председатель только тряс головой, приговаривая, — «а,

ну-те, остановите его кто нибудь. Лучше уж Ряшкова слушать!»

Растеряв своих слушателей, Ряшков сам чутко, с глубоким вниманием прислушивался то к одному, то к другому. Только на момент, когда до его слуха дошел разговор балалаечников о приставной бороде, он решительно замахал рукой и твердо сказал, что у таинственного старика борода своя, настоящая, в чем он так уверен, что готов поставить все, что угодно, на пари. Сделав это дельное замечание, Ряшков опять повернулся к Мюллеру, и с еще большим интересом стал слушать его.

Молибога все порывался вставить слово, и когда, наконец, фон Мюллер запутался в неудержимом потоке слов и, брюзжа слюной, только повторял «так сказать», успел спросить:

— А кого же они похищать то хотели?

— Как кого? — воскликнул полный неподдельного удивления Ряшков, — а нашего председателя.

Ответ Ряшкова произвел такое ошеломляющее впечатление, что побледнел не только Пушкирев, но и каждый, кто был в комнате. Все внезапно застыло и, казалось, даже фонтан фон-мюллеровской слюны закристализировался в воздухе. Выпалив неожиданный ответ, Ряшков испугался сам, что даже онемел на некоторое время. Холодец только что собирался откашляться и так и остался с занесенной рукой, забыв о кашле. Но оцепенение продолжалось недолго, и так же внезапно прорвалось еще большим потоком восклицаний, споров, криков.

Единственno, кто оставался совершенно безучастным во время этой сумбурной сцены, был Корявко. Он полулежал в своей обычной позе, уставившись неживыми белками в потолок, весь мертвенно синий, и все ему неотвязчиво мерещилось, как Чижиков ловко, почти не шевеля пальцами, прошелся для счета взад и вперед по толстой пачке денег...

Неизвестно, чем окончилась бы история с таинственным исчезновением, если бы секретарь, кинувшись опять на чердак забросить альбомы с фотографиями, не заглянул бы в комнату, которую занимал их неожиданный гость.

— Сейчас мы досконально расшифруем прохвоста, — крикнул он, показывая на толстонабитый портфель и радостно сверкая стеклами очков. — Сейчас мы выведем прохвоста на чистую воду!

— Портфель нашли?!

— Так быстро бежал, даже не успел прихватить его!

— А как оберегал то, как прижимал, все боялся, а вдруг кто тронет его!

— Боялся, боялся, а когда бежать, так не бось, бросил его!

— Когда надо шкуру спасать, так не до портфеля! И не то оставишь, когда станет жарко!

— Ишь, какой толстый! А вдруг набит ворованными деньгами?

— Все может быть! Столько прихватил, что

в карманах не увезешь, поди, остальные сунул в портфель.

— А что еще?

— Оружие, отмычки, огнестрельное оружие. Поди, даже динамит для взрыва несгораемых шкафов.

— Да-ну?

— А вот вскроем, увидишь свое да-ну!

— Господа, господа! — заговорил поспешно председатель. — На самом деле, может быть, там того... Поосторожнее. Отступите, так чтобы всем было видно. Сейчас мы его вскроем. Может быть, на самом деле что нибудь опасное. А может и деньги есть! Кто у нас, господа, пиротехники и вообще знакомые со взрывчатыми веществами, и кто приемщики?

Оказалось, что не так было много пиротехников, как приемщиков. Со словами: «эх, все равно гибнуть только раз!», Ряшков положил портфель на стол и отстегнул покрышку. Он залез рукой внутрь и осторожно вытащил два завернутых в бумагу свертка, один из которых был основательно промаслен. В одном оказался ржаной хлеб, в другом, вместе с узким истощенным ножом, кусок охотничьей колбасы, которую Ряшков с интересом понюхал и даже готов был попробовать на крепких зубах. Затем он полез еще раз в портфель и вытащил большой сверток бумаги. Разочарованные первой находкой, члены правления придвинулись ближе, наблюдая, как Ряшков осторожно пробовал пальцами пакет.

— Поди деньги! — заметил один.

— Если деньги, то основательно, ишь, какой толстый!

— Открывай, Ряшков, не тяни!  
— Господа, кто приемщики, вперед!  
— Постойте, — заметил Ряшков, продолжая ощупывать пакет, — если бы деньги...  
— Х-м! — воскликнули все хором, увидя на столе развернутую стопу бумаги. — Вот тебе и деньги!

Ряшков взял стопу в руки, перевернул первый лист и прочел:

#### ЧТО ЕСТЬ ПЧЕЛА

она же медуница, а у пчеловодов муха

Записки пчеловода-любителя

Иоакима Ильича Богородько

Перво на перво из народной мудрости:

Сидит девица в темной темнице, вяжет узор, ни петлей, ни узлом.

Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена, детей водит, людей питает, дары Богу приносит.

Летит птица крутоносенькая, несет тафту круто-желтенькую; еще та тафта ко Христу годна.

Летит птичка гололек через Божий теремок, сама себе говорит: моя сила горит!

Приметы:

На Зосиму 17 апреля расставляй улья, на Савватия 27 сентября или на юге на Ефимия 15 октября убирай улья во мшеник.

Ряшков перелистнул еще несколько страниц:

Наблюдения:

Пчела тужит, рой тревожно мечется. Особенно жужжит — ищет матку. Пчела ревет, жужжит иначе, понимай: догадалась, что матка вышла трутневая. Матка поет — собирается бить соперницу...

Ряшков перелистал еще несколько страниц, пробегая по запискам пчеловода-любителя, затем откинул рукопись.

— Богородъко, Иоаким Ильич, — задумался он, — что то мне знакомо это имя. Откуда я его помню?

Он перелистнул еще несколько страниц и прочел:

Наблюдения над собой: в последнее время замечается заскок памяти. Как с этим бороться? Молчанием и сосредоточенностью, чтобы в голове одно зашло за другое для возвращения памяти.

— Борода-пасечник изучает не только пчел, но и себя!

— Теперь для меня все понятно! — воскликнул Ферапонтов. — Ясно, как Божий день. То, что борода — пасечник, не подлежит никакому сомнению, это видно из его толковых записок. Как попал он к нам, теперь можно догадаться: приехал в город и от шума отшибло память, языка не знает, и по признаку бороды его и привезли в первое попавшееся русское место. Оказалось наше. Проходит несколько дней, память все еще отшиблена. И вдруг на собрании Максим Максимович говорит: «Будут пчелы, будет и мед!» Борода настораживает уши и вдруг вспоминает: Господи ты Боже мой, пчел то я забыл, ночи холодные, а вдруг переморозил всех! С этой жуткой мыслью он и кидается к двери, забыв все на свете, даже заветный портфель с ржаным хлебом и колбасой...

— Богородъко, Иоаким Ильич, — насиливал свою память Ряшков.

— Вот тебе и Рауль-точены-ляшки! Вот тебе и военный чиновник Казнолюб!

— Вот вам и история с похищением общественных денег!

— А как было бы хорошо, — заметил глубокомысленно казначей, — если на самом деле бы так!

— Куда же лучше!

— Да, лучше некуда: пригрели прохвоста на общественной груди, а он в благодарность и запустил руки по локоть в средства!

— На самом деле жаль, что ничего не вышло, совпало бы лучшим образом!

— Что же теперь нам делать?

— Вот именно — что?

— Так он оказался вовсе не прохвост, а пасечник! А имя какое: Богородъко, Иоаким, совсем из святцев!

— Интересно, что теперь скажет нам Ряшков. Поди, ничего, а?

— А представьте себе, скажу.

— А, ну-те!

— Ситуация сложилась невыгодно для всех. Надо срочно искать выхода.

## XVI

### ПОСАДКА ПОД ИКОНАМИ

— Лучше было бы, как я тогда настаивал, заняться только родными могилками и ни на что другое не бросаться! — повторял чуть ли не со слезами в голосе председатель Пушкирев. — Надо во что бы то ни стало найти выход, пересмотреть вопрос в самом срочном порядке и решить, что же нам делать! Мне, как вашему председателю, совершенно незачем говорить вам, в какое пиковое положение мы попали. Что скажет Главный Центр, если до него дойдут наши неприятные новости! Ну, скажут, и надежные же у вас люди, хорошая группа, к которой мы так давно приглядывались и для которой наметили такую ответственную работу! А что же у них вышло из этой работы? Провал! Каковы люди, скажут, таков и председатель!..

— Верно, скажут, не председатель, а культиста! — подтвердил в глубоком раздумье Молибога.

— Так то, положим, не скажут, это, знаете, если каждый начнет здесь всякое брякать! — сорвался с места секретарь.

— Это, может, и не скажут, а про себя подумают! — наставительно добавил Молибога, — а это еще хуже!

— Не в этом теперь дело, как и что скажут! Нам срочно надо найти выход. Вы, господа мужчины, не так об этом думаете, как о том, кто и что про вас скажет!

Наступила тишина, во время которой пристыженные члены правления могли пораздумывать глубже над создавшимся положением.

— Что я хочу предложить вам, господа, — заговорил председатель, обводя глазами собравшихся, — это дать высказаться каждому в отдельности от себя или от представляемого им сословия по существу и, так сказать, в общем, и указать на имеющийся у каждого в уме выход. Прошу.

— А сказать вот что, — начал Холодец, но его сразу охватил такой затяжной кашель, словно никогда до этой важной и по своему торжественной минуты ему не удавалось хорошо откашляться и он решил, не откладывая больше, сделать это теперь. Кто то хотел прервать его, но председатель сделал предостерегающее движение: если человек так долго кашляет, значит у него есть что сказать дельного.

— А сказать вот что, — проговорил с трудом Холодец, вытирая в одно и то же время усы и мокрые от слез глаза, — сказать, повторяю, вот что: так и так, ваши высокопревосходительства, произошла, так сказать, заминка от общественного пыла и рвения. Хотели послужить честь честью, а получился...

— Так, так, совершенно верно, — заспешил

председатель, — начало хорошее, так и нужно: ваши, мол, высокопревосходительства, подвергаем себя к вашим стопам с самоотверженностью и смирением, готовые служить и дальше честью... А что же сказать дальше? Как закончить?

— А сказать просто: компот получился!

— Начали так хорошо, что можно было ждать толкового конца, а закончили несерьезно. Какое же это объяснение!

— Сказать вот что, — конфузливо поднялся из задних рядов Плющин, — может быть это подойдет: дескать, шли из банка с деньгами...

— Постойте, — поспешил перебить его председатель, — вы как это оформляете: для Главного Центра... или, даже сказать как то неловко...

— А что неловко! — подхватила председательница Дамского Кружка, — деньги то общественные, там и от нас, из Похоронной Кассы, да из капиталов Общества. Чего же неловко!

— Я бы так предложил! — вставил твердо Ферапонтов, оглядывая всех, — чтобы было ясно и понятно. Перед Главным Центром одно, — он отогнул упорно упирающийся палец. — Перед их высокопревосходительствами и прочими высокими особами высших сфер ответ в том, что не так потрафили, не то получилось, что ожидали, но все от того, как было указано предыдущим оратором, от служебного рвения и общественного старания. За это голову не снимут, а даже могут сказать, ну, что же, произошла заминка, с каждым это бывает, но, главное, и в будущем старайтесь, не покладая

рук. На это, понятно, хором, рады стараться, и все...

— Совершенно верно, рады стараться и в будущем, — воскликнул председатель, — общественное рвение и пыл! А что маленько смазали, то начальство милостивое, учитет и как то даже... Хотя спросят, а где был ваш председатель, почему твердой рукой не навел на правильную дорогу? — и сомнение опять вкрадось у Пушкирева.

— ...я еще не закончил своего слова, а второе, это отсчитаться как то, каким то образом, хотя бы частично, в общественных средствах перед нашим собственным Обществом. Вот только как это сделать!?

Ферапонтов обвел глазами всех. Оглядел собравшихся и председатель, но ничто не двинулось, кроме быстро махавшей руки секретаря над косыми листами протокола.

— Я тоже не успел закончить, — опять поднялся Плющин, конфузясь еще больше, и так же обводя глазами всех, словно ожидая от них ответа, а не собираясь сказать им. — А заявить так: взяли деньги из банка, понесли и обронили в толпе...

— Выпивши были, что ли? — строго спросил Псицын.

— Маленько были под мухой, не без этого, — махнул рукой Плющин, не зная, продолжать ли ему стоять или сесть.

— Ну, хорошо, — сказал устало председатель, кладя голову то на одно плечо, то на другое, но без обычной приятности, — взяли из банка. А на что? На какие такие насущные дела и цели? А где на это подпись председа-

теля? А как же это вышло, что несли и обронили?

— Так не подойдет? — спросил совсем смущенный Плющин. — Извините, как умел, так и сказал.

— Нет, нет, — сорвался неожиданно с места фон Мюллер, — обязательно с банком, но совсем не так — шли и обронили! Иначе! Экспроприация на артельщика! — Он выскочил на середину комнаты, присел, жмурясь, пофыркивая носом, тревожа свое пенснэ и раздувая вокруг себя фонтан мелкой слюны, — самая настоящая экспроприация на зарубежного артельщика. Только что вышел из банка, в руках портфель, но не как у Богородько, а набит тысячными ассигнациями, да еще бумажник в боковом кармане пиджака с мелкими билетами по сотне и ниже, — он похлопал себя рукой по груди, словно желая проверить, на том ли месте у артельщика был бумажник с мелочью. — В это время наперерез два черкеса или сицилийца, темные с лица, такие жгучие, что не только встретиться, да еще с общественными деньгами, а вообще даже представить, и то довольно! Это сейчас же сообразил артельщик, догадался, что охотятся за ним, поди с утра ждали! Ну, дело ясное, наш артельщик не в первый раз в переплете! Черкесы ему наперерез, он только успел оглянуться, прикрывается боком за телеграфный столб, левой рукой крепче цепляется за портфель с общественной монетой, а правой вырывает из кобуры наган, наводит на мушку и ссадит одного из них по щиколотке. Пуля рикошетирует и рассаживает над артельщиком стекло.

Он думает, что их уже трое, хочет повернуться, чтобы ссадить и того, все это понятно в секунду, даже в дробь секунды, а видит второй в это время чиркает спичку и подносит ее к бикфортову шнуре, а на конце его с полфунта, а то и больше, взрывчатого... Видит наш артельщик, труба, выхода нет, гибнуть с общественными деньгами или без них, но все равно гибнуть! А жить бедняге хочется, ста-рик, песок давно сыпется, но еще бодрится, еще много обещает сделать! С другой же стороны, нет выхода, лучше кинуть портфель на тлеющий шнур вместе с тысячемонетными бумажками... А тут так наседают, как оголтелые, даже тот, с простреленной щиколоткой, все норовит беднягу-артельщика на мушку поймать и прихлопнуть...

— Постойте, постойте, — остановил его председатель. — Артельщик то кто?

— Кто деньги то вез? — надсаженно вопил секретарь.

— Для меня тоже не ясно, кто артельщик?

— Известно кто: Ерофей Исаич Гроза.

Все замолчали и повернулись к Грозе.

— Ну, знаете, — произнес тот особенно медленно и зловеще, — за это обязательно надо отдать под суд... За одни только слова...

Все опять помолчали, переглядываясь друг с другом.

— Нет, не то, — вздохнул председатель, печально покачав головой, словно на самом деле жалея, что не произошло экспроприации с Грозой. — Нет, не то...

— Во первых неясность та, — заметил Ферапонтов, — что почему общественные деньги

несли из банка. Почему, первым делом спросят, такие самовольные поступки!

— Совершенно верно! — горячо отозвался председатель. — Почему вынули общественные средства из банка? Почему, спросят, обошли своего председателя? Даже не спросили его лично? Оставили в полном неведении? Нет, не то, надо найти выход, но только по проще и по естественнее...

— Я говорю, ваше превосходительство, — начал Холодец приготавливаясь закинуть голову назад и поднося руку ко рту, — проще не придумать!

— А, ну-те?

— Сказать, компот получился.

— Х-м! — кашлянул деликатно председатель, — маловато как то. Эдак, знаете, того...

— Отставить компот! — завопил секретарь, сверкая яростно стеклами очков. — Если с компота начинать, так можно Бог знает до чего договориться! Тогда надо Коля Усова и всю его кухонную прислугу кооптировать...

Председатель медленно обвел ряд лиц, выисматривая, кто мог бы высказаться.

— Ну, кто еще? Как представитель нашего именитого купечества, небось у него всегда находились ответы, когда отчество бывало в опасности. Что вы можете предложить нам?

— Если, как вы говорите, попроще... Гак, полагаю сказать, способ проверенный: были, мол, деньги, капитал крупный водился, но...

— Что же но?

— Шансонетка оказалась не по карману. Так, полагаю, и сказать.

— Х-м! — опять неуверенно протянул пред-

седатель. — Как бы того... Ведь не с вас спросят, а с вашего председателя. Насчет шансонетки, а? Оригинально, конечно... Но все же, положение, годы, да теперь еще генеральский чин! Нет, жаль, не подойдет.

Председатель обвел пытливым взором собравшихся, переходя с одного лица на другое в тщетном ожидании разумного предложения, как выйти из запутанного положения. Когда разговор был о колодце-журавле, да древонасаждении, так нельзя было остановить, у каждого свой собственный план, один лучше другого, и десятки вариантов к планам других. Тогда и речь у каждого лилась плавным потоком, руки делали выразительные движения, и «так сказать» было щедро расставлено по местам, одним словом, все получалось само по себе, без всякого усилия, ровно, плавно, свободно. Теперь же, когда отчество в опасности, пожар на складе, а имущество не застраховано, все словно в рот воды набрали и молчат. Замолчишь, говорили их лица в ответ на пытливый взгляд председателя, когда попадешь в такой переплет!

— А как же с этим бородой, что сбежал с собрания, еще был разговор, что запустил руку не только себе под бороду, но и в общественную кассу?

— Это Иоаким Богородъко?

— Отставить бороду, — замахал руками секретарь. — Борода — пасечник, а это все равно, что отцы пустынники и жены непорочны! С бородой, к сожалению, ничего не вышло. Надо спешно искать других путей для выхода из создавшегося положения.

— К сожалению, так! — согласился печально председатель, — этого человека надо исключить. А так, вначале, хорошо все получалось.

— Куда же лучше! — отзвались другие. — Появился, пригрели, как родного, побыл, прихватил, что мог, и смотался. Подходил как раз впору!

Наступила опять длительная пауза, пока председатель тревожно оглядывал одного за другим.

— Так, значит, и нет никаких предложений насчет выхода, а? Посмотрел бы на нас сейчас Главный Центр, полюбовался бы, сказали бы тогда высшие сферы, что они приглядываются к такой группе! Хорошо, сказали бы, правление, а еще лучше — председатель, который не может по настоящему руководить зарубежным обществом. Сместить такого, а все правление переизбрать на первых же выборах.

Фон Мюллер вскочил опять, но председатель остановил его рукой, сказав, что если предложение сводится к экспроприации или чему либо подобному, то лучше воздержаться и не тратить времени по пустому, чтобы в данную минуту общего замешательства и неподготовленности не сорвать тяжести момента.

— А ежели объяснить это научным образом?  
— предложил член правления-почтовед.

— А ну-те, может быть вы скажете что нибудь дельное!

— Объяснить по метереологии...  
— Какая интересная мысль!  
— А именно?  
— Пришла весна, да еще выдалась в этом

году такая ядреная, все правление вошло в раж, а тут еще весенняя погода дошла до наивысшего градуса, ну, и не совладели... Старые увлечения открылись, стало всем невмоготу, ну, и просчитались с расчетом!

— По научному все верно: и старые увлечения, как старые раны, и градус наивысший, то и другое, все это, понятно, так. Но примут ли такое объяснение? Даже научное! Вот в чем дело, ведь!

— Тяжесть момента в том, что отчет то мы должны дать не только перед Главным Центром, но и перед своим собственным Обществом и членами Похоронной Кассы. Мне кажется, что вы, господа мужчины, не учитываете этого! А вдруг, кто нибудь не удержись да и умри в это самое тяжелое время, тогда что?

— Тогда что? — повторил председатель Пушкирев дрогнувшим голосом. — У меня от одной мысли леденит сердце. А и, правда, кто нибудь возьми просто на зло и того... что же нам тогда делать?

Все невольно оглядели с вниманием и тревогой друг друга. Да нет, народ как будто здоровый. Такой малой оплошностью, как покупкой купоросной земли здоровья их не подорвешь! Не подорвало ничто до этого, надо надеяться, что не подорвет и теперь. Народ такой, что долго будет жить, чтобы не пресекать своей полезной общественной работы. Единственно, кто вызывал опасение, это Максим Максимович Корявко, который вторые сутки лежит на заседании без движения, с лицом, на котором, казалось, доигрывал последний зеленоватый отблеск жизни.

Голоса по этому поводу сразу раскололись: одни считали, что если и ждать от кого подвоя в данную минуту, то именно от Корявко, так как краска на его лице говорила за то, что таких людей нельзя упускать, а надо сразу же готовить к соборованию и к пересмотру завещания. Другие, наоборот, говорили, что Корявко не то еще переживет, а если в нем в данное время и есть что то, что невольно наводит печальную мысль о бренности существования и расстраивает некоторых солидных членов правления, то у кого-кого, но у Корявко это явление временное и объясняется просто тем, что он где то просчитался и не донес, и временно не может прийти в себя от нравственного страдания.

Пока правление обсуждало вопрос о возможных превратностях, которые бы усложнили еще более и так уже запутанное положение, Корявко успел открыть глаза и обвести всех мутным взором, в котором, кроме страдания, можно было увидеть уверенность, что он оправится и от этого потрясения.

— Нет, это тоже не то! — расстроенно проговорил председатель, как тогда, когда фон Мюллер выставил свое предложение об экспроприации на артельщика. — Ну, а ты, Ряшков, посоветуешь нам или нет? Раньше не раз выручал, выручи и теперь!

— Выручать, выручал, да еще как! — проговорил Ряшков несколько смущенно, хватаясь за карман, в котором был его волшебный портсигар, но не вытаскивая его в знак того, что это было бы совершенно напрасно. — А теперь, просто зaeло в голове, ни туда, ни сю-

да. Положительно ничего не доходит, выбился из сил. Подумаю маленько, может что и дойдет!

Вот и Ряшков тоже! Когда дело касалось поездки на землю ради беглого осмотра участка, то сколько было слов и восклицаний! — и не нарадуюсь, одно наслаждение, не нахвалиться, и портсигар сам по себе открывался, и глаза смотрели правдиво и доверчиво, а сейчас — выбился из сил! Если бегло просмотреть протоколы заседаний, то чего только не было в предложениях и поправках Ряшкова: и устройство русской деревни с сарафанами, и приготовление списков умерших, и перемещение центра Зарубежья! Какие предложения не высказывались, и все сильно, сочно, с ряшковским размахом, а сейчас: дайте маленько подумать, авось что дойдет! А вспомнить только о том, почему его выволокли из карточной «за мяса» и чуть не прибили, а помяли все же основательно! Не за корабельную ли рощу и реку с рыбой? А как вывернулся, когда взяли за галстук и поставили к ответу? И о Рауле-точены-ляшки порасказал, и о военном чиновнике Казнолюбе вспомнил, и чего только не наплел! А как вывернулся еще раз, словно не слыша, что требовали к ответу, насиلاя свою вдруг изменившую ему память: Богородько, Иоаким, откуда мне знакомо это имя?!

— Но как же, на самом деле, вернуть деньги или хотя бы отсчитаться в них! А вдруг на нашу голову, приемная комиссия, а то еще хуже, важные лица из Главного Центра! За кого они хватятся первым делом? А призвать к ответу председателя, небезызвестного генерала

Пушкарева! А будьте любезны, ваше превосходительство, каким таким образом была куплена пустошь негодной земли в тысячи десятин? По какой цене? Какими средствамиплачено? Где полномочие общего собрания господ членов? И пойдет, пойдет... Нет, уж лучше прямо на неприятельскую проволоку, на пулеметный свист, все равно один конец... Там то хоть со славой!

Председатель растрогался от своих слов и на краткое время забыл об общественных неприятностях. Он поднялся и выпрямил грудь, перекрестился, словно на самом деле готовясь идти на колючую проволоку. Но перед ним был не неприятель, огороженный рядами проволочных заграждений и защищенный окопами с бойницами, откуда могли бы залиться заядлым цокотом пулеметы. Картина, увы, была далеко не батального характера, и даже не имела того живого, напористого вида, который был на обычных собраниях. Наоборот, над всеми навис тяжелый гнет, придавивший этих энергичных творческих людей, обычно готовых отзваться на любое предложение оживленным откликом. Но не теперь, в такой важный момент, когда все Зарубежье могло смотреть на них, эти живые, разговорчивые люди потеряли дар речи.

— Итак, — промолвил председатель совсем уже павшим голосом, снова садясь на стул и становясь опять председателем обычного общества, которое, в порыве общественного служения, оказалось в безвыходном положении.  
— Итак, дошло до того, что некому из вас прийти на помощь своему председателю и

предложить что либо на обсуждение правления. Если до того дошло, то, следовательно, нечего и ставить на голосование...

— Чтобы все таки проголосовать, — заявил секретарь, — то я предложил бы следующее: как было указано председательницей Дамского Кружка, Елизаветой Андреевной, что важнее и перед кем держать первый ответ: перед своими членами за, так сказать, общественные суммы, или перед Главным Центром за некую, так сказать, поспешность, или мах...

— А дали маху, да еще как!

— Предложить голосовать: дали маху или нет, так что ли?

— Не надо, без всякого голосования ясно, что единодушны.

— Если взяться за первое, то есть, в рассуждении общественных сумм, то вот что я хотел бы предложить.

— А, ну-те?

— Почему берут слова с места без помещения имени на лист? — завопил яростно секретарь. Если так, то до чего же можно опуститься...

— Для вне-очередного заявления можно, — поспешил заверить его председатель. — А, ну-те!

— Тут как то упоминалось о похоронной кассе... — Псицын остановился, чтобы расправить усы щеточкой и похлопать веками. Справившись с этой процедурой, он уложил чехольчик с щеточкой, провел еще раз рукой по усам, отфыркиваясь, и помигал глазами. — Так, говорю, упоминалось о похоронной кассе, что, дескать, с покупкой земли в этой самой

кассе осталось столько, что на это нельзя похоронить даже, извините за выражение, домашнее насекомое, блоху или таракана. Мне то это особенно хорошо известно. Все остальное, как в кассе взаимопомощи и в средствах самого Общества с Дамским Кружком перестало, так сказать, существовать по причине хорошо известной всем нам. Не будем касаться этой причины, а постараемся найти выход и опериться вновь.

— А, ну-те! — в третий раз воскликнул председатель, нагибаясь вперед, чтобы не прогорнить ни одного слова.

— Раз мы коснулись похоронной кассы, — продолжал Псицын тоном, в котором было не только нарастающее торжество, но и что то другое, что должно было ошеломить готовое ко всему правление. То, что вышло как раз так, не оставило никакого сомнения. — Раз, повторяю, коснулись похоронной кассы, то не сделать ли такую вещь, подойти к вопросу с этой же стороны, но с другого конца. Но подойти через похоронную, так сказать, возможность.

Псицын сказал это таким необыкновенным тоном, что Могиленко, вслушиваясь в предложение докладчика с нарастающим интересом, вспомнил, как в недавнем разговоре со старшим лионским братом тот упомянул о коте, запрятанном в мешок.

Предложение докладчика заинтересовало всех членов правления своей недоговоренной загадочностью и, вместе с тем, тоном надежды. Последние же слова озадачили всех. Наступило молчание, пока каждый обдумывал, в

чем тут дело, и не вступить ли сразу в обсуждение предложения или выслушать дальше. Сам же докладчик, довольный произведенным эффектом, продолжал строго хлопать веками и проводить рукой по усам.

— Для меня что то не все ясно, — осторожно начал Ферапонтов, — как именно понимать слова докладчика, что подойти к вопросу с похоронной, так сказать, стороны?

— Докладчик недостаточно оформлировал вопрос, — воскликнул секретарь. — Поставить вопрос на обсуждение, но с тем, чтобы докладчик развил свое предложение.

— А, ну-те, — обратился председатель к Псицыну, опять принимая ласковый тон, — оформите свое предложение для дальнейшего, так сказать, обсуждения в общем и по сути.

— Начать с того: кто первый подал мысль об устройстве обители, пустынь тожь, в которой помещались бы обитатели по состоянию своего слабого здоровья? Митя Плющин. Так? Есть на этот счет какие либо возражения? Нет. Следовательно и обратиться за дальнейшим развитием к Мите Плющину. Говорил он, чтобы строить обитель для слабогрудых? Говорил. Упоминал о грудной жабе? Упоминал. Мое предложение сводится к тому, чтобы установить, в какой форме находится у Плющина грудная жаба в данное, так сказать, время.

Наступило молчание, пока каждый старательно обдумывал слова Псицына, чтобы узнатъ, к чему он вел.

— Для меня все же не ясно, какая связь между тысячами десятин купоросной земли,

Митей Плющиным и его грудной жабой в данное, так сказать, время!

— Именно, в данное время, — внес поправку другой член правления.

— А вот какая! Если Митина грудная жаба работает, не покладая, так сказать, рук, и, следовательно, можно ждать всего, то взять и застраховать жизнь этого самого Мити Плющина.

— Какая эффектная мысль! — воскликнул восхищенно Райковский, — это даже скептика захватит!

— Х-м, — воскликнул неопределенно председатель, — взять и застраховать, а! — он оглянулся на всех, ожидая, кто отзовется на предложение Псицына.

— Это что же, позвольте, — все еще осторожно нащупывая, куда это приведет, спросил Ферапонтов, — застраховать этого самого Плющина и в случае скорого происшествия у нас неожиданные деньги, и тогда можно с землей перед всем Обществом... Так, так, ситуация начинает выясняться... Теперь все становится понятным. Предложение толковое...

— Толковое то толковое, слов нет, а вдруг ревизия раскачается и того... Тогда что?

— Тогда что, а? — переспросил озадаченный председатель. — Кто еще желает высказаться?

— С ревизионной комиссией вопрос. А с другой стороны, пока она соберется, не только что с Митей, не к слову будь сказано!, а вообще каждый может успеть того, что называется...

— Ревизионную комиссию отставить, Ерофей Исаич не допустит, чтобы собралась во

время. Беспокоиться нечего, а обсудить предложение докладчика в порядке его представления.

Секретарь помахал руками, посверкал стеклами очков и был готов еще говорить, но председатель остановил его.

— Ряшков желает высказаться. В общем или по существу?

— И в общем, и по существу. Прежде всего по вопросу доклада. Трудно что возразить, представлен толково и хорошо разработан. Вопрос только в самом Плющине и его грудной, так сказать, жабе. Первый вопрос, я бы так формулировал его: готов ли действительный член правления, этот самый Митя Плющин соответствовать и, так сказать, пойти на выручку Общества. Ты как на этот счет полагаешь, Митя, поддержишь ли предложение и пойдешь на встречу общественной нужде или нет? Как, а?

— Да с полным удовольствием, — ответил, стыдливо улыбаясь, Плющин. — Ради Общества всегда готов расстаться...

— Я полагаю, что следует установить медицинскую экспертизу, — заметил озабоченно председатель. — Кто у нас силен в медицине?

Оказалось, что сильны все, но так как Ряшков еще не закончил своего расспроса, то ему дали возможность продолжать.

— Вопрос, следовательно, во втором, и я к нему его и веду: не в самом Мите, который вполне согласен, а в его грудной, так сказать, жабе. Ты как, Митя, продолжаешь жаловаться?

— Продолжаю.

- Прогрессируешь значит?
- Прогрессирую.
- И симптомы на лицо?
- Симптомов сколько хочешь! — уже совсем глупо улыбаясь ответил Плющин.
- А вроде?
- В глазах последнее время рябит. Сыпь подмышками... Да и другое.
- Х-м! — глубокомысленно воскликнул председатель, поглядывая пытливо то на Плющина, то на Ряшкова.

К этому времени все правление приняло самое живое участие в обсуждении предложения о страховании жизни Мити Плющина. Каждый стремился на перебой вспомнить свой случай или порассказать об аналогичных случаях, которых в короткое время набралось значительное множество. Главное же внимание было уделено медицинской стороне предложения: может ли человек, страдающий грудной жабой продолжительное время, да еще в неблагоприятных условиях Зарубежья, тянуть до бесконечности, или он обязательно где-то сорвется. Как всегда, мнения резко раскололись на две части, так что при всем желании председателя поставить вопрос на голосование, этого ему не удалось сделать. Одни считали, что грудная жаба при любых обстоятельствах — Зарубежье или нет — сама по себе вещь незначительная постольку, поскольку ей не дали ходу развиться. А как дали ход, то остановить трудно и тогда надо ждать всего. Эта группа придавала особенное значение ходу, а в том, что Плющин дал свободный ход своей жабе, не оставалось никакого сомнения, о чем можно

было судить не только по ряби в глазах и сыпи подмышками. Другая группа, придерживавшаяся стойких начал, считала, что закаленность настоящего зарубежника нисколько не меньше закаленности старого воина, и что если у него и есть такая болезнь, вроде плющинской, то он, исключительно благодаря своей стойкости и закаленности, весьма легко справится с ней.

Были и отдельные мнения, как, например, Грозы, который соглашался во многом с мнением второй группы, но веско заявлял с предостороженным пальцем в воздухе, что «только не на другом полуширении!». А Райковский нет-нет да приговаривал скептически «ну, не скажите!», одинаково, правда, в отношении и первой и второй группы.

Потрясенный сперва неприятным оборотом событий, а затем озадаченный предложением относительно Плющина, председатель Пушкирев успел во время живых дебатов прийти опять в себя. Он вначале примкнул к первой группе и даже собирался добавить, что нигде так остро не ноют старые раны, как на чужбине, но выслушав доводы второй группы, сразу же согласился с тем, что у старого зарубежника закаленность седого бойца, и что ему о пустяках беспокоиться нечего.

В отличие от двух групп, третья группа, не принимая ни той, ни другой стороны, считала, что вопрос не в общем, а в частном, то-есть в самом Плющине и его болезни. Ряшков указал на характерный по его мнению симптом, что у Плющина рябит в глазах, вспомнив при этом о поручике в своем полку, у которого был

совершенно аналогичный случай, который и привел того к преждевременному концу. На рассказ Ряшкова немедленно возразили те, у кого была лучше память, заметив ему добродушно, что он прилгнул или здесь, или прежде, так как по первой версии у ряшковского поручика глаза начинало косить, как только выяснялось, что он или не допивал или перепивал, но что они сразу же принимали нормальное положение, как только несчастный поручик отлеживался дома, что совершенно не имело никакого отношения к болезни вроде плющинской. В ответ Ряшков начал безжалостно кляться и божиться, что это был совершенно иной случай, и совсем даже не тот поручик, и пытался увильнуть от ответа ссылкой на то, что в медицине так много таинственного и неразгаданного, в чем не только простым смертным, но и врачам-академикам никак не разобраться.

Во время живых прений «в общем и в частном», как обычно выражались на собраниях, всем опять начинало казаться, что ничего не произошло в правлении, что продолжалось все то же заседание в недавние и обычные времена, когда Ряшков или кто либо другой мог ненароком и прилгнуть, увлеквшись развитием своей мысли, но никто не ставил этого ему в упрек, принимая как естественную часть общественной нагрузки.

Но эта отрадная забывчивость длилась недолго, так как правление, закончив прения, невольно пришло к практическому обсуждению. Пока выяснялась эта необходимая сторона, председатель становился все более озабочен-

ным. Прежде чем приступить к голосованию, многие голоса с мест высказали пожелание, чтобы Митя Плющин не подвел в последнюю минуту со своей болезнью, и на самом деле выручил бы Общество. На вопросы: «так, Митя, можно полагаться, не подкачаешь, а?», Плющин конфузливо улыбался и утвердительно хлопал себя по груди.

— Не желает ли еще кто нибудь высказатьсь по существу и в общем или закрыть прения и приступить... — председатель не мог закончить фразы, чувствуя, что ему становилось не по себе.

— Проголосовать! — раздалось несколько голосов.

— Не тратить времени, сразу приступить к голосованию!

— Х-м! — протянул озадаченный сверх меры председатель, не зная, что ему делать, почесать ли затылок, развести ли руками или только перекреститься на угол, — как же это так, на самом деле! Просто и ума не приложу, неужели до того дошло, что живого... — Он оглядел озабоченно всех, надеясь, что в последнюю минуту кто нибудь выскажет новое предложение. Но все смотрели на него с неменьшим чувством озадаченности. Наконец он собрался с духом. — Кто за то, чтобы, учитывая смутные времена, застраховать жизнь этого самого... нет, увольте, не могу! Отказываюсь решительно! Лучше выберите другого председателя, пусть он поведет вас по такому пути, а меня увольте... Легче идти на неприятельские пулеметы, нежели представить правлению подобное предложение на голосование...

— Да я ничего, с полным удовольствием, —  
сказал застенчиво улыбаясь Плющин.

— Вот именно, что с полным удовольствием,  
— рассердился Молибога, — тебе только одно  
удовольствие! Тебя застрахуешь, потратишь-  
ся, а ты со своим удовольствием еще всех пе-  
реживешь.

— А сколько на него вообще надо поставить,  
чтобы у его грудной жабы горло не пересыха-  
ло? Об этом кто подумал?

— А и верно, как бы с Плющина не дали  
бы маху!

— Отставить Плющина, — закричал секре-  
тарь, — все равно, ничего не выйдет. Дороже  
будет стоить. Одни только разговоры, а никакого  
выхода!

— Итак, господа, этот вопрос сам по себе от-  
падает, — заметил председатель, заметно при-  
ходя в себя и радуясь, что не нужно было го-  
лосовать за Плющина. — А выхода все равно  
нет! Если господа члены правления оказались  
в тупике, не даст ли нам добрый совет предсе-  
дательница Дамского Кружка? А, ну-те, Ели-  
завета Андреевна, не выскажетесь ли вы по  
существу вопроса?

— Так в чем же дело, — заговорила влаж-  
ным и приятным голосом председательница  
Воробей. — Говорили о деревне, не было у нас  
земли. Говорили о кладбище, тоже не было  
земли. А теперь она у нас есть...

— Это что же, с ржавой травой?

— А какая бы ни была! К чему этот пустырь,  
как не под кладбище!

— Под кладбище? Тысячи две десятин и все  
под покойников, не слишком ли просторно и

роскошно для их брата? — и Ферапонтов даже присвистнул.

— Сколько же их брата нужно, чтобы заполнить все место? Сколько же времени ждать?

— Это что же — мы и землю покупай, мы и усопших на нее вези?

— Тариф не выдержит! — предостерег Ерофей Гроза.

— Такой пустырек не каждый день сыщешь, а когда нашелся, не знают, что с ним делать!

— В протоколе же было внесено...

— А вот и ошибаетесь: в протокол было внесено то, что если взяться за родные могилки, то везти усопших от себя, а совсем не к себе. Разница, извините, большая.

— Все равно, тариф...

— Конечно, — перебил несколько сконфуженно председатель, но уже совершенно прийдя в себя, — при родных могилках как то проще. Они не подведут. И начальству сразу бросится в глаза, забота и попечение о неких, которым царство небесное. А это никогда не забудется. Обоюдная польза. Может быть, правда, остаться, как были, при родных могилках, а?

Стали думать, остаться ли при родных могилках или нет, думали больше по привычке, так как знали, что дело совершенно не в могилках, а в другом. Как могли они забыть о том, что так разочаровало их, так обезоружило, так сильно ударило по их самым лучшим чувствам, и ударило так грубо и жестоко! Как много было пыла, горения, планов, дерзнове-

ния, и все, что теперь осталось от них, был прошлогодний разговор о родных могилках! Как ни старался каждый найти выход, но его не было, или был только один — кому, как не председателю оставалось предложить его! Нельзя сказать, что этот выход был в той же категории, как предложение фон Мюллера об экспроприации и нападении на артельщика Грозу, или предложение строгого Псицына относительно страховки Плющина, но он был сделан и к нему нельзя было не прислушаться.

— Так как никто не внес дельного предложения, которое мы могли бы принять, то остается мне, вашему председателю, сделать таковое. — Пушкирев остановился, перевел дух и посмотрел с полминуты на красный угол. — Вот оно: сесть под иконы и рассказать всю правду. Поторопились, мол, малость, но исключительно от общественного рвения и верной службы перед начальством. Немного дали маху... Насчет маху добавить, что голосовали всем правлением и вынесли единогласно — это к тому, что и поступали единогласно...

— Рвение и служба и то, что единогласно, все хорошо. А как насчет общественных денег и прочего?

— А под иконами обо всем и рассказать: старались не только ради начальства, но и сами, как начальство, старались для подведомственных нам, старались одинаково для всех членов нашего Общества. Перед тем, как сесть под иконы, пригласить для поддержки и Аполлона Александровича.

— А не поговорить ли с ним вначале и выяс-

нить, как посмотрят на это высшие, так сказать, сферы?

— Отчего не поговорить? Очень даже хорошая мысль! Именно, поговорить, но сделать это красиво, благородно. Подойти, этак издалека, навести мысль о жертвенности и готовности, и незаметно высказаться, что если без поддержки и понимания начальства можно того... петлю на себе затянуть...

— Завéрить твердо, что в таком большом деле обязательно где нибудь да сорвешься, даже не знаешь, где, как у нас: ехали себе в автобусе, все хорошо, прекрасно, тонко, каждый полон надежд, каждый строил у себя в голове такие планы, что одно удовольствие. Доехали, вылезли, поднялись на холм, глянули — мать честная! так ведь нас объегорили, да еще как! Продали, как кота в мешке.

От этих слов все опустили головы, словно не в состоянии заглянуть друг другу в глаза. И только один Корявко, заметно набирая в лице нормальную краску, открыл глаза и пытливо обвел ими всех.

— Об этом лучше не говорить, — дрогнувшим голосом сказал Ряшков, — в общем то можно, но без тяжелых подробностей...

— Просмеют нас, как только узнают все, ой, как просмеют в столице, да и в других городах! Там такие пересмешники, поверьте моему женскому чутью!

— Просмеют, не просмеют, некоторые детали лучше замолчать... А с Аполлоном Александровичем по хорошему, благородно... Человек привык к тонкому обращению, так чтобы все было деликатно... Так и решить: сесть

под иконы и уж там все открыть, но с известной осторожностью. Проголосуем сейчас, если нет ни у кого других предложений и поправок.

— Я предложил бы, — начал медленно осторожный Ферапонтов, словно нащупывая в темноте путь, — не поправка, отнюдь нет, а исключительно ради ясности и верности! — кооптировать отца Павла для проведения вопроса. Не каждый может предложить Обществу сесть под иконы...

— А председатель? — живо спросил ущемленный Пушкирев, приподнимаясь от волнения на стуле. — Разве это не его функция?

— Его то его, а все же с духовным лицом как то вернее.

Хотя секретарь и начал шуметь, застучал рукой по столу, что нужно же так опуститься, чтобы подрезать своего же председателя в его самых благих началах, но после короткого, но живого обмена мнений и согласия председателя на приглашение отца Павла, правление перешло к голосованию, приняв меру полностью, как она была предложена председателем.

После голосования каждый почувствовал, что гора спала с плеч, и новая надежда вселилась в нем. Но, увы, последние события в корне изменили все планы и надежды правления.

## XVII

### ПЕСКАРЕВИЧ ВЫРУЧИТ

После принятой формулы «сесть под иконы и рассказать все» встревоженная недавними событиями жизнь Общества снова вошла в свое нормальное русло. Молибога попрежнему сидел вечерами в передней, у широкой лестницы, за столом с книгой для посетителей, тараща изумленно глаза на каждого входящего, словно видя его впервые. Секретарь попрежнему подбегал время от времени к парадной двери, открывал ее и высматривал налево и направо, даже поглядывая наверх, делая это по старой привычке, так как в последнее время ни в членах Общества, ни в запасных недостатка не было. Из бильярдной доносились возбужденные голоса игроков, смачное щелканье шаров, взрывы смеха, и над общим шумом поднимался мощный голос Ряшкова.

— Был у нас в полку штабс-капитан Барабан-Клещеев... Война, подъем, тоняга, голубой глаз...

— Знаю я, как давно ты не держал кия в руке! — воскликнул другой, и опять все тонуло в общем шуме и грохоте, в котором можно бы-

ло распознать возню незадачливого игрока, нырявшего под биллиард.

В отличие от шумной биллиардной комнаты, в карточной царила сосредоточенная тишина, свидетельница глубоких дум, терпения и сосредоточенности, настраивающая так приятно почтенных, успокоившихся людей на серьезное занятие.

Снизу, из ресторана Коли Усова, доносились звуки балалаечного оркестра, особенно, когда они играли «Что мне горе», заставляя наверху в гостиной философствовать о том, что есть горе, а что не горе, что счастье, и что, вообще, человеческая жизнь со всеми ее слабостями, соблазнами, надеждами и провалами.

Хотя правление и приняло меры для приведения в порядок дел Общества, после чего все должно было бы прийти в нормальное состояние, все же было очевидно, что эта напористая, энергичная и чрезвычайно жизненная группа проходила через острый период тяжелых переживаний.

Больше всего об этом знало само правление. Решение «сесть под иконы» хотя и успокаивало их, но только на время. Председатель Пушкарев нет-нет подходил к другим членам правления, чтобы спросить еще раз, все ли пройдет хорошо, не будет ли срыва в последнюю минуту. В самом начале образовалось две группы, из которых одна считала самым важным выправить свое положение перед Главным Центром и совсем не считаться с тем, что были израсходованы без разрешения Общества его средства. На вопрос: а как же объяснить трату общественных денег, да еще на та-

кую покупку, как ненужная никому земля, они отвечали по разному. Одни просто говорили: «А так! Потратили и все!». Другие шли дальше и пытались заверить, что Общество будет даже радо, что правление так свободно распорядилось его средствами, а что касается риска, то, слава Богу, где только его нет! Взять хотя бы к примеру малую шуллерскую, но не закрывать же ее из за этого! Их довод звучал убедительно, так как всегда можно было убедиться воочию, сколько солидных людей заседало в глубокомысленной сосредоточенности карточной комнаты.

Другая группа считала, что постольку по скольку Главный Центр для большинства членов Общества был мало ощутим, и, кроме того, как мог он знать, что случилось в одном из многочисленных обществ, так щедро разбросанных по всем материкам Зарубежья, поэтому они и считали, что их собственное Общество было важнее Центра по целому ряду соображений, и перед ним то и следовало бы отсчитаться в первую очередь.

Председатель не мог не согласиться, что и первая и вторая группа имели веские доводы, с которыми нельзя было не считаться, хотя он и полагал, что признавать за Главным Центром второстепенность исключительно из за расстояния было, по меньшей мере, оскорбительно для начальства.

Все наконец пришли к одному решению, что лучше всего поговорить частным образом с Чижиковым и попытаться выяснить, как отнесется Главный Центр к тому, что произошло с землей — об этом, между прочим, говорили в

общих и осторожных выражениях, как о небольшом административном недосмотре, о незначительном перегибе общественного рвения, но не как о чем то другом, отчего можно впасть в непривычное для них положение растерянности. После многих частных совещаний было решено встретиться с Чижиковым при первом же удобном случае, но начать разговор издалека, осторожно, с тем, чтобы постепенно, во время самой беседы, выяснить отношение высшего начальства. Осторожные и опытные в делах члены правления пошли дальше и сделали такое предложение: пусть Главный Центр, утая их служебное рвение на пользу общего дела, выгородит их перед своим же Обществом. Мысль показалась смелой и вместе с тем опасной, как бы Центр не подумал, что ему придется быть ответственным за дела какого то зарубежного общества. Тем не менее, было решено при случае упомянуть и об этом, поручив ведение переговоров наиболее опытным людям. Сперва все пришли к выводу, что такой деликатный разговор должен повести сам председатель, но как всегда против этого возразил секретарь, упомянув о том, что зачем за такое подготовительное дело браться председателю, когда на это есть два вице-председателя. Замечание было верное, и все сразу же подумали о Ряшкове, вспомнив при этом о Рауле-точены-ляшки, о военном чиновнике, о косящем поручике и о многих других увлекательных историях, нашедших свое зарождение в ряшковском портсигаре. Молибога припомнил вслух, как еще недавно выволокли Ряшкова «за мяса» из карточной, на что Ряш-

ков с запалом, но вполне добродушно, ответил, что если бы у него на руках было бы что ни-будь приличное, то ни за что не дал бы себя выволочь, а тут даже был просто рад, что спасли его от крупного проигрыша. Никто не стал оспаривать, был Ряшков рад или нет, но перешли в своих мыслях к Ферапонтову, решив, что лучше кто угодно, но только не Ряшков. Все посмотрели на Ферапонтова, и он, в свою очередь, посмотрел на них, проводя решительным движением руки по ежику головы. Всем стало ясно — и от открытого взгляда, и движения руки — что только один Ферапонтов мог взяться за такое деликатное дело рассказать Чижикову о том, что вышло у них с планами относительно переселения всего Зарубежья, и спросить у него совета, как поступить в будущем и как снискать участие и даже помощь Главного Центра.

На этом закончилась полоса смущения и беспокойства. Все правление — в который уже раз! — подняло голову настолько, что можно было думать, что кризис миновал и все идет на быстрое поправление.

Случилось же не совсем так, как ожидали. Нельзя сказать, что произошло это потому, что Ферапонтов не был подготовлен к своей ответственной роли. Наоборот, он подготовился к ней даже больше, чем это было нужно. Правда, в этом отношении ему помогли остальные члены правления и, главным образом, председатель и секретарь.

Чижикова застали за буфетной стойкой у Коли Усова. Он стоял спиной к ним, рассматривая с увлечением блюда с закуской, и bla-

годушно разговаривал сам с собой. Избранная группа правления готова была сразу же направиться к нему, но в это время Чижиков откинул голову, посмотрел выразительно в потолок, поднеся рюмку к приготовленной воронке рта. Члены правления по молчаливому соглашению отодвинулись, решив, что лучше подождать, пока Чижиков не повторит этого движения раза три, после чего будет вполне подготовлен к серьезному разговору.

Когда балалаечный оркестр взялся за «Что мне горе!», председатель, приняв это как сигнал, подтолкнул вперед Ферапонтова. Чижиков, повернувшись на звуки оркестра, заметил движение председателя и тотчас же оробел. Оробели и члены правления.

Можно ли с точностью передать мысли благодушно настроенного человека, задержавшегося на приятный часок у такого симпатичного места, как стойка Коли Усова? О чем думал Чижиков в прекрасный весенний вечер, когда все располагало к благодушию и кроткой радости? Думал ли он об этих замечательных, прекрасных людях, которых нашел в стенах этого гостеприимного дома, об их заветной мечте сесть на землю, из тесного города перебраться на открытое лоно природы в своем бессильном сопротивлении таинственным чарам весны! Не мог не думать об этом, как и о других вещах Аполлон Чижиков: все в этих стенах было насыщено этим таинственным, неотвратимым зовом, от чердака, на котором Бедный Ричард тревожил весеннюю бессонницу тоскливой игрой на волынке, до подвала, до этой буфетной стойки, где даже водка в эту

пору носила очаровательное название «Дыхание Весны», а коньк назывался «веснак». С приятностью, отмечавшую его прекрасный характер и сердечные чувства, думал он и о том, как ему удалось помочь этим замечательным людям приблизиться к их заветной мечте, похлопав при этом себя по боковому карману пиджака, где в просторном бумажнике помещались деньги, полученные от Корявко. Думал он и о нем, об этом золотом человеке, Максиме Максимовиче, настрадавшемся так жестоко от скотопромышленников, а теперь, по благоприятному стечению обстоятельств, вполне — может быть и не вполне, но в какой то доле! — поправившем старую обиду. От теплоты чувства за оказанную помошь своим новым друзьям Чижиков перешел к мыслям о себе, о том, давно забытом прошлом, что как то само по себе всплыло перед его растроганным взором в этих милых стенах, впрочем легко переходя к более практическому и не менее увлекательному настоящему, в котором, казалось, был верный отклик восторженным словам Зоси: «он хотит меня, как сна голубого». Вспомнив о ней, он быстро залез в карман, поставив обратно поднятую было рюмку, и заглянув ради справки в отдел «неотложных официальных дел», где попрежнему оставался только один телефонный номер, отметив в уме, что пожалуй как раз время напомнить о себе. Ряд благодушных мыслей неспеша проносился в его голове, пока он, наконец, не заметил группу людей, прикрывшихся за кадкой с пальмой, и не поймал торопливого движения председателя.

— Неужели, — пронеслось у него в голове, — такой хороший вечер с его теплым благодушием будет расстроен неприятным разговором, какими то запоздальми претензиями и жалобами! Как бывает тяжело, когда встречаешь, например, женщину, невольно увлекаешься ею, и ровно через сутки слышишь укоры от нее в загубленной жизни и отнятой юности, особенно, если ей заметно за сорок! Не может ли быть и здесь такой же неприятный случай, с этими, внешне милыми людьми, которые в последнюю минуту решили высказать неосновательную обиду о своей загубленной кем то жизни!

Не потому ли оробели и они, встретя его взгляд, в котором могли уловить подобную же робость?

Но не такой Чижиков человек, чтобы легко поддаться на то, что только могло ему казаться. Он приятно улыбнулся, накатив на глаз сиреневое веко, и сделал широкое движение рукой, приглашая их присоединиться к нему.

Пока Коля Усов распоряжался за стойкой, Ферапонтов прочистил горло, поскреб быстро череп и сразу же принялся за дело. Он начал с того, что в мире много сложного и запутанного, в котором легко не только потерять самого себя, но и погибнуть так, что даже не останется следа. Но еще больше запутанного в человеческой судьбе, в которой элемент неизвестного играет слишком большую роль, и в которой можно так запутаться, что только ой-ей-ей! Но что человеческая судьба и жизнь по сравнению с жизнью общественной, в кото-

рой этот элемент случайности не только играет еще большую роль, но и может запутать так, что только держись! Отсюда Ферапонтов перешел к тому, что сложность общественной жизни выражается в том, что именно на ней то и происходит неудержимый рост общественного рвения и служебного подвига, вследствие чего иногда и происходят некоторые случайности, определяемые по разному как эксцессы жизни, промахи, срывы, или даже таким обще-принятым выражением: «дали маху».

Ферапонтов сделал паузу, и Чижиков, державший до этого голову вниз, приподнял ее, взглянув пытливо на него и на остальных, и сделал движение, но уже совсем неопределенное в сторону стойки, но председатель также сделал движение, которое означало, что переждем немного, пусть докладчик сперва справится со вступлением и перейдет к сути дела. Ферапонтов прочистил еще раз горло и заговорил опять, ссылаясь на многие исторические ошибки, совершенные людьми в высшей степени безупречными, с большим житейским опытом, даже дворянами, которым, казалось бы!, не следовало поступать так. Но в этом и сказывалось именно то, на что он хотел обратить внимание, то есть, на фатальное и неисповедимое, от чего ни человеку, как индивидууму, ни обществу, как коллективу, нельзя проникнуть в даль неизвестного.

Пока Ферапонтов блуждал по неизвестной дали, другие члены правления вместе с председателем начали невольно испытывать чувство неловкости. Вот, ведь, человек!, думал

каждый из них, сам требует от всех ясности, а когда нужна эта самая ясность больше, чем когда либо, так «растекся по древу», так забрел в дебри, что и выпутаться трудно. Лучше было бы поручить Ряшкову, если сам не мог бы додуматься до чего нибудь, то заглянул бы в свой портсигар, а там наверное был бы ответ: «Зарубежье в опасности, требуются немедленные меры скорой помощи!» И все, кратка и ясно. Они даже не решались заглянуть в глаза Чижикова, который, правда, все еще держал голову вниз. Но когда заглянули, то они не увидели никакой тени смущения и неловкости. Наоборот, Чижиков сам с большим удовольствием мог бы поговорить о далях неизвестного и о том, что случается с человеком — да и с обществом! — вопреки всяких, ожиданий. Казалось, что Чижиков все еще думал о сложном содержании речи Ферапонтова, устремив в пространство голубой глаз. На самом же деле могло быть совершенно о другом: наконец то зашевелились, не иначе как с купоросной землей! Но что же делать, на то и существуют, как совершенно справедливо заметил предыдущий оратор, провалы общественной жизни! Не там, так в другом месте!

Посмотрели и на Колю Усова, который по обыкновению чутко прислушивался к разговору, и заметили, что от слов ли Ферапонтова или от какой другой причины, но вид у него стал еще более унылым.

— Нет, не так, не так, — не утерпел секретарь чтобы не сорваться, — не с той ноги пошли! Не с того надо бы начать, хотя вступление и нужно, но не в таких рамках... Проще

и скорее, вроде того: разбежались, нырнули, а вода оказалась холодной...

— По другой аналогии, извините за выражение: у Рабиновича пожар на складе, а имущество не застраховано. Почему и переполох.

— Компот получился!

— Все от общественного рвения, — поспешил добавить председатель. — И по долгу службы, поверьте слову старого служаки. Понесли, верно, не с той ноги!

Чижиков все молчал, ожидая, не добавит ли ктонибудь еще, и не зная, куда все это вело.

— Насколько я могу судить, — начал осторожно он, берясь за рюмку, но тотчас же ставя ее опять на буфет, — случилась некоторая заминка в планах, небольшое препятствие на пути к намеченной цели. Так, да?

— Именно, что заминка, самое пустяковое препятствие.

— На служебном поприще? — невинно спросил Чижиков и вместе с тем с той тонкой деликатностью, которая показала, какой он чуткий человек.

— Именно, что на служебном, — еще более заторопился председатель. — Исключительно от общественного рвения. Не с той ноги понесли, не совсем верно применились к местности.

— Так это бывает часто, — заметил в раздумье Чижиков, словно пытаясь вспомнить, когда в последний раз произошел подобный случай на его памяти. — Явление, конечно, печальное, но случается часто. Все, что нужно, это подойти с пониманием...

— Именно, с пониманием! Поверьте слову старого служаки. Старались по службе ради

начальства, уповаю, что высшие, так сказать, сферы подойдут с пониманием.

— Высшие сферы? — осторожно подошел Чижиков, ни то с вопросом, ни то только с восклицанием.

— Главный Центр и прочие верховные зарубежные управления.

— О, Главный Центр! — повторил Чижиков, словно только что приходя в себя.

— Так вот мы и озабочены: войдет ли в суть дела Главный Центр?

Чижиков задумался на мгновение и прищуренным глазом посмотрел испытующе вдаль, словно там был начертан ответ Главного Центра.

— Я полагаю, что войдет, — заметил он еще не совсем уверенно. — Отчего же ему не войти? Ведь по службе и ради начальства?

— А если дело довольно крупное? — теперь настало время для председателя принять осторожный тон.

— Но ведь по общественному же рвению?

— Так точно, по общественному рвению. Так вы полагаете, что Главный Центр учтет это?

— Да еще как учтет! — живо ответил Чижиков.

— И войдет, так сказать, в детали? И начальственной мудростью благословит?

— И в детали войдет и начальственной мудростью благословит! Будьте на этот счет покойны!

— Ну, что же, — проговорил председатель, несколько озадаченный той легкостью, с какой Чижиков заверял их в деле, казавшемся им

самим таким запутанным, — значить, все хорошо. Остается только снести с ним!

— А это само собой! — совсем уже уверенно сказал Чижиков. — Послать немедленно депешу: «приостановить вынос решения до получки дополнительных сведений. Зашифрованный подробный отчет следует. Аполлон Чижиков». Точка. Вполне достаточно.

— Х-м! — заметил задумчиво председатель, невольно оглядываясь на других и не зная, что сказать. — Х--м! — повторил он, собираясь с мыслями Он перевел взгляд на Колю Усова, и тот понял это, как сигнал.

— Пригубьте, ваше превосходительство, за любимую женщину!

— Я бы предложил вместе и за общественное рвение, — заметил любезно Чижиков.

— Нельзя совмещать, — предостерег секретарь, — если так совмещать, то, знаете, и выпивать будет не за что!

— Компот получится!

— В таком случае, за общественное рвение и верность службы. Любимая женщина не уйдет, да мы и не допустим! — и Чижиков выкатил круглый глаз из под томного века. Он улыбнулся широко, всем раскрытым ртом, показав ряд сверкающих зубов, и сделал приглашающее движение подвинуться всем к стойке. Они взялись за рюмки, выразительно посмотрели друг другу в глаза, поднесли их уверенным движением к приготовленным ртам, не отводя взоров, выпили, крякнули, и, храня еще молчание, взялись за блюда с закусками.

Когда они выпили за начальство и за общественное рвение, и Чижиков уже был готов

заговорить, но Коля Усов снова взялся за гравюру с таким унылым видом и такими брезгливо оттопыренными губами, что председатель и секретарь забеспокоились, как бы это не испортило дела в самый торжественный момент.

— Ну, а теперь за любимую женщины!

— А, за это плачется особо и с исключительным интересом...

Они снова выразительно посмотрели друг на друга, приподняв рюмки.

— Вот что я хотел бы сказать, — Чижиков похрустел упругим груздем на зубах, — я понимаю, что все это не спроста, что заминка — если такая и была на самом деле! — произошла исключительно от понятного движения. Начальство же надо подготовить, чтобы ничего не было с бухты-барахты. И не очень обстоятельно, а телеграммой...

— Какие расходы, так мы с удовольствием...

— Ну, какие расходы, помилуйте! — приятно улыбнулся Чижиков, повернувшись живо к Пушкареву, — это у меня из служебных. На этот счет не беспокойтесь, телеграмма будет: «подробный зашифрованный ответ следует. Аполлон Чижиков».

На этом и разошлись. Трудно было бы сказать, принесло ли это успокоение председателю и особо уполномоченным членам правления или нет. Хотя Ферапонтов и доказывал, что теперь ему все ясно, и беспокоиться нечего, председателя не переставала тревожить чижиковская легкость, с которой он заверял, что все будет хорошо. Одно заверение, что началь-

ство заглянет в суть дела, не давало много успокоения, так как именно в самой сути то и была, как они соглашались единодушно, закрыта собака. Во всяком случае ничего другого не оставалось делать, как ждать и надеяться на лучшее.

Слегка пошатываясь, но в самом наиблагодушнейшем настроении, Чижиков поднялся наверх и прошелся по комнатам Общества. Он заглянул на оживленные возгласы игроков в биллиардную, где ему тотчас же предложили сыграть, но он ответил обычной фразой, что давненько не держал в руках кия, и было бы весьма позорно теперь, при наличии таких биллиардных мастеров снова браться за давно забытое занятие. Он зашел в карточную комнату, где ему предложили подсесть к столу, но он так же отговорился, что не считает вправе сбивать, по неумению, игру таких крупных игроков. Ему все же придинули стул и он присел, приятно улыбаясь и поглядывая на карты своих соседей. Корявко несколько раз делал приглашающее движение втиснуться со стулом в круг игроков, и даже делал усилия приподняться, но Чижиков улыбался еще ласковее, качал головой и притрагивался рукой к груди в знак того, что поверьте моему слову, буду только всем портить игру!, в то же время успевая притронуться к своему вместительному бумажнику. «Ладно, ладно», думал он добродушно, «приглашай! Все равно напрасно! Знаю, на какие деньги метит деляга Максимович. Со дня не совсем удачного для бедняги

раздела мяса поди перестал есть говядину, боится, как бы кусок не стал поперек горла. А как к деньгам подбирается, не только хочет отбить, а не прочь и раздеть!».

Он продолжал сидеть, без особого интереса приглядываясь к картам соседей, а больше прислушиваясь к печальной игре шотландского волынщика, чувствуя, что несмотря на благодушное настроение, его начинало тяготить. В этом была некоторая усталость после большого времени, проведенного у стойки Коли Усова. «Да, пора, пора», говорил он себе. «Сегодня еще только смущенно лепечат, а завтра могут заговорить таким тоном, что совершенно не узнаешь этих милых, симпатичных людей. Да и Корявко, старый злодей, хищно подбирается к деньгам, ишь, как зазывает войти в игру, мало ему своей скромной доли, нет, нужно во что бы то ни стало забрать и чужую! Да еще этот расстроенный шотландец так жалостно играет, словно накликивает беду. Нет, на самом деле, пора, пора! Скорее в бричке по ухабам, скорее в юные луга!..»

Он прошел в гостиную и остановился около группы людей, разговаривавших о рыбной ловле, послушав с особенным удовольствием рассказы о том, как хорошо в теплую летнюю ночь на простую наживу идут лещи и как прожорливые пескари отгоняют крупную рыбу. Рассказ невольно расстрогал Чижикова, он расчувствовался и даже залез в свою записанную книжку, в отдел неотложных дел, где внизу у Коли Усова, в присутствии председателя и уполномоченных членов правления, он сделал вид, что сделал пометку о телеграмме,

но где по прежнему была одинокая пометка зосиного телефона. Его мысли перешли ко многим разнообразным вещам, что бывает у благодушно настроенных людей, заканчивающих приятное пребывание среди прекрасных людей, которые, к тому же, оказались такими поддатливыми на совсем неплохую сделку. «Нет», повторял он, «какие замечательные люди! А какой золотой человек Максим Корявко, просто не нарадуешься! А председатель, этот майский жук, до чего же ласковый! А старик в морщинах, какой теплый человек! Все обещал рыбный пирог свернуть, да видно не успеет, бедняга, огорчится, когда узнает об отъезде! Пора, пора! Смотреть в лицо румяным бабам, как друга целовать врага!.. А Ряшков какой отменный человек, настолько бывалый, что успел пожить на совместных квартирах чуть ли не со всеми мало-мальски известными людьми во всех частях света! Разве же это не особенный человек! Какие светлые, теплые люди! А буфетчик какой внимательный, все приглашает за любимую женщину, а как ко всему приглядывается, как прислушивается! — не оттого ли у него и вид такой унылый, что успел многому наслушаться в жизни, особенно у себя при стойке! Ах, нет, у бедняги просто такой формы губы и вытянутое лицо; а с другой стороны, все может быть, вопрос спорный, отчего может человек стать таким унылым! А какая приятная дама Елизавета Андреевна, как образована, только и интересуется научными библиотеками! Как не похожа она на Елизавету Воробей, которую под мужика хитрый Собакевич вписал в реестрик душ для

продажи господину Чичикову! А как далеко пошла, подумать, прошло всего сто с небольшим лет, и уже председательница Литературного Кружка! Какие все замечательные люди, как приятно сделать счастье таким, но все же пора, пора, как бы чего не произошло за это время!».

Пока таким образом благодушествовал Чижиков, вместе с тем переживая неопределенное чувство неудовлетворенности, к нему приблизился Ряшков, этот житейски опытный человек, который сразу же, уловив и правильно познав расплывчатое состояние своего гостя, предложил ему вернуться к Коле Усову, но на этот раз исключительно ради того, что на языке Общества называлось «осаже».

Внизу Чижиков вновь предался приятному чувству и не только потому, что у него оказался такой чуткий и отзывчивый собеседник, как Ряшков. Они поговорили о рыбной ловле в теплую ночь, когда ярко сверкают звезды над сонной черной водой и природа предается чувственному наслаждению; о том восторженном чувстве дружбы, которое создается у дымного костра за неторопливыми разговорами и воспоминаниями — все вокруг одной и той же темы: как чудесно жить на Божьем свете.

Но все же пора, пора, повторял про себя Чижиков, смотря с умилением то на Ряшкова, то на Усова, «тянет безудержно на свободу, в юные луга, но, увы, дела, забота о людях, общественная нагрузка... О, еслиб так, как хотела душа: в эту весеннюю ночь под открытое небо, темное или звездное, в луга...»

Весть об отъезде Чижикова распространилась так быстро, что не успел Коля Усов повернуться за своей стойкой, как о ней знали все, кто был в тот вечер в стенах Общества.

Когда в одиннадцатом часу ночи благодушно настроенный Чижиков поднялся наверх, к нему, спеша и волнуясь, но стараясь не показать этого, подошел председатель.

— Неужели, как я слышал, дорогой Аполлон Александрович, вы собираетесь покинуть нас? — спросил он, откинув в сторону подготовку, но с прежней умильностью кладя голову то на одно плечо, то на другое.

— Боюсь, что скоро, — со вздохом, но ласково ответил Чижиков, так же перекладывая голову с плеча на плечо.

— Но все же недельки две-три, а то и все четыре?

— О, если бы так! Ничего другого не хотел бы, но боюсь, что нет. Вы представить себе не можете, как я хотел бы остаться, или найти такую же группу сердечных людей, каких встретил здесь.

— А как же, как же вообще... — забеспокоился председатель, поглядывая то с лаской, то с тревогой на Чижикова. — Как же, к слову сказать, с Главным Центром?

— А все в порядке, — заверил его Чижиков.

— На этот счет беспокоиться не следует, и депеша, и объяснение, все будет сделано, а многое уже исполнено самым точным и соответствующим образом.

— Я понимаю и ценю это, дорогой Аполлон Александрович! Но с вами как то надежно и верно! Вы так отлично подошли к нам, к на-

шим нуждам, что мы частенько подумываем всем правлением, что останьтесь вы здесь на долгое время, мы обязательно провели бы вас в председатели.

— Меня, в председатели? Помилуйте, — за- протестовал живо Чижиков, — на такой вы- сокий, ответственный пост! Да еще на зани- маемый вами! Недостоен и недостоен, больше ничего не могу сказать.

— Достойны, да еще как! — отозвался пред- седатель, довольный тем, что прилгнув отно- сительно председательства, доставил удоволь- ствие Чижикову.

— Я ведь только' первый закоперщик, — сказал Чижиков, принимая скромный тон, чтобы отметить, что шутки — шутки, а дело делом. — Из первых, так сказать, объезчиков. И задание мое только установить некоторые опорные пункты, первоначальные точки. Те, кто следуют за мной, — Чижиков принял на- столько благоговейное выражение лица, по ко- торому можно было судить, как он относился к «тем, кто за мной», что председатель неволь- но сделал движение осенить себя крестом, — и особенно тот, у которого я рад считать себя самым малым помощником...

Чижиков остановился и задумался, опустив голову. Думал ли он о том, что слегка загово- рился, и что никому он не помощник, а совсем наоборот! — чему могло способствовать то об- стоятельство, что он побыл некоторое время в теплой компании Ряшкова, или в голове еще приятно бродили обрывки разговоров, мыслей, желаний, связанных с весной, с природой, с теплыми летними ночами... Как в такую ночь

жадно клюют лещи, как прожорливые пескари отгоняют от наживы другую рыбу...

— А кто же следует за вами? — спросил председатель особо умильным голосом, как дети, спрашивая о любимой игрушке, которую хотели бы получить.

— А Пескаревич! — ответил таким же умильным голосом Чижиков, не задумываясь ни на секунду, успевая в это же время подумать, не слиплись ли у него две десятки, когда он платил за ряшковское «осаже», и поднимая угол рта так высоко, что был виден ряд отличных зубов вплоть до хорошо развитого зуба мудрости.

— Пескаревич? — уж совсем благоговейным голосом переспросил председатель. — Но вы то, надеюсь, не навсегда? — «Навсегда, навсегда», — подумал Чижиков, продолжая с любовью смотреть на Пушкирева. — «Не каждый день у Корявко запаздывают скотопромышленники!».

— Надеюсь, что нет! Буду счастлив при первой же возможности побывать вновь в ваших прекрасных местах... Как только меня вызовут... Если только буду нужен по своим скромным способностям.

— Ну, что вы — скромным! — возразил горячо председатель, — такие несправедливые слова. А кто вызовет? — осторожно повел он ухом, — Пескаревич?

— А кому же другому! — ответил живо Чижиков, впрочем не совсем ясно. — И так, мне пора собираться!

— Как, сейчас, сразу же?

— Да, к сожалению, сейчас. Служба, ничего

не поделаешь! Не мне говорить вам, ваше превосходительство, о долге! Э-э, — он задумался на мгновение, припомнив недавний разговор внизу с членами правления, радуясь, что он прошел благополучно, — чтобы никого не беспокоить, я хотел бы попрощаться с вами и, не тревожа никого другого, убраться во свояси.

— Нет, нет, и тысячу раз нет! Как же можно, наш дорогой гость, так много сделавший для нас, и вдруг — был и нет! Что же тогда скажет мне правление — председатель и не устроил соответствующих проводов, банкета, речей и тому подобное.

— Что вы, что вы, ваше превосходительство, — не на шутку взволновался Чижиков, — какие там проводы, речи, банкеты. Ради Бога, увольте, человек я скромный, незаметный, не гонюсь ни за чем, мне бы только выполнить свой маленький долг и уйти в тень, пусть уж другие наслаждаются на банкетах, слушают хвалебные речи, приветствия, но только не я! Нет, увольте, и не уговаривайте, и времени нет, а еще меньше оснований... Так что, ваше превосходительство, как мне ни грустно, но нужно расстаться, опять в путь, в дела общественные, в службу, все, все, только ради нашего общего блага...

О многом еще говорил Чижиков, щедро расставляя то там, то здесь «ваше превосходительство», пожимая и отпуская руку растроганного председателя, сам растроганный и от своих слов и от слов Пушкирева, от умильного взора его любящих глаз...

Наконец Чичиков спустился с широкого подъезда Общества и ступил на тротуар, под звездный купол весеннего неба. Отойдя немногого, он остановился и, расчувствовавшись, долгим взглядом посмотрел на трехэтажный дом, на его освещенные окна. Вон там, в малой шуллерской заседают вдумчивые, серьезные люди за важным занятием, только время от времени нарушая тишину отдельными возгласами. Пусть, пусть занимаются этим увлекательным делом хорошие люди, думал Чижиков, не всегда можно так приятно сосредоточиться в шумной, беспорядочной жизни! Пусть занимаются, думал он, похлопывая себя по внутреннему карману пиджака, пусть отдыхает от забот и трудов такой золотой человек, как Максим Максимович. Ждал столько лет скотопромышленников, а когда они могли бы прибыть на запоздавшем поезде, взял и уступил кабинетные земли этим симпатичным людям! Да и взял хорошо, по своему, полной рукой, не то, что только бах-на-бах, а десять за один, если не больше! А как щедро, сам не ожидал этого, поделился с дорогим приезжим! Правда, после того знаменательного случая по-ди перестал есть мясо, но это неплохо, иногда следует давать отдых своему телу, а то так заплыл человек, что даже трудно шевелить пальцами в карточной! А как подбирался к деньгам, как приглашал, как зазывал, все думал, вдруг отобьет! Да и отбил бы, особенно, в содружестве с другими, как Ферапонтов, которому просто ради ясности, ничего не стоит обыграть доверчивого человека! А все же, замечательные люди, такие теплые, сердечные!

А как приятны, а как по детски привязчивы! С председателем даже нельзя было расстаться, готов был бежать на улицу в догонку, чтобы еще раз заглянуть в глаза любящим взором! Ах, золотые люди! А то, что произошла маленькая заминка на общественном поприще, купили под весеннее увлечение землю, от которой отвернулись даже скотопромышленники, так ведь это было сделано ради общественного блага! А кто не подпадал под весеннее увлечение, особенно в Зарубежье, где весна — все: прошлое, с запахом сирени, черемухи и лип, настоящее, правда, без этого аромата, будущее, в котором грезится в неопределенной близости или отдаленности весенний день полного возрождения! Кто не делал ошибок весной, не совладев с учащенным биением своего поддатливого сердца?! Да и дело небольшое, зато отличный случай показать свое рвение и порыв служить на общее благо! Не каждый день в российском рассеянии тысячи с лишним десятин проходят через сложный сдвиг от скотопромышленного загона до перемещенного центра Зарубежья!

О чем только не думается под ночным небом прекрасной весны, когда шелест ветвей, самое чистое дыхание воздуха находит готовый отклик в душе расчувствовавшегося человека! Как свежа ночь, как приятна она после продолжительного «осажé» даже с таким незаменимым человеком, как Ряшков, в присутствии такого внимательного человека, как Коля Усов! Сколько затаенного и необъяснимого подмывает это весеннее чувство в душе преисполненного умилением человека! Как

приятно холодит внезапный ветер, слегка шепчется в ветвях дерев, но совсем не так, как беспокойный шотландец, нагоняющий невероятное уныние своей скучной игрой на волынке. Нет, здесь, на свободе, ветер играет, как виртуоз, то на проводах, то на ветвях, то слегка, ради эффекта, громыхнет вывеской или железной крьшой; то замрет в томительной паузе, и опять, в новой вариации, повторит свой певучий лейт-мотив; то, как влюбленный лирик, наклонится таинственно над ухом и шопотом, в полголоса пропоет любовный мадrigal — все ради счастья, ради ночи, густо усеянной яркими звездами, ради неотразимых чар прекрасной весны!

А самое счастье! То, неожиданное, на случайном перекрестке жизни, которое становится вдруг неизмеримо близким и дорогим! Как в краткий срок наполняет оно душу и сердце, как смущает и радует человека! Как можно в прекрасную весеннюю ночь думать об укорах о загубленной жизни и пожертвованной юности, пусть даже подобные мысли появляются в ту минуту, когда поток счастливых мыслей грубо перебивается чем то неприятным, как тогда у стойки этого симпатичного, хотя и унылого на вид буфетчика. Но все сошло благополучно, никто не укорял в загубленной жизни, все прошло без слез, требований и запоздалых объяснений, правда, с несколько витиеватой речью о том, что ничего путного не выйдет из пустого заглядывания в даль неизвестного.

Весна в полном обладании своих чар веяла над гостеприимным городом, над приземистым

домом, оставшимся позади и скрытым высокими деревьями сквера, в котором судьба собрала таких прекрасных, деятельных людей, без которых не было бы счастья — по крайней мере, его, чижиковского!, даже того небольшого, случайного, найденного на перекрестке, на полустанке жизни, на путевой остановке.

На путевой остановке! .. А впереди путь, дорога. Ах, что только не делает она с человеком, да еще прекрасной весенней порой! Мало того, что открывает ему новые, не-ферапонтовские дали, зачаровывая его своим неудержимым бегом, она уносит его от того, чего он боится больше всего на свете — от застоя. И откуда у человека эта непоседливость, постоянное стремление куда то!? Тут и неудовлетворенность, желание вздохнуть полной грудью вольный воздух полей и лугов, неудержимое стремление насытить свой глаз, порыв беспричинный вперед, вперед, под несущееся на встречу небо, под весенние облака, в ту даль, которой не найти предела...

Дорога, да еще под ласковым весенным небом! Куда теперь повезет она благодушно настроенного Чижикова, не забывшего несколько раз похлопать себя по внутреннему карману пиджака: все ли благополучно в родном гнездышке, близко у сердца, не забрались ли туда, ненароком, злодеи, а еще опаснее — друзья, вроде Ряшкова — хотя с тем можно отыграться простым «осажé», а то и похищнее, вроде Корявки, который не спит, не ест, по крайней мере мяса, и все думает, как бы отбить то, что раз выпущено из рук! Нет, в дорогу, в далкий путь, на чем бы то ни было, на

тройке, на «конях-птицах», которые и по сию пору не перестают носиться по свету, тревожа народы и материки!.. А то по современному: на поезде, океанском корабле, на пассажирском самолете... В дорогу, пора, пора.

## XVIII

### ВСПЫШКА МАГНИИ

Весть о внезапном отъезде Чижикова и предполагаемом приезде нового лица быстро облетела все Общество. Не успел председатель взбежать на круглых ножках по лестнице после проводов Чижикова, как о приезде «того, кому я недостоен, и т. п.» знали все. В значительной мере помог этому Коля Усов, не зря прислушавшись внимательно ко всему сказанному у его стойки.

Никто не знал, почему до самой последней минуты своего отъезда Чижиков никому не сказал, что за ним едет представитель выше его по рангу и положению. Опытные в житейских делах люди объясняли это присущей человеку слабостью в желании играть роль и не понизить себя в глазах других, особенно, когда его так хорошо встретили в Обществе. Они припоминали слова Чижикова, как он пострадал в жизни, чтобы указать, что это обстоятельство выработало в нем скрытность и замкнутость. Но на этой характеристике не остановились, так как нашлись лица, которые считали, что Чижиков был себе на уме, что отчасти было понятно, если учесть, что он попал в

Общество по конфиденциальному делу Главного Центра. К этому мнению особенно прислушивался Корявко, при чем цвет лица его неизменно менялся и он даже порывался по-расказать, как жестоко пострадал в жизни, сперва от скотопромышленников, но тут с особой яркостью представлял перед ним образ Чижикова, повернувшего блюдо с большим куском говядины в свою сторону. Он закрывал глаза, заметно синел, и опять уходил в себя. Ряшков также соглашался, что Чижиков был себе на уме, прибавив к этому еще и то, что он был скуповат, — совсем забыв о недавнем «осажё», — что совершенно не замечалось за ним в старое время, когда они жили где то вместе. Относительно же того, что за Чижиковым следует другой, человек более высшего положения, Ряшков знал давно, но по молчаливому соглашению никому об этом не говорил, пока тот сам не рассказал. «Было бы странно», говорил он, сворачивая для убедительности трубочкой верхнюю губу, «чтобы за Чижиковым не послали более старшего», так как роль первого сводилась только к тому, «чтобы провести первую межу, а пропахивать будут другие». Ряшков признавался, что в свободные минуты он долго ломал себе голову, кто же это будет делать, но теперь все стало ему совершенно понятно.

Председатель Пушкарев прислушивался чутко то к одному, то к другому мнению, соглашаясь с одним и не возражая против другого. Теперь его мало интересовало то, что делал Чижиков и какое положение занимал он, был ли он себе на уме, суховат и даже скупо-

ват, так как все его мысли и надежды были направлены только к ожидаемому приезду Пескаревича.

Всполошились от вести об ожидаемом приезде нового лица секретарь и Молибога. Первый время от времени выбегал на парадное крыльцо, смотрел налево и направо, особенно вниз по дороге, прикрыв козырьком руки глаза, нет ли каких знаков скорого прибытия. Второй же только охал, собирая на лбу лишний запас морщин.

— Что делается! — повторял он, ища слушателей. — Наезжает такой, что главное его и нет...

— Ну, это ты, старик, слегка завернул, что главное нет! Что старше, верно, а насчет того...

— Не завернул, а ты бы послушал сам, что они сказывали: приедет, все порешит к лучшему. Если что подзагажено, не беспокойтесь, все как рукой снимет.

— А где разговор был?

— В коридоре, рядом с малой шуллерской, у вешалки. — Молибога выводил людей и показывал им, где недавно с склоненными на бок головами стояли Пушкирев и Чижиков. — А я вон там, у стола в передней. Все было слышно мне.

— Действительно, — приговаривали они задумчиво, словно эта деталь придавала окончательный вес словам Могибога.

В карточной комнате весть о приезде нового лица также всколыхнула всех, и во время пасковки или сдачи карт, вместо того, чтобы сказать, с какой руки следовало бы пойти, или почему небросили таких то карт, говорили:

«Значит вот кто едет теперь к нам — Пескаревич! Ну, дай Бог, чтобы все выправил!», и снова углублялись в карты.

Имя заместителя Чижикова Ряшков впервые услышал в тот же вечер, изогнувшись над партионным шаром. Он сразу же выпрямился, положил кий на биллиард, и с величайшим интересом, забыв об игре, повернулся в сторону Молибога.

— Пескаревич? — переспросил он, сразу же начиная перебирать в уме свой необыкновенно обширный адресный стол. — Я хорошо знал четырех братьев Пескаревичей. Один был при конной артиллерии, другой вышел в драгуны, а два штатских, званьем неизвестных... Такие были разбойники, первые на всю губернию! А выпить как могли, а поесть! — конный артиллерист яичницу из дюжины яиц заказывал и еще повторял! А насчет всего спелого и неспелого, здесь уж все одинаково, без разбора, и старшие и младшие, такие доки на счет всего дамского, только держись! Косили слабый пол, как траву... Не знаю, кто же из них может пожаловать к нам. Уверен почему то, что конно — артиллерист. Вот поговорим тогда вдоволь, старое вспомним! Мы с ним столько всего хватили, и горя и радости, слез и смеху...

Внизу, в ресторане, балалаечники спешно готовили новый номер, назвав его «Маршем Пескаревича», при чем ради местного колорита ввели в него припев из коронной Коли Усова «Что мне горе». Сам же Усов, оставаясь по прежнему самим собой, после приглашения выпить за любимую женщину, неизменно до-

бавлял: «ну, а теперь выпейте или пригубьте за Пескаревича».

Теперь все мысли не только председателя были направлены на ожидаемый приезд Пескаревича. Когда он приедет, никто еще не знал, и председатель не мог простить себе, что не спросил подробно обо всем Чижикова, хотя припоминал, что тот упомянул четверг, а самое позднее субботу. Правление выслушало своего председателя и решило подготовиться соответствующим образом к торжественному дню приезда Пескаревича. Вновь появилась прежняя уверенность и энергия, словно ничто не затмевало еще так недавно думы и надежды этих преданных общественным заботам людей. Председатель Пушкарев провел экстренное собрание, на котором были разработаны детали встречи.

— Главный вопрос в том, — повторял он, обводя озабоченным взглядом свое правление, — чтобы оставить на приезжего самое лучшее впечатление и таким образом выправить э-э-э некоторые ошибки недавних дней. Как только это сделать я и просил бы господ членов собрания высказаться вообще и по существу.

Как это сделать, не оставалось ни в ком никакого сомнения, такая приветливая, живая группа да не могла бы произвести самого приятнейшего впечатления! На это председатель по своему долгу возразил, что он не беспокоится относительно выигрышных качеств своего правления, — кому, как ни ему, знать об этом! — но считал долгом сделать поправку, что они собираются встречать не случайного гостя, а особоуполномоченного, который

отлично разбирается во всем с первого же взгляда. Поэтому было бы мало встретить высокого гостя балалаечным оркестром и небольшой речью на банкете, а надо бы что то особенное, да так его преподнести, чтобы сразу же завоевать к себе добрые чувства.

На это сразу же возразили, что кому-кому, но правлению не придется краснеть, оно так встретит кого угодно, включая самые наивысшие сферы. что и век не забыть.

— В том то и дело, — пытался перекричать всех секретарь, — как это сделать, чтобы в век не забыть? Как это понять?

— Очень просто, если до сих пор еще не ясно некоторым, — возразил Ферапонтов. — Зачем же только балалаечники, да речи! Небось за свою жизнь они такого понаслышались, что их этим не удивишь. У нас есть кое что и другое.

— А, ну-те? — наклонился вперед председатель, передвигаясь ближе к Ферапонтову.

— А день культуры, — ответил просто Ферапонтов, даже не проводя рукой по голове. Он принял самое скромное выражение лица, но заметно радуясь своим словам. — Но день культуры устраивают повсеместно, а мы устроим вроде этого, но несколько другое и под другим названием.

— А именно? — пошевелился нетерпеливо председатель.

— Именины Зарубежья. Культурное празднование Зарубежья с чтением, с докладами, музыкальными номерами. Если мало, тө с выставкой отечественных предметов искусства.

— Какая эффектная мысль!

— Именно — именины Зарубежья!

— На это каждое начальство отзовется. Даже какой ни на есть сухарь. — Сказавший это обвел глазами всех и задержался на Грозе и Псицыне, — который старый сухарь, говорю, и тот оттает. Если Пескаревич не сухарь, то лучшего и не придумать.

— А позвольте спросить, — задал вопрос Ряшков, но тотчас же перебил себя, повернувшись живо в сторону только что закончившего свое слово: — то, что Пескаревич не сухарь, могу любого заверить в этом. Так вот, позвольте спросить, — поднимаясь во весь рост, как он всегда делал, когда говорил что либо веское, — это что же, день культуры, или, как вы называете, именины Зарубежья, устроить, как бал, вечер или просто вечеринку?

— Вопрос поставлен по существу, и очень даже. Желательно было бы поставить на обсуждение и проголосовать.

— Х-м! — задумался председатель, ожидая, не выскажет ли ктонибудь раньше его. — Если устроить бал культуры или, как мы назовем его, именины Зарубежья, то как бы начальство не решило, что мы по каждому слушаю, надо или не надо, устраиваем балы. За это, знаете, оно, да еще строгое, по головке не погладит. Устраивать же вечеринку, — тут председатель задумался, пожал в нерешительности плечами, — да еще вечеринку культуры, до этого по моему просто не принято...

— Так опуститься, чтобы устраивать вечеринку культуры, — завопил яростно секретарь. — Если приняться за такие дела, то Бог знает до чего можно дойти в самое короткое

время! Отставить вечеринку, что-что, только не это!

— Само собой разумеется! — успокоил его Ферапонтов.— Если что и устраивать, то только вечер, торжественный, полный достоинства и гордости. Но сделать это так, сложно это у нас повседневное явление, не подогнанное специально к приезду кого то, а в порядке очереди, для поддержания вообще традиции и культуры. А вот с программой...

— Да, а как же с программой?

— Выбрать комиссию из опытных постановщиков.

— Верно, — согласился председатель. — Кто у нас опытные постановщики? Прошу называть имена.

Оказалось, что опытные постановщики все, включая даже Грозу, так что вопрос об избрании комиссии отпадал сам по себе. Все осталось было легко, оставалось только решить, что внести в программу, имеющее отношение к культуре. Пока шли обсуждения, Ферапонтов быстро наносил на бумагу свои творческие мысли. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, занятый на вечер из малой шуллерской, на эстраде кадки с растениями, подумать, откуда только их взять. Вдали места для балалаечников, встречный марш с припевом «Что мне горе!». Приветственные речи председателя, вице-председателя по отделу культуры (сам), председательницы Литературного Кружка Елизаветы Воробей...

В живых обсуждениях по устройству именин Зарубежья решено было предоставить слово различным представителям бывших

классов и профессий, но наиболее опытные постановщики задумались над тем, что в этих обращениях один невольно скажет о компоте, а другой о шансонетках, а если послушать третьего, то тот обязательно возмется за историю и почерпнет оттуда такой материал, как покушение на далматского князька в прошлом столетии. Все соглашались, что рассказ может быть и не лишенным интереса, но опытные постановщики поднимали вопрос о том, как такой факт «присобачить ко дню культуры и именин Зарубежья», тем более, что из среды присутствовавших вызывались добровольцы выступить с докладом на более жизненные темы. Так, например, Гроза предлагал рассказать о тарифе и сквозном грузе, а Ферапонтов о генеалогических древах нарастающего дворянского класса в Зарубежье. На первое предложение отозвался Райковский, сказав, что он может отнести к таким предложениям исключительно как скептик, а секретарь, удерживая себя, чтобы не сорваться, сказал, что «это, знаете того, чтобы говорить об этом...». Он не договаривал, но все знали, что он хотел сказать, что нужно же так опуститься, чтобы на именинах культуры заговорить о жмыхах, бобах и сквозном грузе. Несколько слов сказала и председательница Воробей в форме простого, но не лишенного некоторой заковырки вопроса, «что интересно было бы знать, не устраивает ли какое нибудь другое общество подобную программу на именинах культуры, или это только у нас здесь». Она не могла не удержаться, чтобы не ответить самой себе, что если устроить такое выступление, да еще в та-

кой день, так это просто дать себя на смех всего мира, не говоря уж о Главном Центре. О генеалогических же древах мнения сразу раскололись, одни считали, что это почти тоже самое, что и о жмыих и грузе, а другие возражали — «нет, не скажите, совсем иное», так как еще неизвестно отношение к этим древам начальства, а вдруг оно проводит ту же самую мысль, что и вице-председатель, о нарождении нового класса дворян из среды испытанных зарубежников. Если так, говорили они, то доклад о генеалогических древах, даже самый краткий, но приуроченный к приезду Пескаревича, должен принести самые желанные результаты, и надо только приветствовать такое обращение. Некоторые же, причислившие себя к Литературному Кружку, вспоминали о недавней жалобе Ферапонтова, что кто то распространял слухи о нем, что его дядя вырубал на родине вишневые сады, а он единолично взялся за насаждение генеалогических древ в Зарубежье. Они опасались, как бы не вышло какой нибудь связи во вред Обществу, особенно из за недавнего перебоя. Какого, они не говорили, да это было ясно и так. Председатель Пушкирев, вначале склонный в сторону одного мнения, сразу же переменил взгляд, опасаясь, как бы на самом деле не вышло чего либо не в пользу Общества.

— Генеалогические древа отставить, — замахал руками секретарь. — Чтобы не вышло того, знаете... Взяться за другое, а первым делом опросить желающих, кто с чем может выступить.

Каждый знал, что спрашивать не было не-

обходимости, так как выступить мог даже такой, как Митя Плющин, который, как ни был застенчив, все же мог бы порассказать о своей грудной жабе так, что заслушались бы даже те, кто сами расположены к подобному недугу. Но они не могли не сделать поправки, что такой рассказ вряд ли подошел бы к торжественному дню культуры; а скорее отнесся бы к области о том, как и за что можно пострадать в жизни. Но когда Псицын попросил слова, то все отнеслись к этому иначе, так как это был не такой человек, чтобы делать несерьезные предложения. Псицын вынул замшевый чехольчик, достал щеточку и провел несколько раз по усам, скашивая для проверки на них глаза. Покончив с расpusшиванием усов, он вскинул глаза к небу, похлопал несколько раз веками, и после этого сказал, что он с удовольствием прочел бы обстоятельный доклад о сыске.

—А как бы вы это сделали? — полюбопытствовал председатель, кладя голову на плечо и поглядывая с приятностью на него.

— Начал бы я так, — ответил Псицын, оглядев внимательно всех, словно видя их впервые. — Начал бы я с того, — он остановился, поднял вверх палец, заговорив торжественным тоном: — с младенческих лет земли человечеству известны гастрономия и разврат. Но откуда же достать нужные средства, чтобы, раз поддавшись, можно было бы служить этим порочным, но столь увлекательным пристрастиям? Вэт тут то человек, — Псицын остановился и принял хитрый вид изощренного в сред-

ствах человека, — вот тут то, повторяю, человек и придумал сыск!

— Оригинальный вывод! — заметил Райковский, — захватит любого скептика.

— Х-м, гастрономия и разврат, — заметил председатель, — действительно, должно быть увлекательно!

— Издавна известно, — подтвердил Ряшков, человек знающий и опытный. — Ближе и теснее связи не найти!

— Теперь вас, мужчин, не сдвинуть с места!

— Во всяком случае, — сказал Ферапонтов, делая вид, что не слышал замечания председательницы Дамского Кружка, — я предлагаю поставить вопрос на обсуждение, а потом проголосовать. Время не терпит, по всем данным надо ждать приезда Пескаревича со дня на день. Ведь так кажется сказал Чижиков?

— Точно мне об этом Аполлон Александрович не сказал, — осторожно ответил председатель, — но дал ясно понять, что между четвергом и субботой.

— У меня лично осталось твердое убеждение, что в субботу.

— Видите! — сказал председатель, посмотрев испытующе на Ряшкова, ясные ли у него глаза или нет. Глаза оказались не только ясными, но и подкупающе-правдивыми. Заглянули в ряшковские глаза и все остальные, и так же нашли их правдивыми, а подвернутая губа казалось говорила, представьте себе, что это так.

Никто не помнил, что еще не так давно, всего лишь несколько дней тому назад, Ряшкова сперва чуть не прибили, а затем терпеливо

выслушали его историю о Рауле-точены-ляшки и военном чиновнике Казнолюбе. Казалось, что ничем не были омрачены еще столь недавние дни, в которых так много было перенесено. Но кто будет вспоминать о пронесшейся буре, о прошлогоднем снеге, когда впереди опять настают безоблачные дни! Когда, как и прежде, можно взяться за привычную работу планирования, созидания, творчества. Теперь все сходились на одном мнении, что отъезд Чижикова был весьма кстати: побыл несколько дней, пригляделся, понравился, сам остался доволен, вспахал первую межу, а теперь дело за Пескаревичем. Подготовленные к его приезду, договориться осталось малым делом, после чего надо было только повернуть дело так, что вышло бы одно удовольствие. Но председатель Пушкиров поднимал предостерегающе палец и говорил, что в общественном деле, да еще в таком важном, нет удовольствия, а служба, один священный долг.

В связи с улучшением настроения среди членов правления, изменилось оно и у Корявко, которому вернулся здоровый цвет лица. Он заставил себя забыть о Чижикове и теперь чутко прислушивался ко всему, что говорилось о Пескаревиче.

— А не едут ли с Пескаревичем какиенибудь дельцы? — спросил он правление, и на вопрос, «какие же именно дельцы», прохрипел после минутного молчания: — а скотопромышленники?

На вопрос, почему же с особо уполномоченным Главного Центра должны ехать дельцы, и особенно скотопромышленники, Корявко от-

ветил, что именно этот вопрос он и хотел задать, только в иной форме: — «едут или нет?». Когда же председатель решил поставить вопрос на обсуждение, а позже и на голосование, Ряшков поднялся, хлопнул крышкой портсигара, но не заглядывая туда, и твердо сказал, что ни о каком приезде дельцов, а особенно скотопромышленников вместе с Пескаревичем не может быть и речи. Потом, само собой разумеется, и в большом количестве. Но теперь — нет.

Пока шло заседание Могиленко не переставал беспокоиться, что лионские братья обязательно сорвут приезд Пескаревича. Он припоминал свой недавний разговор с лионским братом, пытаясь догадаться, что тот подразумевал под своими словами. То, что под ними таился глубокий смысл, не оставляло в нем никакого сомнения.

После заверения Ряшкова, что приезд Пескаревича не связан ни с кем другим, Могиленко сделал запрос, а не будет ли с приездом этого высокого гостя какогонибудь необычайного явления? На вопрос какого же именно, он ответил, что не решается открыто говорить об этом, так как ему было сказано доверительно. При этом Могиленко изогнулся и пристально посмотрел на электрический шар под потолком.

— Это что же, — спросил Ферапонтов, как и все, следуя взгляду Могиленко, — не оттуда ли?

— Оттуда, — признался Могиленко таким сдавленным голосом, что Корявко быстро открыл глаза и внимательно посмотрел на него.

— А что же он сказал доверительно? Так как то не ясно, по крайней мере для меня.

— Именно, что доверительно...

— Люди свои, — заметил председатель, обведя рукой и показывая на всех собравшихся, — где-где в другом месте нельзя было бы скататься, а здесь, да еще при своем председателе...

— Длинный разговор был, — нехотя признался Могиленко, словно не решаясь продолжать.

— А суть то?

— Суть та: все, говорит, откроется при ярком белом свете.

— Х-м! — задумчиво протянул председатель, поглядывая то на Могиленко, то на других. — Не поставить ли вопрос на обсуждение в виду того, что доверительно...

Правление готово было задуматься, но решительный секретарь сорвался, замахал руками, засверкал угрожающе стеклами очков, все для того, чтобы сказать, что если начать с того, что на собрании, при полном кворуме, заниматься спиритическими вещами или мракобесием, то это, знаете, до того можно дойти, так опуститься, что только...

Программа была разработана так, что в какое время ни попал бы Пескаревич, он застал бы Общество подготовленным к его приезду. На тот случай, если Пескаревич прибыл бы совершенно неожиданно, было установлено дежурство, которое немедленно должно было быть вызвать председателя, любого из вице-председателей и секретаря.

За это время все успели сжиться с Пескаревичем, словно он на самом деле был уже давно среди них. В ресторане Коли Усова, в углу для своих — в «детской», ему отвели почетное место, и каждый раз, собираясь там, поднимали рюмки в его сторону. А тем, кто выражал сомнение, что рано так поступать с Пескаревичем, что он вообще может быть строг и недоступен и кроме сельтерской воды ничего не пьет, Ряшков принимал оскорбленный вид и восклицал: «Пескаревич, да не пьет! Да он так глушит, только держись!

Секретарь продолжал нетерпеливо выбегать на подъезд и вглядываться вверх и вниз по улице, нет ли каких знаков прибытия высокого гостя.

Наконец наступил день празднования именин Зарубежья. К этому времени среди членов Общества совершенно окрепла вера в то, что этот день будет исключительным и что к нему обязательно прибудет Пескаревич. Об ожидаемом приезде не переставал твердить председатель, а Ряшков не только поддерживал его, а хлопая таинственно себя то по сердцу, то по внутреннему карману, давал всем знать, что у него на этот счет были неопровергимые доказательства. Лихорадочный секретарь не переставал выбегать на подъезд, чтобы взглянуть, нет ли каких знаков, и повторял: «вот, вот понаедут!». Этой верой наполнились даже такие лица, как скептик Райковский и пессимист казначей, и даже Корявко все чаще открывал глаза и пытливо всматривался в лица,

словно на них был ответ на его навязчивый вопрос, едут или нет с Пескаревичем нужные дельцы насчет перекупки общественной земли.

— Рассказывал мне один знакомый, — говорил Ряшков, оперевшись тверже о стойку колиного буфета локтями и обращаясь к собравшимся слушателям, — как в Европе, в крупных центрах устраивают День Культуры. Торжественность — сверхъестественная! Старые сенаторы, кто еще в живых, ученые, профессора, писатели выступают с речами, тут же на эстраде духовенство, генералитет, знамена, флаги, пальмы. У каждого в мыслях эдакая торжественность и напряженная важность. Зачитывают приветствия со всех точек всероссийского рассеяния, от организаций, комитетов, крупных лиц, одно лучше другого. А после официальной части дают для души. Выходят на эстраду балалаечники гуськом, мелкими шажками, в цветных бархатных шароварах, кафтаны с царскими орлами, сафьяновые сапоги, балалайки тесно прижаты к бокам. Все стрижены под скобку. Красота умопомрачительная!

— У нас Общественный Комитет мог бы больше проявлять себя. Пусть не так, как в столице...

— Да и проявляет! — заметил другой. — Нет, нет, смотришь, панихида какуюнибудь справит.

Ряшков поговорил бы еще, но пронесшийся мимо секретарь крикнул, что если так прохладиться около стойки в День Культуры, то... Остальных слов не было слышно, но и так все знали, что он хотел сказать.

Верхние комнаты Общества быстро заполнились посетителями, но председатель Пушкирев не хотел пускать их вниз, пока не будут сделаны последние приготовления. Озабоченные устроители празднества бегали то наверх, то вниз, сбивая себя и других с ног, и только один Молибога сидел у своего обычного места за столом в передней на выжидательном посту, да и тот был заражен общей суетой, так как поминутно вытаскивал свои часы-луковицу, поглядывал на них и даже подносил к уху прислушаться, идут или нет. Секретарь задерживался на момент то около одного, то около другого, чтобы успеть сказать, что с заботами и приездом начальства «уже дошел до точки» и теперь начнет метаться по настоящему.

Для увековечения дня решено было сфотографировать членов правления и устроителей празднества. Мысль была принята всеми, но одни стояли за то, чтобы сняться вместе с Пескаревичем, когда он прибудет, в полном почете и окружении; другие же считали, что нельзя до бесконечности держать публику наверху, а еслипустить ее вниз до снятия фотографии, то трудно будет ограничиться только членами правления и устроителями, так как каждый из толпы обязательно постарается пробраться и примкнуть к группе чтобы и его увековечили на фотографии. Они ничего не имели против этого, но высказывали опасение, что если допустить всех, то у зрителя рассеется внимание и вместо того, чтобы сосредоточиться на главных 15—20 лицах, ему невольно придется рассматривать всех, кто обязательно

всунется в групповой снимок. С этим резонным доводом нельзя было не согласиться, и нерешительный председатель соображал, что же предпринять, сняться ли сейчас или тогда, когда прибудет Пескаревич. Он колебался бы и дальше, но Ряшков сделал предложение, которое сразу примирило всех: сняться теперь, как есть, но только своей группой, а затем, когда прибудет Пескаревич, сняться всем, и тогда пусть примыкает каждый, кто хочет, чем больше народу, тем будет лучше, так как все равно важен только первый ряд, в котором и усядется все правление со своим председателем и Пескаревичем в центре.

Небольшой спор возник также относительно центра. Был поднят вопрос о том, кого посадить в самой середине первого ряда, если сниматься без Пескаревича. Было предложено оставить это место пустым, с тем, чтобы каждый отметил, по традиции Общества, что оно было отведено главному всезарубежному председателю. На это возразили другие, что само собой разумеется так и должно было бы быть в любое другое время и по любому другому случаю, но только не в День Культуры. На вопрос, почему же не в этот день, они ответили — не без резонного довода — что как бы посторонние не истолковали превратно пустоту в середине первого ряда, как брешь или изъян в самой культуре. Над этим доводом все невольно задумались крепко и после глубокого раздумья решили поместить фотографию всезарубежного председателя, но она оказалась размером чуть больше почтовой открытки, так что все равно ее не было бы видно. Председа-

тель Пушкарев уже начал поглядывать выжидательно на Ряшкова, но решение пришло от председательницы Воробей, предложившей в этот день поместить портрет того, кто имел самое прямое отношение к русской культуре. К вопросу Ферапонтова, чей же такой портрет, примкнул и Пушкарев, немало озадаченный словами председательницы о том, у кого есть прямое отношение к культуре, а у кого его нет. На что Елизавета Воробей ответила, что за таким портретом далеко ходить нечего, а взять то, что имеется, и указала на стол на эстраде, покрытый зеленым сукном, откуда из тяжелой рамы рядом с кувшином воды для докладчиков смотрел на них насупленно-сурово поэт Некрасов.

Длинноногий фотограф-чех в коричневом бархатном жакете и клетчатом жилете уже несколько раз скрывался за черным пологом, и тогда казалось, что у аппарата была не тренога, а пять одинаковых по толщине подпорок. Он выходил из под полога, осматривал внимательно группу, делал критические замечания, отстраняя в это время рукой Ряшкова, все порывавшегося нырнуть под полог, чтобы убедиться самому, что все ли в фокусе. Пока Ряшков мешал озабоченному фотографу, в помещение успело набиться много гостей, которые при виде такого важного события не могли удержаться от критических замечаний и добрых советов, как усадить группу и как ее снять.

Старомодный чех, не верящий в новшества и в фотографические лампочки для вечерних снимков, подготовил магний для вспышки. и

уже начинал нетерпеливо шарить по карманам в поисках спичек. Оглядел еще раз критическим взглядом группу, чех уже был готов сказать: «пфот из этого аппарата сейчас вылетит прекрасный птичка», но Пушкарев приостановил его, заметив, что секретарь выбежал посмотреть на крыльцо, нет ли новых приезжих и еще не вернулся. Чех еще раз нырнул под полог и, сделав последние приготовления, внезапно побледнел от артистического напряжения и взялся за резиновую грушу. Настал тот торжественный момент, когда оставалось только зажечь белым пламенем магний, судорожно сдавить грушу, и затем, после секундной выдержки, отбросить ее, как раздавленную розу.

Но в это время в дверях показался озабоченный Ерофеем Гроза, расстроенная до слез Зоя и секретарь. Что произошло там, неизвестно, но секретарь ворвался с таким осатанелым видом, в каком его еще ни разу не видели.

— Отставить групповой снимок, — завопил он надсаженным голосом. — Отставить все, что есть. — Он остановился, чтобы перевести дух, забежав, весь искривившись от лихорадочного волнения, между камерой и группой, и крикнул в самую гущу подготовленных слушателей: — Пескаревича — нет, не было и не будет. Пескаревич — миф и фантасмагория!

От слов секретаря первым дрогнул впечатлительный чех, чиркнув дрожащей рукой спичкой по магнию и затем, после слов о мифе и фантасмагории, падая вперед, со всей силой навалился на резиновую грушу. Яркое пламя озарило всех в тот момент, когда они меньше

всего ожидали: потрясенные вестью секретаря, они пришли в неописуемое замешательство, когда следовало хранить на лицах выражение, соответствующее торжественному случаю. Кто только вскинул руками, как бы прикрываясь от вероломного удара; кто с лязгом дрогнул челюстью и так и остался с широко раскрытой пастью; кто невероятным образом скрутил шею и уставился на секретаря с выражением не только крайнего недоумения, но и ужаса; кто стремительно поднялся с места, весь скрючившись, словно его внезапно пронзили нестерпимой болью.

В ослепительном пламени магния продолжались мгновения этого мучительного оцепенения, правдиво увековеченные на чувствительной пленке чехом-фотографом. И только казалось, что один Некрасов смог сохранить покойное состояние духа, хотя его глаза и смотрели с портрета с еще большей суровостью и желчностью, словно желая сказать с осуждением: «ах, что делают!».

Сан Франциско — Азабу, Токио.  
1945 — Декабрь 1954.

spring day and night in the Fillmore Street region of San Francisco has decided excellencies of observation and sense of form.

*Books Abroad*  
University of Oklahoma Press  
1937

\*

Справедливость требует отметить талантливый рассказ Петра Балакшина «Весна над Филмором»... У Балакшина страстный тон, хорошее дыхание, завидная неутомляемость, уменье завлечь читательское внимание.

*П. Пильский*  
*Сегодня,*  
*Рига, 1937*

\*

Peter Balakshin is particularly outstanding. One of his stories, "Spring over Fillmore Street" is a gem. I have never suspected the existence of so much color, romance and adventure in that polyglot part of San Francisco. Balakshin describes just one day and night in the sun drenched, briny air of a San Francisco spring, and he packs his story with a quantity of incidents, accidents, whimsical musings and pointed observations.

*San Francisco News*  
1937

\*

«Возвращение к первой любви»— сборник очерков и рассказов, любовно выношенных автором за годы эмиграции, в периоды «случайно схваченных работ... в дни терпеливого сидения в бюро труда»... Рассказы сжаты, красочны, поднимают настроение, читаются легко... В Америке отдельные штаты и города гордятся писателями, вышедшими из их среды. Мы имеем полное право гордиться П. П. Балакшиным.

*М. Г.*  
*Русская Жизнь*  
*Сан Франциско, 1953.*

## *ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ, начало ви́трии обложки*

В рассказе «Весна над Филмором» так ярок местный американский колорит, так художественно-убедительны детали, так умело связаны в одно целое отдельные эпизоды, что испытываешь при чтении его подлинное эстетическое наслаждение. Особенно подкупает в рассказе стилистическое искусство, с каким автор достигает единства художественного впечатления... Рассказ «Весна над Филмором» дает Петру Балакшину право занять достойное место среди русских зарубежных прозаиков.

*А. Бем, Меч, Варшава, 1937*

\*

Все, что пишет он в рассказах, в естестве своем русское, русское в характере исканий и в приемах письма. Его «губерния» — русская до-советская культура. Она с ним, будь то в Сан Франциско, то в Токио, Лос Анжелесе или в Сеуле. Это она открыла его внутреннее зрение до безжалостной зоркости, а в чувства влила жалость ко всему на свете... Балакшин не только приемлет жизнь со всем, что в ней находит, но он боится миновать что либо из общей людской судьбы. Выбирать, судить, карать — не его путь. Благородство и низость, душевный свет и потемки разума, мечты поэта и плотоядность двуногого сплетаются в его рассказах, и говорит он о них точно все это изведал, ни от чего не отрекаясь. Он все время скоблит покров жизни (быт), заглядывает за него и ищет в каждой подробности особое значение... Автор делает намеки на «достоевщину». По существу — это «балакшинщина», явная во всех рассказах, с терпкой закваской изощренного сознания и с грудящимися образами, с которыми иной раз трудно справиться перу, но достаточно волнующими, чтобы передаться читателю и в намеках. След русского рассения в родной литературе Балакшина оставлен.

*Александра Мазурова, Русская Жизнь, 1953*

\*

Издательство «Сириус» выпустило в свет три тома рассказов, принадлежащих талантливому перу Петра Балакшина... Внимательные читатели давно заметили, что у П. П. Балакшина бесспорно есть тот, свыше в колыбель кладомый благодатный талисман, отсутствие которого нельзя потом возместить никаким усердным подражанием, никакими искусствами перепевами чужих творческих мелодий. О наличии подлинного самостоятельного таланта неизменно говорит его сердце, всегда отзывчивое к человеческому страданию, его зоркий глаз, его цепкая память и его благородный разборчивый вкус. Его муга-вдохновительница всегда нежная и жалостливая, однако без тени слажевой чувствительности и слезливого ханжества.

Есегда правдивый автор символической «Весны над Филмором» мужественно сознает, что «в чьем сердце нет весны — тому весны не знать», и что великолепный ароматный расцвет природы не греет целебно многие души, скорбящие и озлобленные, для которых «возвращение к первой любви» навсегда закрыто.

Проникновенное сострадальческое изображение трагического одиночества во многих прекрасных рассказах составляет его большую художественную и общественно-психологическую заслугу.

*Проф. В. Сперанский, Русская Мысль, Париж, 1953*

---

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ъ С Т В О С И Р И У С  
Склад изд-ва: G. Butow, München 8, Innere Wiener Straße 34 (Buchdruckerei)